

# Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

---

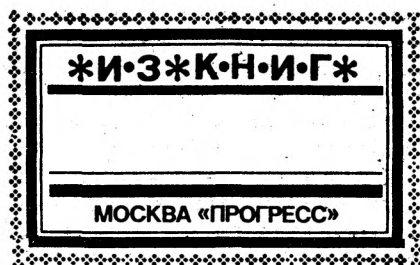
Военные записки. 1939-1944

---

Смысл жизни  
Военные записки. 1939-1944  
Цитадель







# **ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

## **РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

**Т. В. БАЛАШОВА, Н. И. БАЛАШОВ, Ю. Н. ВЕРЧЕНКО,  
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,  
Н. И. НИКУЛИН, В. Н. СЕДЫХ, П. М. ТОПЕР**



# **Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ**

---

**Военные записки  
1939-1944**

**Художественная публицистика**

*Перевод с французского*



**Москва «Прогресс» 1986**

Составитель *Т. В. Чугунова*  
Предисловие д. ф. н. *Л. Г. Андреева*  
Комментарии *С. Н. Зенкина*  
Редактор *Е. Ю. Леонова*  
В работе над сборником приняли участие  
д. ф. н. *В. Е. Балахонов*  
и к. ф. н. *Ю. П. Уваров*.

ИБ № 13241

Художник *В. И. Левинсон*. Художественный редактор *В. А. Пузанков*. Технический редактор *А. М. Токев*

Сдано в набор 10.10.85. Подписано в печать 30.04.86. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типогр. № 1. Гарнитура Баскервиль. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28+0,84 печ. л. вклеек. Усл. кр.-отг. 15,43. Уч.-изд. л. 18,47. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1729. Цена 1 р. 20 к. Изд. № 40689

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 119847, ГСП, Москва, Г-21, Zubovskiy bul'var, 17.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валуевская, 28.

## Сент-Экзюпери А. де

С31 Военные записки. 1939—1944: Худож. публицистика. Пер. с фр./Предисл. *Л. Г. Андреева*.— М.: Прогресс, 1986.— 272 с., ил.— (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза).

Вышедшие в издательстве «Галлимар» «Военные записки. 1939—1944» Антуана де Сент-Экзюпери (1900—1944) критика назвала «литературной сенсацией года» не столько потому, что они вместили множество новых, ранее не публиковавшихся корреспонденций писателя, сколько из-за поразящего созвучия его мыслей с проблематикой наших дней. В сборнике представлена также философская проза Сент-Экзюпери — главы из неоконченной книги «Цитадель». В издании использованы рисунки писателя.

4703000000—477  
С 94—86  
006(01)—86

ББК 84.4Фр

© «Ecrits de guerre. 1939—1944» — Editions Gallimard, 1982.

© Состав, предисловие, комментарии, перевод на русский язык произведений, кроме отмеченных в содержании\*, художественное оформление издательство «Прогресс», 1986.

## **УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ!.. ВОТ ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ**

С таким напоминанием, с таким призывом обратился к своим современникам, ко всему человечеству Антуан де Сент-Экзюпери. Место этого писателя во французской, да и западноевропейской литературе середины XX века особенное. На первый взгляд оно определяется тем, что Сент-Экзюпери — профессиональный летчик, сделавший одним из первых, если не первым, свою профессию источником, темой, материалом художественного творчества. Однако при всем значении его знаменитых повестей — «Южный почтовый», «Ночной полет», «Планета людей», «Военный летчик» — именно данная книга, предлагаемая советскому читателю, дает представление о главном его наследии, самом важном для самого писателя. Сент-Экзюпери предстает в непривычном для читателя облике публициста, моралиста, философа, преемника Паскаля и Монтеня. «Сказать людям», сказать без обиняков, без условностей художественного языка, прямо и точно, о главном, о жизненно важном — вот основная его задача, его пафос. Сказать о том, что «уважение к человеку — пробный камень».

В формировании такой потребности, конечно же, немалую роль сыграла профессия писателя. Она заполнила собой его жизнь. Напомним, что родился он в 1900 году в старинной аристократической семье, к тому времени обедневшей (потомок рыцарей, отец писателя служил страховым инспектором). Поиски своего места в жизни довольно быстро привели молодого человека в авиацию: в 1921 году он добровольно приписался к авиационной части в Страсбурге, обучался летному делу, стал лейтенантом французской армии. В 1927 году он начинает работать пилотом на почтовой линии, связавшей юг Франции с

Африкой. С начала войны служит в частях военной разведки. После поражения Франции в 1940 году уезжает в США. С небывалым упорством добивается возвращения в действующую армию. 31 июля 1944 года не возвращается из очередного разведывательного полета над югом Франции.

Не менее лаконична литературная биография Сент-Экзюпери. В 1926 году опубликована новелла «Летчик», в 1929 году — повесть «Южный почтовый», в 1931 году — «Ночной полет», в 1939 году — «Земля людей». Занимается журналистикой (очерки о войне в Испании). В 1942 году публикует «Военного летчика» и «Маленького принца». С 1936 года и до своей смерти работает над «Цитаделью».

Вот и все. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы Сент-Экзюпери стал одним из самых авторитетных писателей военного поколения, для того, чтобы он смог выступить в роли, которую иначе как пророческой не назовешь и которая редко кому удается. Не в последнюю очередь потому, что ни на какие роли он не претендовал, «писательскими болезнями» не болел, от всякой амбициозности был свободен.

Сент-Экзюпери — большой писатель, это само собой разумеется. Но можно сказать, что писательство не было для него какой-то особой, самостоятельной задачей. В его мире литературное произведение — как скрипка Страдивари в руках великого скрипача: покоряет музыка, и так ли важно для слушателя, с помощью какого инструмента она создана? Литература для него была «нравственным порывом», поэтому в его мире просто-напросто не было места для того, что называется «чистым искусством», что является формализмом, отмечено эстетством. Сент-Экзюпери говорил о своем «отвращении к литературе для литературы» — хотя это настолько для него очевидно, что никаких заявлений и не требовалось.

Процесс творчества Сент-Экзюпери любил сравнивать с теми процессами воссоздания и развития, которые происходят в живой природе. Быть деревом — значит исходить из почвы, питаясь ее живительными соками, прорасти к небу, открывая его просторы, его бесконечность. Таким «деревом» было и его собственное творчество, свободно произрастающее из почвы его дел и убеждений. Сент-Экзюпери был уверен в том, что истина проста, что она упрощает связь человека с жизнью, убирая все лишнее, наносное, надуманное. Так и в искусстве он искал прямых путей к истине, оставляя в стороне заботы о жанре, сюжете, персонаже. Лишь в двух первых повестях, в «Южном почтовом» и в «Ночном полете», появился персонаж, в прочих же его созданиях остается один герой — он сам, — и к этой необыкновенно привлекательной, исключительно одаренной личности приковано наше внимание.

«Истина — жизнь», — повторял писатель. Посадил дерево — вырос лес. Это и есть истина. «Мы чуть не погибли от разума, лишённого сущности» — пора вернуться к сущности, содрав с

истины коросту рассудочности и изощренного интеллектуализма. Не рефлексия находит истину — «истину выкапывают, как колодец». Выше всего Сент-Экзюпери ценил труд пахаря, возделывающего пашню, труд садовника, взращивающего сад. Свою профессию летчика и свое литературное творчество он считал «ремеслом», трудом, подобным крестьянскому труду. И в полет он собирался, «как крестьянин», выходящий в поле.

Истина добывается в действии, и сама истина действительна. Мудрое, гуманное у Сент-Экзюпери всегда социально, активно, динамично. Вот почему для него словно бы не существовало проблемы взаимоотношения мысли и действия, проблемы, решение которой было трудным, даже мучительным делом для западной интеллигенции нового времени. Для него противоречие мысли и действия снималось у порога его поисков истины, его открытия активного гуманизма, жизнетворящего, как жизнетворен крестьянский труд.

Другая опасность подстерегала писателя: не культ мысли в ущерб действию, а культ действия в ущерб мысли. Ведь Сент-Экзюпери принадлежал к числу тех, кто ныне именуется «технарями». Он был летчиком, и летчиком хорошим, а кроме того — отличным инженером. С детства он испытывал особенное влечение ко всякого рода механизмам. Позже научился не только разбираться в них, но и создавать — он был изобретателем, им запатентовано несколько открытий, технических новшеств. Но техника для Сент-Экзюпери — еще не цивилизация, цивилизация — фактор социальный, человеческий. Со свойственной ему пронизательностью он предчувствовал опасность, заключенную в обесчеловеченном техническом знании, в науке, позабывшей о человеке. Он звал сопротивляться тем «чудовищам», которые могут выйти «из головы изобретателей».

Летчик Антуан де Сент-Экзюпери совершал странный полет над землей людей. Странный, поскольку отправлялся он в свой невысказанно трудный полет, подвергался смертельной опасности, чтобы обнаружить то, что оставалось на земле, — человека и человечность.

Самолет, повторял Сент-Экзюпери, — лишь «орудие». Конечно, его повести содержат описание «ремесла» летчиков, рассказ о новом и совершенно непривычном занятии, о новом роде человеческой деятельности со всем ошеломляющим и экзотическим, что несла с собой авиация на заре своей истории. Однако бросается в глаза, что все это не является самоцелью, что это не более чем «средство». Поражает и то, как мало места в его книгах уделено описанию экзотических регионов, открытых во время полетов, необыкновенных пейзажей, представших перед взором человека, высоко поднявшегося над землей.

Полеты Сент-Экзюпери — противоположность туристическим вояжам: летчик ищет Истину. Парадоксальна у Сент-Экзюпери связь неба пилотов и земли людей — пилот открывает земные истины, старые, как сама земля. Не физический закон

тяготения приковывает к земле, а необычайно острое ощущение принадлежности к человеческому коллективу, чувство ответственности за всех людей.

«Взгляд на мир» — вот что давал летчику полет. Предваряя космическую эру, Сент-Экзюпери открыл «планету людей». У него возникло новое ощущение пространства — пространства планеты, возникло ощущение принадлежности не просто к французам или к европейцам — к землянам. Авиация в произведениях Сент-Экзюпери прежде всего и главным образом — приобщение к человеческому братству. Самолет в его времена был сооружением хрупким, почти все товарищи писателя погибли, сам он так часто попадал в аварии, что чудом дотянул до своего последнего вылета. Небольшой коллектив летчиков, спаянных постоянной смертельной опасностью, взаимопомощью, самоотверженной работой, представал в сознании писателя ячейкой и моделью человеческого общества, построенного на фундаменте братства и уважения к человеку.

Ремесло пилота — битва, постоянное сражение с титанами, стихиями: ураганом, грозой, мраком, холодом. В этом постоянном противоборстве происходило рождение человека, воспитание личности. Именно этот процесс и привлекал писателя больше всего. И хотя он писал, что полет — познание, что через стекло в пространство смотришь, как в микроскоп, влекло его прежде всего то, что происходило в кабине, в человеке у штурвала самолета, влекло и вдохновляло, поскольку там рождалась человечность, формировался «взгляд на мир», новое миропонимание, новая философия.

Впрочем, вряд ли миропонимание Антуана де Сент-Экзюпери можно назвать философией. Никаких философских систем он не создавал, он вообще недоверчиво относился к любой систематизации, усматривая в ней нестерпимый и бесчеловечный «порядок». Да и в какой мере его «взгляд на мир» можно счесть новым? Он сознавался, что ничего нового не открыл, что он словно бы проснулся и внезапно увидел то, что видеть перестал.

«Уснул», само собой разумеется, не Сент-Экзюпери — «уснула» цивилизация, пораженная болезненной рефлексией, переставшая называть вещи своими именами. Ей-то и бросает вызов писатель, напоминая о мудрости, о философском смысле «простых» истин, о прозорливости неискушенного, «детского» взгляда на мир. Таким именно взглядом осматривает мир Маленький принц — главный герой социологии и этики Сент-Экзюпери, подобие просветительского «простака», перса из «Персидских писем» Шарля де Монтескье.

Сент-Экзюпери не философствовал. Исходя из убеждения в том, что «истина — это жизнь», он попытался напомнить об основах бытия, о фундаментальных принципах человеческого общежития. Будучи летчиком, он обнаружил, что мы — обитатели в общем небольшой и очень уязвимой планеты и что

наше существование зависит от того, поймем мы или нет, что пробным камнем является уважение к человеку. Понять же это можно лишь при условии возрождения человека — человека как носителя высокого духовного начала. В этом конечная цель творчества Сент-Экзюпери, всей его деятельности, до последнего дня, до последнего полета.

Было два обстоятельства, две конкретно-исторические причины, обусловившие пафос этической проповеди Сент-Экзюпери, заставившие его сделать вывод: «уважение к человеку в опасности». Он подвел итоги социально-нравственного развития буржуазного общества за полтора века его истории и признал эти итоги неудовлетворительными. Он совершенно точно подметил, что это развитие сопровождается утратой идеала и смысла, вырождением духовного, нравственного содержания. Современность в представлении Сент-Экзюпери — в представлении верном — это мир, который лишился Фонарщика, то есть утратил смысл, задавленный буржуазным прагматизмом, беспардонным политиканством, бездушным техницизмом. «Телефонная цивилизация» для него невыносима. Жулики и торгаши воцарились в мире, осененном некогда мыслью Паскала, мыслью просветителей.

Полеты Сент-Экзюпери поэтому приобретали символическую функцию возвышения над низменным миром буржуазной практики, над обществом «счетоводов и лавочников». Жизнь в авиации была противоположностью их пустого, бессмысленного существования. Каждый летчик предстал Человеком, перед лицом смертельной опасности в одно мгновение переживавшим бытие человеческое. Жизнь в авиации — это жизнь на пределе возможностей, мобилизация всех возможностей человека, возможностей его духа. Истинная Жизнь.

Проницательно, пророчески Сент-Экзюпери оценил и осудил то, что после второй мировой войны назовут «потребительской цивилизацией». Он писал, что после победы над нацизмом — в которой он не сомневался — с необыкновенной остротой встанет «главный вопрос нашего времени», — вопрос о назначении человека, о смысле бытия. И вот тогда общество, буржуазное общество, окажется перед пустотой, которую нечем будет заполнить. Ибо богом этого мира стала вещь.

Сент-Экзюпери часто писал о вещах. Они были для него точным обозначением бездуховности, неспособности понять сущность. Вещизм — ненавистное писателю, уродливое порождение торгашеских общественных отношений. Смысл человеческого существования низводится к производству вещей и их потреблению. Такое существование Сент-Экзюпери отвергал с негодованием и презрением. Оно убийственно для человека, ибо, по убеждению Сент-Экзюпери, человеком становятся отдавая, а не приобретая, человек измеряется тем, что отдано другим людям, обществу, а не тем, что приобретено, что

потреблено. Жизнь потребительская — жизнь животная, а не человеческая.

Отвращение к такому образу жизни, человека недостойному, было у Сент-Экзюпери взвинчено до крайности. Свободное парение в чистом небе закреплялось как романтическое противопоставление двух миров, идеального и реального. Под пером Сент-Экзюпери словно ожил романтизм начала прошлого столетия. Разумеется, он не переписывал романтические откровения с пожелтевших от времени страниц — романтизм показал свою жизнеспособность в иных, как могло показаться, исторических условиях. В условиях, когда пожинались плоды «свободного предпринимательства» в виде «общества потребления».

«Я ненавижу эту землю» — такими неожиданными признаниями ошеломляет романтик Сент-Экзюпери; «кругом посредственность», «кругом уродство», «все глупы», «все безобразно». И соответственно по-романтически переживает писатель свое абсолютное одиночество, свою неприкаянность.

Его неудержимо влечет пустыня — «я люблю пустыню». В пустыне воздвигается «цитадель». В пустыне летчик встречает Маленького принца. Пустыня казалась писателю особым миром, подобным небу. В пустыню он отправляется, как летчик в свой полет. Там нет «счетоводов и лавочников», там не действуют законы, регулирующие их существование. Человек в пустыне абсолютно свободен, он предоставлен самому себе, погружен в себя. В пустыне господствуют «силовые линии», вынуждающие человека, как и в полете, жить на пределе своих возможностей. Пустыня, как и небо, — полигон человеческого духа.

В пустыне человек познает цену жизни. Пустыня напоминает о «простых» истинах, об истине воды как источника жизни — напоминает о том, что человечество живет у колодцев. В пустыне познается человеческое братство, цена человека, давшего испытать воды умирающему от жажды. Так было с самим Сент-Экзюпери. Он очень прочно стоял на земле, и его метафоры питались жизненным опытом, а не полетом фантазии.

Второе обстоятельство, подстегнувшее пафос гуманистической проповеди Сент-Экзюпери, — война. Сент-Экзюпери — писатель эпохи второй мировой войны. В ее атмосфере оттачивалось, уточнялось мировосприятие писателя-гуманиста, избравшего своей профессией авиацию, ставшего военным летчиком, не пассивным наблюдателем военных событий, а их участником, так сказать, участником профессиональным. Тем увереннее он писал о войне как о феномене противоестественном, несовместимым с теми принципами, на которых должно покоиться нормальное человеческое общество. Война — уничтожение себе подобных. Земляне — жители одного населенного пункта, планеты людей, и каждая война, по убеждению Сент-Экзюпери, братоубийственна.

«Напротив — люди». Напротив, по другую сторону баррикады, во вражеских окопах, — тоже люди, те же люди. Обитатели



земли людей — вот что потрясает Сент-Экзюпери, что является его открытием и его откровением.

Нельзя упускать из виду, что отношение Сент-Экзюпери к войне определялось не только его гуманистической программой, общими ее посылами, но и конкретным опытом самого писателя. Сначала он столкнулся с войной в Испании — гражданской войной, всегда оставляющей особенно болезненное ощущение разобщенности и в то же время близости сражающихся. Затем началась большая европейская, мировая война, началась как «странная война» — на первом ее этапе французская армия странным образом топталась на одном месте, пока не началось наступление фашистских орд, и тогда странным образом великая держава мгновенно развалилась и поспешно капитулировала. «Нелепая война», — твердил Сент-Экзюпери, наблюдая картину разгрома, картину агонии своей родины. Нелепая война — война нелепа: так развивалась мысль Антуана де Сент-Экзюпери.

Тем не менее без всяких колебаний он занял в войне совершенно определенную, лишенную малейшего оттенка двусмысленности позицию — что об этом говорить, если Сент-Экзюпери привел такой аргумент, каким является его гибель? Гибель не случайная, не в военной суматохе, а в результате недвусмысленно сделанного выбора, твердой позиции. Сент-Экзюпери сделал невозможное, чтобы вернуться в авиацию, в сражающуюся армию — несмотря на возраст, на травмы, на славу, на усилия товарищей, изо всех сил пытавшихся спасти его от почти неизбежной смерти. Им казалось, что Сент-Экзюпери шел на смерть, избрав ее сознательно и намеренно.

Возможно, так оно и было на самом деле. Однако Сент-Экзюпери ничего не демонстрировал, он вообще был скромен и чужд всякой рисовки. Он был последователен, и дорогие ему нравственные принципы не сочинялись им за письменным столом, а возникали в его жизненном опыте, подтверждались его поведением, его жизнью — и его смертью. Его смертью подтверждалась столь дорогая ему мысль о человеческом братстве, об ответственности человека за всех людей, об активном гуманизме.

Выбор Сент-Экзюпери определялся достаточно четкой политической позицией. С одной стороны — его отвращением к фашизму, к Гитлеру как к его воплощению, его образу. Ясно, что фашизм был для Сент-Экзюпери абсолютно неприемлем, был антиподом его гуманизма, реальной опасностью для человечества. С другой стороны — «Франция прежде всего». При осознании родовой принадлежности к человечеству, к обитателям земли, у Сент-Экзюпери было очень ясное понимание той общности, которая называется Францией.

Националистом Сент-Экзюпери не был. Он, конечно, понимал, что Франция не однородна. Французами были и «лавочки». Главарь сюрреалистов Андре Бретон не был для Сент-

Экзюпери «его родиной». Для него родиной был прежде всего народ, те самые пахари и садовники, в труде которых заключена истина существования и нации и человечества. Родиной для Сент-Экзюпери была великая духовная культура, вечно живое наследие гуманизма, наследие мысли.

Вот этому очагу цивилизации, по наблюдениям Сент-Экзюпери, и грозила не проблематичная, а совершенно реальная опасность. Он исходил из трезвой, деловой оценки соотношения сил и возможностей Франции и Германии по всем показателям, включая и численность населения последней, превосходившей численность французов. Это настолько его тревожило, что он счел самой настоятельной задачей сплочение французов перед лицом врага, осознание общности, принадлежности к Франции — «Франция прежде всего».

Следует, разумеется, считаться и с тем, что по природе своего мировосприятия, своей этики Сент-Экзюпери с крайним недоверием относился ко всякого рода политическим, идеологическим разногласиям, поскольку они разводили землян по враждующим группировкам — а где вражда, там жди и войны. Сент-Экзюпери был очень зорким и наблюдательным человеком, с высоты в 10 000 метров он различал каждое дерево, украшавшее его землю, но гораздо хуже видел он социальные границы. Не случайно отрицательные персонажи в его произведениях столь вопиюще традиционны и сказочно условны. Сказочные фигуры нелепого монарха и «делового человека» из «Маленького принца» — образцы максимально обобщенного, притчевого характера зла.

В «Цитадели» возникает еще один «деловой человек», еще одно условное обозначение делячества — «пузатый министр». Гораздо чаще появляются «мои генералы». Вот кто безумно раздражает Сент-Экзюпери, поскольку представляет собой все, что так ему ненавистно: регламентацию, ранжир, обезличку, уравнивание и приравнивание. Свободой Сент-Экзюпери дорожил как высочайшим благом. Во имя свободы он критически воспринял великие заповеди, полтора столетия назад положенные в основание нового, буржуазного общества, — «свобода, равенство и братство». И обнаружил, что буржуазная свобода стала лозунгом свободного предпринимательства, то есть торгашеским лозунгом, призывом к обогащению как к содержанию жизни, знаменем индивидуализма и эгоизма. В равенстве он заметил опасную тенденцию к уравниванию, обезличиванию, к той возмущавшей Сент-Экзюпери «стадности», которая была следствием прагматизма и потребительства. Понятое таким образом равенство оказывалось бесчеловечной уравниловкой — противоположностью братства, основанного на уважении к человеку, а значит, на развитии в человеке творческого, неповторимо индивидуального начала, развитии, условием которого должна быть истинная свобода.

Не просто появляются, но часто с безудержной иронией

упоминаются в «Цитадели» «историки, логики, критики». Эта странная на первый взгляд компания, достойная, казалось бы, уважения, символизирует у Сент-Экзюпери всегда раздражавшее его чисто рассудочное знание, мертвую книжную мудрость, слова, оторвавшиеся от дела и ставшие пустословием. Все эти «логики» являются представителями «разума», который «сочиняет законы и комментарии» — точнее говоря, рассудка, схематизирующей мысли, устанавливающей «закон», то есть очередной «ранжир», очередное разделение людей.

Сент-Экзюпери мечтал не о разъединении, а о единении, о человеческом братстве. Поэтому болезненно реагировал на проявления фанатизма, идеологической одержимости, на несправедный язык политической демагогии, на политические амбиции. В его представлении современный мир казался недостойной и опасной для человечества схваткой относительных истин, выдаваемых за столь абсолютные, что в их честь можно значительную долю человечества объявить «неполноценной», предназначенной для уничтожения — как это и было сделано фашизмом во имя нацистской идеи. Перед лицом такой, действительно опасной одержимости, перед лицом нацистского фанатизма у Сент-Экзюпери до самой крайней степени обострялось стремление объединить людей. Само собой разумеется, такое объединение имело свои, достаточно определенные границы — никакого объединения с фашизмом, никакого компромисса с гитлеризмом Сент-Экзюпери не допускал.

Вышесказанное поможет понять отношение Сент-Экзюпери к Шарлю де Голлю и голлизму. Вопрос о взаимоотношениях де Голля и Сент-Экзюпери — немаловажный. Оба были личностями выдающимися. После своего выступления по лондонскому радио 18 июня 1940 года с призывом продолжать борьбу де Голль стал претендовать на руководство сражающейся Францией, на воплощение Соппротивления. Сент-Экзюпери высоко оценивал де Голля как политического и военного деятеля. Однако категорически не поддержал его претензий, отказался присоединяться к голлистам, отказался видеть в де Голле спасителя Франции и учредителя ее послевоенной судьбы.

Почему? Да потому что он видел в голлизме силу не объединяющую, а разъединяющую французов. Сент-Экзюпери исходил из убеждения, что ни одна политическая идея, ни одна группировка не может представлять Францию. Тем паче группировка, находящаяся за пределами оккупированной немцами территории. Франция — «в подземельях», Франция страдает, и страдающая Франция сама решит свою судьбу. На этом настаивал Сент-Экзюпери. Де Голль, само собой разумеется, такой позиции не принял и относился к писателю с открытым недружелюбием. До признания заслуг Сент-Экзюпери он поднялся через много лет.

Взаимоотношения Сент-Экзюпери и де Голля в немалой степени драматизировали последние годы жизни писателя. Его

отношение к де Голлю многими не было понято и принято, поскольку генерал вскоре стал официальным главой организации «Сражающаяся Франция», личные заслуги его перед страной не вызывали сомнений. Сент-Экзюпери приходилось объясняться, даже заявлять о своем неприятии коллаборационистского правительства Виши — поскольку его подозревали в скрытых к нему симпатиях. У него нарастало ощущение непонятости, одиночества, даже собственной никчемности. «Что мне делать на этой земле?» — восклицал этот человек дела, отдавший жизнь за эту землю. Он сожалел, что не родился в другое время, и чувствовал себя человеком из далекого прошлого («Я современник Жоашена дю Белле»)...

Прав был Антуан де Сент-Экзюпери или же ошибался? Прежде всего следует отметить незаурядную проницательность, проявленную им в отношении к де Голлю. Крайне чувствительный ко всякого рода бонапартистским замашкам, он уловил политическую амбициозность генерала и был обеспокоен возможными для Франции последствиями генеральской тоталитарности. Она обнаруживалась, как это хорошо известно, на всех этапах политической карьеры де Голля, даже в годы войны, а особенно в послевоенные годы. Уход де Голля с поста президента Республики весной 1969 года при всех исключительных заслугах этого выдающегося политического деятеля воспринимался левой Францией как конец авторитарной власти, поддержанной правыми силами. Сент-Экзюпери словно бы это провидел...

И кроме того, безупречны исходные нравственные послышки, которыми руководствовался писатель. Пусть порой они и кажутся отвлеченными, на самом же деле он, подобно сверхчувствительному сейсмографу, регистрировал колебания социальной почвы и своевременно предупреждал человечество о грозящих ему опасностях. Чтобы уберечь от них нашу землю, он звал утвердить в общественных отношениях уважение к человеку, звал объединиться, договориться — что же тут оспаривать, здесь все бесспорно. Можно, правда, подумать, что нравственные императивы Сент-Экзюпери трудно перевести на язык реальной политики. Но ведь и сегодня мы говорим: «Мир — это клубок противоречий между людьми, странами, классами. Эти противоречия надо уметь преодолевать не путем войн. Эволюция жизни показывает, что приспособляемость друг к другу, компромиссы, кооперация, коллективные действия чрезвычайно важны для развития всего живого»<sup>1</sup>.

Как видно, ныне, перед лицом грозящих человечеству атомных войн, можно скорее говорить о политической проницательности, чем о наивности и прекрасодушии Сент-Экзюпери.

Другое дело, что жизнь реальная и та, должная, категориями которой мыслил и чувствовал Сент-Экзюпери, не совпада-

---

<sup>1</sup> «Правда», 19 августа 1985 г.

ли. Это он понимал, и от этого происходил весь его пессимизм, который может показаться неожиданным на фоне источающей заразительный оптимизм гуманистической программы «непрерывного произрастания», на фоне светлых тонов, которые доминируют в его произведениях. На передний план стала выдвигаться мечта о мире идеальном, гуманном — Сент-Экзюпери приступил к строительству своей «цитадели».

Соответственно он начал оценивать реальную действительность. Со свойственным ему упорством, а порой, надо сказать, и упрямством Сент-Экзюпери не хотел видеть то, что было очевидным, или, точнее говоря, делал вид, что не замечает очевидных вещей. Это могло производить странное, дезориентирующее впечатление даже на людей, вполне ему симпатизировавших. Можно понять Жака Маритена, который в известном письме, обращенном к Сент-Экзюпери, вынужден был пояснять ему, что Франция вовсе не едина, что есть коллаборационисты и есть подполье Сопротивления. Неужели Антуан де Сент-Экзюпери нуждался в подобных разъяснениях?! Он ответил, что все это он знает и думает так же, как Маритен. В чем же дело? Оказывается, в том, что «романтик» Сент-Экзюпери делает вид, будто не замечает очевидных вещей, тех, что он не желает принимать, с которыми не желает мириться.

Принято говорить о Сент-Экзюпери как о воплощенной противоречивости. Он сам нередко сознавался в своих противоречиях, даже в том, что «запутался» в них. Точнее говоря, он был категоричен, частенько держался крайностей, жертвой которых действительно бывал.

«Напротив — люди». Это напоминание и мудро, и своевременно. Им можно было бы обозначить вход в двадцатое столетие, в эпоху локальных и тотальных войн, когда так часто забывалось, что напротив люди... Это факт. Но что же поделать с этим фактом? Сент-Экзюпери любил вспоминать, как в Испании ему удалось предотвратить кровопролитие с помощью улыбки. Этим напоминанием он хотел сказать, что все мы люди, и решающую роль в наших отношениях может сыграть надпартийная человечность, тот экстракт души, который в состоянии свободно пересечь границы, установленные социальными отношениями. Тем и дорога Сент-Экзюпери улыбка, что она, как глоток воды в пустыне, может спасти жизнь, напомнить о человеческом братстве. Надо посмотреть в глаза, дотянуться до этого зеркала души — и все недоразумения разрешатся.

Сент-Экзюпери часто говорил о своем презрении к словам, о том, что именно слова разводят людей, делают их на враждующие группировки. Однако, отнюдь не пренебрегая игрой слов, он убеждал, что только слепцы верят в существование противоположностей, что кедр сам по себе вовсе не означает ненависти ко всему, что кедром не является. Судя по всему, даже в мире животных не процветает такая принадлежность высшего, человеческого общества, как ненависть, но тем не менее мир

животный существует только благодаря взаимному пожиранию... Да и какие могут быть аналогии? Между людьми устанавливаются такие отношения, которые не объяснишь ни ботаникой, ни биологией.

Как-то неудобно спорить с Антуаном де Сент-Экзюпери, прибегая к недозволенным приемам. И тем не менее зададим ему риторический вопрос: что бы изменилось, если бы ему удалось заглянуть в глаза Гитлеру? Ответа не требуется. Не давал ответа на такие вопросы и сам писатель. Да он ими и не задавался. Он не помышлял искать родственную душу в глазах фашиста, а это значит, что он заведомо исключал из числа тех, кто «напротив», часть людей, в глаза которых есть смысл смотреть. Он не помышлял об их улыбке — он был военным летчиком, он воевал, а значит, сделал свой выбор, принял то разделение людей, которое произошло в ходе войны с фашизмом.

Нелепа мысль, что Сент-Экзюпери не представлял себе, что именно разделяет людей, что бросает их в окопы, по разные стороны баррикад. Без всяких колебаний он занял свое место, и вряд ли его побудили к этому выбору слова, лишенные смысла. Когда он говорил «надо бороться», он предполагал конкретный смысл, опеределенные задачи борьбы. Действовали, следовательно, столь мощные объективные императивы, что не считаться с ними Сент-Экзюпери просто не мог. Коль скоро он не мог пренебречь интересами человечества, интересами братства — условием уважения человека стала в данных обстоятельствах борьба против фашизма, ненависть к тем, кто «напротив», — к фашистам.

Нелепо полагать, что Сент-Экзюпери всего этого не понимал. Он понимал — но не принимал. Мир реальный оказался слишком непохожим на мир, способный превратиться с помощью улыбки в дружную семью — он был вынужден домысливать, дописывать иной, идеальный мир. На первых порах роль такого идеального мира, основанного на братстве и человечности, играла в творчестве Сент-Экзюпери авиация. Вскоре этого стало недостаточно для воплощения замыслов писателя, имевших в виду перестройку мира на новых нравственных основаниях. Тем паче с началом войны, когда авиации предназначалась совсем иная функция, нежели функция связывающей народы почтовой линии.

И вот Сент-Экзюпери приступил к созданию мира по своей мерке, по своему замыслу — начал писать «Цитадель». Обращает на себя внимание, что к этому произведению Сент-Экзюпери относился как к делу всей своей жизни, как к своему завещанию. И писал его лихорадочно, торопливо, пользуясь каждой свободной минутой. Он словно и не сочинял, а жил этим своим творением. Так оно и было на самом деле. Трудно как будто объединить в одно целое летчика, который постоянно в движении, в деле, и писателя, скорбившегося над своей руко-

письмо, полностью в нее погрузившегося. Однако это были две ипостаси одного лица, одного писателя. Два мира, в которых он жил одновременно. В первом из них, мире войны, ему было не по себе. И он торопился уйти из этого мира любой ценой, даже ценой собственной жизни. Не случайно в его поведении, в его героизме был привкус жертвенности — и он признавался, что идет на смерть, «чтобы спасти свой нравственный кодекс».

А в мире «Цитадели» он намеревался жить по окончании войны — только в этом мире. Но это ему не удалось — не удалось дожить до конца войны и не удалось дописать «Цитадель».

Поскольку «Цитадель» не завершена, трудно оценивать литературные достоинства этой книги. Иные ее части кажутся набросками, заготовками для будущего текста, который так и не успел состояться. В «Цитадели» множество повторений, немало декларативности, другие стилистические недостатки, судить о которых нет возможности, так как осталось неизвестным, в каком виде должна была предстать книга, если бы она была завершена.

Но не столь уж это и важно. Более трехсот лет назад друзья Паскаля обнаружили после его смерти разрозненные заметки — они стали «Мыслями» Блеза Паскаля, с которыми не расставался писатель XX века Антуан де Сент-Экзюпери. Останется и «Цитадель», это собрание мыслей Сент-Экзюпери, его завещание человечеству.

Впрочем, не просто мысли, а проект нового жизнеустройства поверял нам писатель. Он был по своей природе настолько социален, что последнее свое слово оформил в виде утопического города, картины жизни некоей «империи». Можно сказать, что писатель задумал создание еще одной планеты, добавляя ее к тем, что посетил Маленький принц. Примостилась она на земле людей, но в пустыне, подальше от «лавочников», там, где примостилась и сказка о Маленьком принце. Ведь и «Цитадель» — своего рода сказка, притча, в ней все повествовательные элементы условны: и то, что можно назвать сюжетом, и место действия, и герой.

Главный, если не единственный, герой — чисто условная фигура всемогущего восточного правителя. Поскольку он всемогущ, он может позволить себе придать мечтам Сент-Экзюпери видимость достоверности, хотя бы и сказочной, построить «город», даже «империю». И все же «Цитадель» — прежде всего и главным образом в сердце человека, это его душа, его образ мыслей, его почерпнутая в жизни «города» мудрость. Поэтому огромная панорама «Цитадели» беспрецедентна, она создается непрерывным потоком внутренней энергии, вбирающей в себя все бытие человека, осмысленное и поднятое до уровня философии жизни.

Подавляющая часть текста «Цитадели» представляет собой гигантский монолог, разговор условного первого лица с его

незримым слушателем. Порой речь ведет отец, первоисточник мудрости, воплощение зрелого опыта и авторитетной традиции. Временами возникает видимость дискуссии, возникают «мои генералы», чеканная тупость которых позволяет оттенить тонкость доминирующей мысли, ее нестандартность. Иронические упоминания «историков, логиков, критиков» служат оправданию даже стиля книги, даже метода строительства «Цитадели».

«Истина — это жизнь». Естественный процесс возникновения истины, ее прорастания из почвы жизни демонстрирует и «Цитадель» Сент-Экзюпери доверял бытию, а потому не столько доказывал, сколько показывал, мыслил не столько силлогизмами, сколько образами. «Цитадель» — в немалой степени плод не рефлексии, но привлекавших писателя «озарений». «Жизнь строить, как храм», — звал Сент-Экзюпери и складывал цитадель камень за камнем, мысль за мыслью, фразу за фразой. Во фрагментах-кирпичиках этого здания есть что-то провидческое, есть сила и очарование поэтической фантазмагии. Стиль «Цитадели» несет на себе печать Библии, стилем которой — именно стилем, его поэтичностью, простотой — Сент-Экзюпери увлекался.

Бог часто фигурирует на страницах «Цитадели». Однако Сент-Экзюпери не был человеком религиозным. В системе его понятий бог относится к числу самых непонятных. Им обозначается в самом общем виде истина, духовное существование, душевный порыв, жертвенность. В сильно архаизированном царстве, которое рисует Сент-Экзюпери, бог выступает органической формой мышления. Но цитадель — дело не бога, а человека, человеческих рук. «Истину выкапывают, как колодец» — это дело человека. Философия «Цитадели» — философия жизни. Жизни у ее истоков, у колодцев. Истина проста, и Сент-Экзюпери сооружает цитадель человеческого духа на фундаменте таких простых, жизненных принципов, на основе человеческой практики, трудового опыта, на основе того, что человеком сделано.

Сент-Экзюпери воздерживался поэтому от оценок бытия. «Мир есть», — повторял он. Только настоящее дано человеку, им он обязан распорядиться, его обязан возделывать так, как крестьянин возделывает свое поле. И только так возникает будущее — в сегодняшнем труде, возникает как непрерывное произрастание, как весенний расцвет природы.

Вот какие глубокие и крепкие корни у цитадели Сент-Экзюпери, на каком прочном, проверенном опытом фундаменте строил он свое идеальное государство. Конечно, оно было идеальным, а следовательно, утопическим. Никакое определенное социальное устройство не мыслилось писателем, никакой конкретной общественной системы он не видел. В этом смысле его храм воздвигался на песке — величественный и эфемерный, как мираж в пустыне, как греза умирающего от жажды. Писатель справедливо считал, что «человека вообще не быва-



ет», и все же создавал свой храм для «всеобщего человека». Противоречие? Неизбежное для того, кто понимал, что именно разделяет людей сегодня, и все же попытался подняться над этими разделениями в сферу чистой человечности—хотя бы в мир гипотетического будущего. А здесь трудно было обойтись без слов—пожалуй, их в «Цитадели» слишком много,—тех самых слов, которым Сент-Экзюпери так не доверял...

Храм «Цитадели» воздвигался на песке пустыни—но возле колодцев, исторгающих живительную влагу. Живой стала и этика Сент-Экзюпери. Она вобрала в себя самые фундаментальные принципы человеческих отношений, она осветила собой то, что испокон веков именовалось—и будет именоваться—человечностью. Разве не вечным, непреходящим смыслом обладают рассуждения Сент-Экзюпери о человеке как «животном общественном», обретающем свою истинную суть только в человеческом общении? «Пусть на меня обопрутся»—разве не актуальна вера Сент-Экзюпери в то, что быть человеком—значит разделить судьбу людей, значит взять на себя ответственность за человечество? Разве ошибочно его убеждение в том, что человек—это «не то, что он берет, а то, что он отдает»? Разве уйдет в прошлое его уверенность в том, что «пробный камень—уважение к человеку»?

Сент-Экзюпери многое предвидел. «Послание молодым американцам» могло быть написано сегодня и могло быть адресовано всем молодым. На любом уроке можно сегодня прочитать «речь перед воспитателями» (глава XXV «Цитадели»).

То, что составляет содержание ныне публикуемой книги, воспринимается как открытое письмо Антуана де Сент-Экзюпери всем, кому не чуждо смятение человека XX века, не чужда тревога за судьбу человечества, за судьбу земли людей. К письму этому мы относимся с особенным вниманием и с особенным доверием, так как в каждой фразе, в каждом слове отразилось завораживающее обаяние необыкновенного человека, для которого цитадель была не утопией, не мечтой, а реальностью его существования, руководством к действию, смыслом жизни.

*Леонид Андреев*

# СМЫСЛ ЖИЗНИ

---

## ПИЛОТ И СТИХИИ\*

Рассказывая о тайфуне, Конрад\* лишь мимоходом говорит про огромные валы, мрак и ураган. Этот материал его не интересует. Но вот трюм, набитый китайцами-эмигрантами: качка разметала их пожитки, разбила сундучки, перемешала их жалкие сокровища. Золото, которое они всю жизнь собирали по крупице, безделушки, у всех одинаковые, но у каждого свои,— все смешалось в беспорядке, обезличилось, возвратилось к первобытному хаосу. Из всего, что связано с тайфуном, Конрад показывает нам только трагедию людей.

Мы все ощущали это бессилие передать увиденное, когда после бури собирались, как у родного очага, в маленьком тулузском ресторанчике под опекой заботливой служанки. Мы даже не пытались говорить про этот ад. Наши рассказы, наши жесты и громкие слова рассмешили бы товарищей, как детская похвальба. И на то есть причины. Циклон, о котором я хочу рассказать, был самым тяжелым, самым жестоким испытанием в моей жизни; и все-таки, переступив некую грань, я могу описать ярость стихий не иначе, как нагромождая превосходные степени, а это не дает ничего, кроме неприятного ощущения преувеличенности.

Постепенно я понял истинную причину этой неудачи: рассказчик силится описать трагедию, которой не было. Попытка передать ужас безуспешна потому, что этот ужас придуман потом, пережит в воспоминании. В минуту опасности ужас не возникает.

Вот почему, приступая к рассказу о возмущении стихий, я не уверен, что эта трагедия скажет что-либо читателю.

С аэродрома Трилью я взял курс на Комодоро-Ривадавию в Патагонии. Земля в тех местах искорежена, как старая кастрюля. Нет другого места, где бы она столь откровенно показывала свою дряхлость. Когда над Тихим океаном повышается давление, оно изгоняет ветры сквозь расщелину в Андийских Кордильерах; ветры сдавливаются и разгоняются в узком стокилометровом коридоре и соскребают все на своем пути. На этой почве, протертой до дыр, ничего не растет: видны только огни нефтяных скважин—словно горящий лес. Кое-где над круглыми холмами, на которых ветры пощадили лишь осадок крупного щебня, поднимаются форштевни заостренных, зазубренных, до кости ободранных гор.

В летние месяцы скорость этих ветров на почве достигает до ста шестидесяти километров в час. Мы их хорошо знали. Стоило только кому-нибудь из нас оставить песчаные равнины Трилью, и мы оказывались на кромке зоны, где они хозяйничали, мы узнавали их по какому-то голубовато-серому оттенку и потуже затягивали лямки и пояса, приготовляясь к сильной болтанке. С этого момента полет становился мучительным, на каждом шагу мы проваливались в невидимые пропасти. Это был уже физический труд. На целый час мы превращались в грузчиков и таскали на плечах внезапно обрушивающиеся тяжести. А потом, час спустя, мы снова обретали покой.

Наши машины выдерживали. Мы доверяли креплению крыльев. Видимость, в общем, была хорошая и не вызывала затруднений. Эти рейсы были для нас каторжным трудом, а не трагедией.

Но в тот день мне не понравился цвет неба.

Небо было голубым. Чисто голубым. Даже чересчур голубым. Беспощадное солнце блистало на истертой земле, вспыхивая порою на гребнях гор, отскобленных до костяка. Ни облачка. Но к этой чистой голубизне примешивался необычайно сильный отсвет наточенного ножа.

Сразу же я ощутил смутное отвращение—предвестие физической пытки. Сама эта чистота неба уже смущала меня.

Как ни свирепы черные бури, там хоть видишь врага в лицо. Оцениваешь его могущество, готовишься отразить его натиск. Как ни свирепы они, с ними хоть можно схватиться в открытую. Но в ясную погоду и на большой высоте шквалы голубого урагана обрушиваются на пилота лавиной, и он ощущает под собой пустоту.

Я заметил еще и другое. Что-то заволокло вершины гор: не туман, не дымка испарений, не песчаная туча, а какой-то длинный пепельный шлейф. Ветер волочил к морю соскобленную землю, и мне это тоже не понравилось. Я затянул потуже кожаные ремни и, удерживая штурвал одной рукой, другой схватился за лонжерон. Нет, я все еще плыл по замечательно спокойному небу.

Наконец самолет вздрогнул. Всем нам знакомы эти тайные толчки, предвестники настоящей бури. Еще нет болтанки, ни бортовой, ни килевой. Самолет еще ни разу как следует не трянуло. Продолжается прямой горизонтальный полет. Но крылья уже получили первое предупреждение: редкие, едва ощутимые короткие толчки, похожие на взрывы, словно кто-то подмешал к воздуху порох.

Затем все вокруг меня взорвалось.

О двух последующих минутах ничего не могу сказать. В памяти встают зачатки мыслей, обрывки умозаключений, простые наблюдения. Я не смог бы сейчас открыть в этом трагедию, потому что никакой трагедии не было. Я только могу изложить все более или менее последовательно.

Начать с того, что я уже не продвигался. Довернув направо, чтобы устранить внезапный снос, вижу, что ландшафт подомной постепенно замедляет движение и совсем останавливается. Я не преодолевал пространство. Крылья не вгрызались в земной рельеф. Земля прыгала, вращалась, но на одном месте: самолет буксовал, словно сорвалась зубчатая передача.

Тут же возникло нелепое ощущение, будто я вылез из укрытия. Все гребни, все острые углы, все пики гор, пересекающие ветер и стегające меня своими смерчами и шквалами, показались мне орудиями, которые наводят на меня свои жерла. Во мне медленно созревало решение спуститься и в глубине долины поискать защиты у склона горы. Впрочем, хотел я этого или нет, меня уже придавливало к земле.

Тут-то меня и захлестнули первые волны циклона, который, как я определил через двадцать минут, неся над поверхностью земли с фантастической скоростью: двести сорок километров в час; но ничего трагического я не испытывал. Если я закрою глаза, если забуду про машину и про полет, чтобы выразить мое переживание в его простой первооснове, я опять испытываю то же неудобство, что и грузчик, который старается сохранить свою поклажу в равновесии: поклажа скользит, резким движением он подхватывает на лету один тюк, а тут валится другой, и он, совершенно растерявшись, вдруг замечает, что хотел было разжать руки и выпустить ношу. В сознании — никакого образа опасности. Есть что-то вроде закона кратчайшего пути возникновения образа. Человек заключает переживание в конкретный символ: я был официантом, который нес посуду, поскользнулся, и вся гора фарфора рухнула на паркет.

И вот я пленник долины. Я-то рассчитывал найти там укрытие, — куда там! — стало еще хуже. Шквалы, правда, никого еще не убивали. Мы знаем, что выражение «вдавлен шквалами в землю» изобрели газетчики. Ветру понадобилось бы спуститься ниже уровня земли. Но на этот раз, посреди долины, я едва-едва управлял самолетом. А форштевень скалы там, впереди, качнулся справа налево, стремительно взмыл в небо и целую

секунду висел надо мной, прежде чем снова исчезнуть за горизонтом.

Горизонт... Горизонта, впрочем, как не бывало. Я словно заблудился за кулисами театра, где навалены декорации. Вертикали, косые, горизонталы — все перепуталось. Сто долин пересекается подо мной, и непонятно, какая из них настоящая. Не успеваю осмотреться, а тут новое нападение отшвыривает меня в сторону, а то и совсем разворачивает. И снова мне надо разбираться в обломках ландшафта. У меня возникают две мысли. Первая — это открытие: только сейчас я понял причину аварий в горах, которые случались в ясную погоду. Во время этой карусели пилоты на миг принимают косые склоны гор за линию горизонта. Вторая — навязчивая идея: нужно выбраться к морю. Море плоское. За море я не зацеплюсь.

И я поворачиваю, если только можно назвать поворотом этот едва управляемый галоп по долинам, уходящим к востоку. Но и в этом нет еще ничего потрясающего. Я всего лишь борюсь с беспорядком, выбиваюсь из сил, чтобы восстановить порядок, изнемогаю, пытаюсь удержать на месте гигантский карточный домик, который все рушится и рушится. Я только смутно испытываю самый обыкновенный страх, когда одна из стен моей тюрьмы вдруг вздымается надо мной, как огромная волна. Разве что сердце у меня чуть щемит, когда живые гребни поддают мне пинка, стоит лишь оказаться в их водоворотах; когда взлетают невидимые пороховые погреба. Если и есть среди моих смутных чувств хоть одно ясное, так это чувство уважения. Я уважаю этот пик. Уважаю этот отточенный гребень. Уважаю этот купол. Уважаю эту поперечную долину, что впадает в мою и, столкнувшись с воздушным потоком, который меня увлекает, тряхнет меня увесистым шквалом.

Так я открываю, что сражаюсь вовсе не с ветром, а с этим самым гребнем, с этой хребтиной, с этой скалой. С этой скалой, хоть она и далека. Она собственной персоной насккивает на меня, протягивая свои невидимые руки, напрягая свои скрытые мышцы. Впереди, справа, узнаю правильный конус — пик Саламанки, — он, я знаю, стоит над морем. Значит, мне удастся выбраться к морю! Да, но прежде нужно пройти под ветром этого пика. Там, где он «колотит» по самолету, как мы говорим. Пик Саламанки — исполин... И я уважаю пик Саламанки.

Секунда передышки... две... Что-то начинает клубиться, вспучиваться, сжиматься. Я удивлен, но не более. Таращу глаза. Кажется, вибрирует весь самолет, он расширяется, разбухает. И вдруг в каком-то сумасшедшем порыве его внезапно возносит на пятьсот метров. Сорок минут я тщетно бился, чтобы подняться хотя бы метров на шестьдесят, — и вот противник оказывается подо мной. Самолет сотрясается, как в кипящем котле. Моему взору открывается океан. Туда, к океану, к избавлению ведет моя долина...

И тут безо всякой передышки я получаю пинок в брюхо от

пики Саламанки, хотя до него не меньше километра. У меня потемнело в глазах. И я кубарем скатываюсь к морю.

Держусь на полном газу лицом к берегу. Под прямым углом к берегу. Чего только не стряслось в одну минуту! Ведь это не я выбрался к морю: сама долина отхаркнула меня, словно в чудовищном приступе кашля; она исторгла меня, как жерло гаубицы. И мне показалось, что уже в следующий миг, когда я развернулся, чтобы определить расстояние до берега, я едва мог разглядеть его за туманной дымкой километрах в десяти от меня; он был уже голубой, словно чужая граница. А зубчатые горы, четко проступающие на чистом небе, показались мне крепостью с бойницами. Сильные сбивающие потоки приплюснули меня к самой воде, и я тотчас усвоил, какова скорость вихря, который я попытался преодолеть, слишком поздно осознав свою ошибку. Но даже на полном газу, при двухстах сорока километрах в час (максимальная скорость в те времена), в двадцати метрах от пенистых гребней, я оставался совершенно неподвижен.

Когда такой вихрь налетает на тропический лес, он пламенем охватывает ветви, выворачивая их, свивает, выдирает с корнем могучие деревья, как редиску... Здесь, обрушиваясь с гор, он истязал море.

Лицом к берегу, напрягая все силы моего мотора, я пытался удержаться в этом вихре, к которому каждый заусенец земли пристегивал длинную змеистую борозду, и мне казалось, что я цепляюсь за кончик гигантской плети, свистящей над морем.

На этой параллели Американский материк уже узок, и от Андийских Кордильер рукой подать до берегов Атлантики. Разумеется, я отбивался не только от низвергающихся с берега потоков, но и от всего неба, ринувшегося ко мне с высоты Андийских Кордильер. Впервые за четыре года полетов на линии я опасался за прочность крыльев. К тому же я боялся врезаться в море, не из-за шквалов, швыряющих вниз — они всегда образуют у самой воды горизонтальную подстилку, — а из-за тех произвольных акробатических позиций, в которых эти шквалы меня заставляли. При каждом новом налете я опасался, что до удара не успею выровнять самолет. Но больше всего я боялся просто свалиться в воду, когда иссякнет бензин, а это казалось неизбежным. С минуты на минуту я ждал, что откажут насосы. В самом деле, толчки были так сильны, что отливы бензина в полупустых баках или бензопроводе вызывали частые перебои мотора, который издавал не ровное гудение, а как бы стрекот морзянки — точка-тире-точка...

И все же я настолько ушел в физическую борьбу, слившись воедино со штурвалом тяжелой транспортной машины, что

испытывал лишь самые примитивные чувства и только безучастно смотрел, как ветер пашет море. Я видел, как со скоростью двести сорок километров в час несутся на меня восьмиметровые белые промоины, возникающие там, где смерчи взрывали воду.

Море было одновременно зеленое и белое. Белое, как сахарная пудра, в которой сверкали изумрудно-зеленые пятна. В невообразимой сумятице невозможно было отличить один вал от другого. Над морем низвергались водопады. Вихри рыли в нем огромные проплешины, как свирепые осенние бури в хлебах. Иногда между песчаными отмелями вода неожиданно становилась прозрачной и сквозь нее проступало чистое черное дно. Затем огромное стекло моря разлеталось тысячами белых осколков.

Разумеется, я считал, что мне конец. За всю двадцатиминутную схватку я не отвоевал и сотни метров. Кроме того, лететь в десяти километрах от скал было настолько трудно, что я и представить не мог, как выдержу ураганные ветры, если даже сумею пробиться к берегу. Я шел прямо на батареи, которые били по мне. Но уж какой там страх! В голове не осталось ничего, кроме одной мысли, одного представления о простом действии: выровнять самолет! Выровнять! И снова — выровнять!

Бывали, однако, и передышки. Правда, эти передышки напоминали самые свирепые штормы, которые мне до тех пор пришлось пережить, но в сравнении с остальным это была разрядка. Все-таки хоть несколько мгновений я мог свободно дышать. Я даже научился предвидеть передышки. Не я пробивался к зонам относительного покоя — эти почти совсем зеленые оазисы, четко обозначенные на поверхности моря, сами текли ко мне. На воде я прочитывал знаки их приближения. И с каждой передышкой ко мне возвращалась способность мыслить и чувствовать. Тогда я думал, что пропал. Тогда подступала тревога. И как только белая вода вновь кидалась в атаку, я ощущал панический страх, пока на грани кипящей пены не упирался в невидимое море. Тут уж я ничего больше не испытывал.

Подняться! Мне все же удалось осознать это желание. Случалось, спокойные зоны казались мне почти бесконечными. Тогда появлялась смутная надежда. «Вот наберу высоту... найду попутный ветер... вот сейчас...» Я наспех штурмовал вражескую крепость, пользуясь перемирием. Штурм был тяжел, сбивающие потоки по-прежнему оставались опасным противником. Сто... двести метров... Думаю: «Поднимусь на километр — тогда спасен». Но из-за горизонта выскакивала новая белая свора и мчалась на меня. И я толкал от себя ручку управления, чтоб и меня не сшибло, чтоб не смяло в опасном положении. Опоздал. Первый же пинок меня опрокидывает. И небо оказывается вдруг скользким куполом, где не за что уцепиться.

Как повелевают собственными руками? Я только что сделал ужасное открытие. Руки не гнутся. Руки мертвы. Я не чувствую их. Это, конечно, произошло не сейчас, только я не замечал. Но то и опасно, что я уже заметил, что подумал об этом...

Случилось вот что: ветер с такой силой выкручивал крылья, что в них затирало тросы управления и штурвал трясло. Сорок минут подряд я изо всех сил удерживал его, чтобы хоть немного смягчить толчки, от которых тросы могли лопнуть. Я перестарался и теперь не чувствую рук.

Вот так открытие: у меня чужие руки! Смотрю на них, шевелю пальцем — он слушается. Разглядываю другие. Так и есть: я не владею руками. Не получаю сигналов от пальцев. Как я узнаю, если они сами по себе разожмутся? Кидаю быстрый взгляд: нет, они сжаты по-прежнему, но я уже струхнул. Как же мне теперь, когда мозг и рука не обмениваются сигналами, отличить образ разжимающейся руки от желания ее разжать? Как распознать, где образ и где волевой акт? Нужно изгнать образ разжимающихся рук. Они ведь живут сами по себе. Надо избавить их от этого чудовищного искушения. И я начинаю их заговаривать и продолжаю эти нелепые заклинания вплоть до самой посадки. Единственная мысль. Единственный образ. Единственная фраза. Бормочу: «Сжимаю руки... сжимаю руки... сжимаю руки...» Вкладываю в эту фразу всего себя, и нет больше ни белого моря, ни шквалов, ни зубчатых гор. Есть только одно: я сжимаю руки. Нет ни опасности, ни циклона, ни недостижимой земли. Есть лишь где-то там резиновые руки, и стоит им отпустить штурвал, они не успеют опомниться, как я окажусь в море.

Ничего не соображаю. Ничего не испытываю, кроме опустошения. Уходят силы, иссякает воля к борьбе. Мотор все хрипит морзянкой: точка-тире-точка — прерывистый треск разрываемой простыни. У меня сердце останавливается, когда он молчит более секунды. Отказали насосы! Конец... нет: еще качают...

На термометре крыла тридцать два градуса ниже нуля. А я обливаюсь потом. Пот струится по лицу. Ну и пляска! Я скоро узнаю, что аккумуляторы сорвали стальные крепления и разбились, проломив фюзеляж. Я узнаю, что обшивка крыльев отдралась от нервюр, а несколько тросов перетерлось до последней жилки.

А я все опустошаюсь. Того и гляди, подберется безразличие неодолимой усталости и цепенящая жажда покоя. А что можно об этом рассказать? Да ничего. Болят плечи. Очень болят. Будто я таскал слишком тяжелые мешки. Смотрю вниз. Сквозь прозрачную зелень во всех подробностях вижу близкое дно. Но пинок ветра рассеивает образ.

За час двадцать минут битвы мне удалось подняться на триста метров. Южнее на поверхности моря замечаю какие-то



длинные борозды, что-то вроде голубой реки. Надо, чтобы меня туда снесло. Хотя я здесь и не продвигаюсь, меня не отбрасывает. Если я достигну этих неведомых мне воздушных потоков, может, мне и удастся улизнуть к берегу. Пусть меня сносит влево. Да и ветер как будто уже не так силен.

Я угробил час на эти десять километров. Затем, прячась у отвесных скал, пробрался к югу. Теперь надо подняться, чтобы пролететь над землей к аэродрому. Удастся сохранить высоту триста метров. Погода премерзкая, но с тем, что было, уже не сравнить. То все позади...

На аэродроме я обнаружил роту солдат. Их прислали мне на помощь по случаю циклона. Приземляюсь около них. После часа манипуляций удастся ввести самолет в ангар. Выхожу из кабины. Ни о чем не рассказываю товарищам. Хочу спать. Медленно шевелю пальцами—они так и не отошли. Я уж и не помню, что пережил какой-то страх. Разве мне было страшно? Я видел странные вещи! А что я видел? Не знаю. Голубое небо, очень белое море. Надо бы поделиться с друзьями: я ведь побывал так далеко! Но как начать рассказ о том, что я перенес? «Представьте: море белое... белое-белое... еще белее». Ничего не передашь, нагнетая эпитеты. Это беспомощный лепет.

Ничего не рассказываю, потому что нечего рассказать. Мысли сверлили мозг, невыносимо болели плечи,—но ведь настоящая трагедия заключалась не в этом. И купол пика Саламанки тут ни при чем. Он был набит взрывчаткой, как пороховой погреб, но скажи я такое—будут смеяться. А я... я уважал пик Саламанки. Только и всего. Это не трагедия.

Захватывают и волнуют только дела человеческие. Может быть, завтра, приукрасив свои переживания, я растрогаюсь над собой, вдруг представив, что я, живой, шагающий по планете людей, затерялся в циклоне. Это самообман, ибо тот, кто руками и ногами отбивался от циклона, не сравнивал себя с тем счастливым человеком, каким он станет завтра.

Мои трофеи ничтожны, я сделал крохотное открытие. Вот что я узнал: как отличить акт воли от простого представления, если ощущения не передаются в мозг.

Вероятно, мне удалось бы вас потрясти, расскажи я про то, как безвинно наказали ребенка. А я приобщил вас к циклону, но вряд ли это вас потрясло. Разве мы не присутствуем каждую неделю, сидя в кино, при бомбежке Шанхая\*? Мы можем без содрогания смотреть на клубы сажи и пепла, медленно вырастающие над вулканоподобной землей. А ведь они уносят не только запасы зерна, не только ценности культуры и святыни домашнего очага—плоть сожженных детей напיתה эти жирные черные тучи.

Физическая трагедия волнует нас лишь тогда, когда нам открывают ее духовный смысл.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ЭНН МОРРОУ-ЛИНДБЕРГ «ПОДНИМАЕТСЯ ВЕТЕР» \*

В связи с этой книгой я вспомнил рассуждения моего друга о замечательном репортаже, сделанном одним американским журналистом. «У журналиста хватило вкуса,—говорил он,—записывать военные происшествия прямо со слов командиров подводных лодок, без всяких комментариев и беллетристики. Нередко он даже ограничивался тем, что воспроизводил сухие записи бортовых журналов. Как он правильно поступил, спрятавшись за этим материалом, приглушив в себе писателя. Ведь такие скупые рассказы и голые документы необыкновенно поэтичны и волнующи. Почему люди так глупы, что вечно стараются приукрасить действительность, которая столь прекрасна сама по себе? Если когда-нибудь эти моряки сами возьмутся за перо, возможно, они будут корпеть над скверными романами и скверными стихами, не подозревая, какие сокровища у них в руках...»

Но я другого мнения. Эти моряки, возможно, будут сочинять скверные романы, но, значит, те же самые люди и путевые заметки писали бы неинтересно. Потому что не существует рассказов, есть только рассказчики. Нет приключений, есть искатели приключений. Непосредственной передачи действительности не бывает. Действительность—это груда кирпичей, из которой можно построить что угодно. Пусть этот журналист написал свою книгу телеграфным стилем и представил в ней одни только факты—все равно он неизбежно вклинился между действительностью и ее изображением. Он отобрал материал—ведь он рассказал не все подряд—и навязал ему некий порядок. Свой порядок. Навязав свой порядок исходному материалу, он и возвел здание.

Это относится не только к фактам, но и к словам. Предлагаю вам беспорядочную россыпь слов: «мостовая», «камень», «поленья», «стук». Сделайте-ка из них что-нибудь. Вы уклоняетесь. Эти слова не из тех, что могут волновать и трогать. Однако Бодлер докажет вам, что умеет создать сильный образ, пользуясь таким словесным материалом:

Поленьев гулкий стук о камни мостовой...\*

Этими словами—«мостовая», «камень» или «поленья»—можно точно так же задевать душу, как словами «осень» или «лунный свет». И я не вижу причин, почему бы писатель не мог нас увлечь «гирископами», «глубинным давлением» и «линией прицела» точно так же, как и любовными воспоминаниями. Но я расхожусь с моим другом в том, что не вижу, почему бы писателю, с другой стороны, не увлекать нас любовными воспоминаниями точно так же, как гирископами.

глубинным давлением и линией прицела. Разумеется, мне приходилось листать сотни страниц сентиментальной чепухи. Но я читал и множество таких повествований, где меня пытались растрогать рассказом о том, как ползет вниз стрелка манометра. Хотя стрелка и падала и ее падение ставило под угрозу жизнь героя, а от жизни героя, по всей вероятности, зависела судьба тоскующей по нем супруги — все это меня не трогало, если автор был бесталанен. Факты сами по себе ничего не передают. Смерть героя — очень печальное событие, если он оставляет безутешную вдову, но, чтобы растрогать нас вдвое сильнее, недостаточно придумать героя-двоеженца.

Главная проблема, очевидно, заключается в связях между действительностью и письмом, вернее, между действительностью и мыслью. Как передать чувство? Что мы передаем, когда пытаемся выразить себя? Где тут самое существенное? Это «существенное» мне представляется столь же отличным от использованного материала, как неф собора отличается от груды камней, из которых он построен. Если и есть нечто во внешнем и внутреннем мире, что можно попытаться ухватить, выразить, передать, — то это связи. «Структуры», как сказали бы физики. Вглядитесь в поэтический образ. Сила его воздействия таится не на уровне слов, его составляющих. Она не заключена ни в одном из двух членов сравнения или ассоциации, но в определенном способе их соединения, в особом расположении духа, которое навязывает нам такая структура. Образ — это действие, опутывающее читателя исподтишка. Читателя не стараются растрогать, его околдовывают.

Вот почему книга Энн Линдберг показалась мне не просто честным отчетом об одной истории, пережитой авиаторами. Вот почему эта книга прекрасна. Да, автор использует только записи событий, технические подробности; ее отправной материал профессионального происхождения. Тем не менее речь идет совсем не об этом. Меня вовсе не занимает, насколько труден был тот или иной взлет, долго ли длилось ожидание, скучала или веселилась Энн Линдберг во время путешествия. Все это руда; что из нее выплавлено? Вы скажете, произведение искусства подобно капкану. Но у добычи с капканом разное естество. Вот строитель соборов: он взял камни и создал из них тишину.

Настоящая книга — как сеть, ячейками которой служат слова. Сами по себе эти ячейки не важны. Важна живая добыча, которую рыбак вытаскивает со дна морского, эти ртутные молнии, сверкающие между ячейками. Что Энн Линдберг извлекла из своих душевных глубин? Какова ее книга на вкус?

Определение подыскать трудно — чтобы передать это ощущение, надо написать целую книгу и поговорить о многих вещах. И все же я чувствую, что страницы книги источают едва заметную тревогу; она обретет разные формы, но будет струиться неутомимо, тихо, как кровь в жилах.

Я подметил, что если в произведении искусства есть внутренняя цельность, то проявляется она почти всегда на уровне каких-то простейших сквозных ощущений. Помню фильм, который независимо от воли режиссера оставлял прежде всего впечатление тяжести. Все в этом фильме давило тяжким грузом. Наследственность тяжким грузом давила на императора-вырожденца, тяжелые меховые шубы давили на плечи, невыносимый груз ответственности давил на премьер-министра. Даже двери на протяжении всего фильма были налиты тяжестью. А в последнем кадре завоеватель, подавленный тяжестью победы, медленно поднимался по ступеням темной лестницы к свету. Конечно, это сквозное ощущение не было результатом предварительных замыслов. Постановщик о нем и не думал. Но коль скоро можно его уловить, оно есть свидетельство глубинного единства.

Мне вспоминается странное замечание Флобера по поводу «Госпожи Бовари» (цитирую, может быть, неточно, но смысл такой): «Эта книга? В ней я хотел прежде всего передать оттенок желтизны на стенах в тех углах, где иногда прячутся тараканы».

Если свести к подобной простейшей формуле то, что выразила Энн Линдберг,—это угрызения совести, возникающие, когда опаздываешь. Так трудно двигаться в соответствии с внутренним ритмом, если приходится преодолевать сопротивление материального мира. Вечно кажется, что все вот-вот остановится! Каким надо быть бдительным, чтобы поддерживать жизнь и движение во вселенной, которая на грани аварии.

Линдберг на хрупкой лодочке обследует водную поверхность в заливе Порто-Прайя. С высокого берега Энн видит, как муж барахтается, словно крохотная букашка, увязшая в огромном пятне смолы. Каждый раз, когда она поворачивает к морю, ей кажется, что он не тронулся с места. Напрасно букашка дергает крылышками. Как трудно пересечь залив, стоит только грести чуть помедленнее—и уже никогда больше не выберешься отсюда...

Вот они оба на несколько дней застряли на острове, где время не имеет значения, где время застыло. Где люди живут и умирают на одном месте и хранят в мозгу только одну коротенькую мысль, всегда одну и ту же, до той поры, пока и она не замрет.

(«Здесь я главный...» — сто раз бубнит им хозяин, монотонно, как далекое эхо.) Надо снова привести время в движение. Надо вернуться на материк, надо влиться в поток, туда, где тратят себя, где меняются, где живут. Энн Линдберг боится не смерти, а вечности.

А вечность совсем рядом! Как мало нужно, чтобы так и не пересечь залив, не вырваться с острова, не улететь из Батерста. Они оба, она и Линдберг, запаздывают немного. Совсем

немного... Чуть-чуть... Но стоит задержаться подольше, и никто в мире вас больше не ждет.

Всем нам приходилось встречать маленькую девочку, которая бегала не так быстро, как другие. Другие дети играют поодаль. «Подождите! Подождите меня!» Но она не поспевает, им надоест ее ждать, ее бросят позади, оставят одну в целом мире. Как ее успокоить? Такая тревога неизлечима. Потому что теперь, если она будет играть вместе со всеми и ей надо будет уйти, а она замешкается с уходом, то наскучит своим друзьям! Вот они уже перешептываются, поглядывают искоса... Опять они бросят ее одну в целом мире!

Признание в подобном внутреннем беспокойстве звучит неожиданно в устах этой пары, которой повсюду рукоплещут толпы людей. Телеграмма им сообщает, что их зовут в Батерст, и они бесконечно признательны за это. Потом им не удастся вылететь из Батерста вовремя, и они бесконечно стыдятся собственной навязчивости. Тут дело вовсе не в ложной скромности, а в ощущении смертельной опасности: запоздаешь немного — и все погребло.

Благотворная тревога. Именно этот страх, что ничего и никогда нельзя будет поправить, заставляет их пускаться в путь за два часа до рассвета, опережать самих предтеч и пересекать океаны, пока еще задерживающие других людей.

Как это далеко от тех повествований, где события нанизываются за событиями произвольно, словно в охотничьих рассказах! Энн Линдберг находит для своей книги тайную опору в чем-то несказуемом, первобытном и общечеловеческом, как миф. Как она умеет языком технических подробностей и простой записи происшествий говорить о загадке удела человеческого! Она пишет не о самолете, а с помощью самолета. Этот профессиональный материал служит ей средством передать нам что-то неприметное, но существенное.

Линдберг не мог взлететь в Батерсте. Самолет был перегружен. Между тем этому летчику, чтобы оторвать машину от воды, было бы достаточно порыва морского ветра. Но ветра нет. И снова путешественники тщетно пытаются выкарабкаться из смолы. Тогда они решают пойти на жертвы. Они выбрасывают из самолета всю оснастку, все припасы, все приспособления без которых можно обойтись. Пробуют взлететь опять, и опять напрасно; и каждый раз решаются на новые жертвы. Мало-помалу на полу их комнаты растет гряда драгоценных для них вещей, которые они с горьким сожалением отрывали от себя одну за другой, по грамму...

Энн Линдберг с убедительной искренностью передала эту скромную профессиональную драму. И разумеется, она точно чувствует поэзию полета. Поэзия эта кроется не в позолоченных закатом облаках. Позолоченные облака — дешевый вздор. Поэзия может таиться в повороте отвертки, оставляющем на приборной доске, в ровном ряду датчиков, черную брешь,

словно от выбитого зуба. Но не надо заблуждаться: если писательница сумела заразить своей печалью не только профессионального летчика, но и человека, чуждого этому делу, значит, через поэзию ремесла она пробилась к поэзии общечеловеческой. Она в свой черед прикоснулась к древнему мифу освобождающего самопожертвования. Тут происходит то же, что с деревьями, которые надо подрезать, чтобы они плодоносили, то же, что с людьми, которые в темницах своих монастырей познают просторы духа и через бесконечное самоотречение достигают полнейшего самоосуществления...

Но необходима и помощь богов: Энн Линдберг обнаруживает присутствие Рока. Для спасения человека мало отсечь у него часть сердца: нужно, чтобы его коснулась благодать. Мало подрезать дерево, чтобы оно зацвело: нужна работа весны. Мало сбросить лишний груз с самолета, чтобы он взлетел: нужен порыв морского ветра.

Энн Линдберг, не помышляя о том, воскрешает Ифигению\*. Она пишет на уровне достаточно возвышенном для того, чтобы ее борьба с временем обрела значение борьбы со смертью, чтобы безветрие в Батерсте исподволь задало нам загадку судьбы — и чтобы внушить нам, что гидроплан, который на воде представляет собой всего лишь громоздкое и тяжелое сооружение, меняет свое естество и становится чистой чуткой кровью, ибо его коснулась благодать морского ветра.

## **ПРЕДИСЛОВИЕ К НОМЕРУ ЖУРНАЛА «ДОКУМЕНТ», ПОСВЯЩЕННОМУ ЛЕТЧИКАМ-ИСПЫТАТЕЛЯМ \***

Жан Мари Конти\* будет говорить здесь о летчиках-испытателях. Конти — выпускник Политехнической школы и верит в уравнения. Он прав. Уравнения раскладывают опыт по полочкам. Но на практике в конце концов машина довольно редко вылупляется из математических расчетов, как птенец из яйца. Математические расчеты иногда предшествуют опыту, но чаще просто систематизируют его, что, впрочем, очень важно. Приблизительные данные показывают, что колебания такого-то явления описываются ветвью такой-то гиперболы. Теоретик закрепляет эти экспериментальные данные в уравнении гиперболы. Но благоговейно трудясь над расчетами, он доказывает также, что иначе и быть не могло. Когда более строгие данные позволят ему уточнить кривую, которая станет отныне гораздо более похожа на кривую совсем другого уравнения, — тогда он более строго опишет явление новым уравнением. И снова, трудясь не менее благоговейно, докажет, что это было извечно предусмотрено.

Теоретик верит в логику. Он верит, что презирует мечту, интуицию и поэзию. Он не понимает, что эти три феи перерядились, чтобы соблазнить его, как пятнадцатилетнего

влюбленного. Он не знает, что обязан им самыми прекрасными своими открытиями. Они явились ему под именем «рабочих гипотез», «произвольных условий», «аналогий». Как мог он, теоретик, заподозрить, что обманывает суровую логику, что, слушая их, внимает голосам муз...

Жан Мари Конти расскажет вам, как прекрасна жизнь летчиков-испытателей. Но он учился в Политехнической школе. Он будет утверждать, что летчик-испытатель вскоре станет для инженера чем-то вроде измерительного прибора. И конечно, я с ним согласен. Я тоже думаю, что настанет день, когда, заболев непонятным недугом, мы обратимся к ученым, которые даже не станут нас расспрашивать, а вытянут у нас шприцем капельку крови, установят по ней несколько величин и перемножат их одна на другую; а потом заглянут в таблицу логарифмов и вылечат нас одной пилюлей. И все-таки, захворав, я пока еще позову старого сельского врача, который посмотрит на меня внимательно краешком глаза, пощупает живот, положит мне на спину старый платок, послушает через него, потом кашляет, раскурит трубку, потрет подбородок — и улыбнется мне, чтобы лучше меня вылечить.

Я пока еще верю в Купе, Лана и Детруайя\*, для которых самолет — это не просто сумма параметров, а живой организм, который надо выслушивать. Они приземляются. Молча обходят машину кругом. Кончиками пальцев гладят фюзеляж, ощупывают крыло. Они не вычисляют — они размышляют. Потом поворачиваются к инженеру и говорят спокойно: «Так вот... Надо подтянуть стабилизатор».

Разумеется, я восхищаюсь Наукой. Но я восхищаюсь и Мудростью.

## КТО ТЫ, СОЛДАТ? \*

Чтобы излечиться от душевного смятения, надо уяснить себе его суть. А мы, конечно же, живем в смятении. Мы сделали выбор: спасти Мир. Но, спасая мир, мы отдали на растерзание друзей\*. Между тем, без сомнения, многие из нас были готовы рисковать жизнью ради долга дружбы. И сейчас им стыдно. Но если бы они пожертвовали миром, им было бы не менее стыдно. Потому что в таком случае они пожертвовали бы человеком — дали бы согласие на непоправимое уничтожение библиотек, соборов, лабораторий Европы. Они дали бы согласие на разрушение ее традиций, на превращение планеты в облако пепла. Вот потому-то мы и метались между двумя решениями. Когда нам казалось, что мир в опасности, мы ощущали весь позор войны. Когда показалось, что война нам не грозит, мы познали позор мира.

Не нужно поддаваться отвращению к самим себе: от него мы не были бы избавлены, какой бы выход ни избрали. Нужно

взять себя в руки и подумать, в чем причина такого отвращения. Если упираешься в подобное неразрешимое противоречие, значит, сама проблема поставлена неверно. Когда физик обнаруживает, что Земля, вращаясь, увлекает за собой эфир, в котором распространяется свет, и что в то же время эфир этот неподвижен, он не отказывается от науки, он меняет язык и отказывается от идеи эфира\*.

Чтобы понять, где же гнездится смятение, надо непременно подняться над событиями. Надо на несколько часов забыть про Судеты. Мы слепы, пока смотрим со слишком близкого расстояния. Нам нужно немного поразмышлять о войне, коль скоро мы одновременно и отвергаем, и приемлем ее.

\* \* \*

Я знаю, какие услышу упреки. От газеты читатели ждут предметных репортажей, а не размышлений. Размышления хороши для журналов или книг. Но я другого мнения на этот счет.

У меня до сих пор перед глазами впечатления первой моей летной ночи в Аргентине. Тьма кромешная. Но в этой бездне слабо мерцают, словно звезды, людские огни, рассеянные по равнине.

Каждая звездочка означала, что среди ночи там, внизу, люди думали, читали, вели разговоры по душам. Каждая звездочка, как сигнальный фонарь, свидетельствовала: здесь бодрствует человеческий разум. Вот там, быть может, размышляли о счастье людей, о справедливости, о мире. А эта звезда, затерянная в стаде других,— звезда пастуха. Тут, может быть, устанавливали связь со светилами, ломали голову, вычисляя туманность Андромеды. А там любили друг друга. Повсюду в долине горели эти огни, и все они нуждались в пище, даже самые скромные. Огонек поэта, учителя, плотника. Но среди этих живых звездочек— сколько затворенных окон, сколько угасших звезд, сколько спящих людей, сколько огней, уже не дарящих света, потому что им больше нечем питаться.

Пусть журналист ошибается в своих размышлениях, неважно—непогрешимых нет. Пусть он проникает не во все жилища, неважно—смысл каждой местности придают только те жилища, где не спят. Журналист не знает, какие из них откликнутся, но это неважно; раскидывая хворостинки по ветру, он надеется поддержать хоть несколько огоньков из тех, что горят тут и там по равнине.

Это были тяжкие дни—те, что мы прожили перед громкоговорителями. Так ждут найма у железных заводских ворот. Люди, столпившиеся, чтобы слушать речи Гитлера, уже видели мысленно, как они набиваются в товарные вагоны, а потом становятся к стальным орудиям, поступив служить на тот завод, которым обернулась война. Они уже словно подрядились на эту



нечеловеческую работу, и ученый прощался с вычислениями, приоткрывавшими ему вселенную, отец прощался с вечерней миской супа, наполняющей своим ароматом дом и сердце, садовник, положивший жизнь на новую розу, мирился с тем, что не украсит ею землю. Всех нас уже вырвали с корнем, перемешали и бросили как попало под жернова.

Тут не дух самопожертвования, а сдача на милость абсурду. Запутавшись в противоречиях, которые мы уже не могли разрешить, растерявшись перед нелепостью событий, которые уже никаким языком нельзя было объяснить, мы в глубине души принимали кровавую драму: она навязала бы нам обязанности вождественно простые.

А между тем мы понимали, что любая война, с тех пор как она стала питаться минами и ипритом, может кончиться только крушением Европы. Но нас мало трогают описания всяких катастроф — гораздо меньше, чем принято думать. Каждую неделю, сидя в креслах кинотеатров, мы присутствуем при бомбежках в Испании или Китае. Мы можем слышать взрывы, от которых города взлетают на воздух, — но нас эти взрывы не потрясают. Мы с изумлением глядим на витые столбы копоти и пепла, неторопливо извергаемые к небу этими вулканическими землями. И все-таки! Ведь это зерно из закромов, домашние сокровища, наследство предков, плоть сгоревших заживо детей стелется дымом и утучняет мало-помалу то черное облако.

Я исходил в Мадриде улицы Аргуэльеса, где окна, похожие на пустые глазницы, не отгораживали больше ничего, кроме блеклого неба. Устояли только стены, и за этими прозрачными фасадами содержимое шести этажей обратилось в пяти-шестиметровую грудку мусора. От кровли до фундамента прочные дубовые полы, на которых многие поколения проживали свою долгую семейную историю, на которых, может быть, в ту самую минуту, когда грянул гром, служанка застилала свежими простынями постель для ночного отдыха и любви, мать клала прохладную руку на пылающий лоб больного ребенка, отец обдумывал завтрашнее изобретение, — эти опоры, казавшиеся каждому из нас незыблемыми, в один миг, среди ночи, опрокинулись, как кузов самосвала, и сбросили свой груз в канаву.

Но ужас не просачивается сквозь экран, и на наших глазах, при полном равнодушии зрителей, авиационные бомбы скользят бесшумно, отвесно, как лот, к этим живым домам, чьи внутренности они сейчас выпотрошат.

Не стану предаваться негодованию — у нас пока нет языкового ключа ко всему этому. Мы — те же самые люди, которые пошли бы на смертельный риск ради спасения одного-единственного угольщика, погребенного в шахте, или одного ребенка, попавшего в беду. Ужас ничего не доказывает. Я плохо верю в действенность таких животных реакций. Хирург входит в больничную палату, и сердце его не сжимается при виде чужих страданий, как у юной девушки. Его жалость выше, она

поднимается над раной, которую он должен лечить. Он ощупывает рану и не слушает стонов.

Вот так, когда наступает час родов и раздаются первые жалобные крики, весь дом охватывает лихорадка. Торопливые шаги в передней, хлопоты, распоряжения, и никого не пугают вопли молодой матери. Она и сама их забудет, они подернутся пленкой в ее памяти, значения они не имеют. Но сейчас-то она корчится и истекает кровью. И ее держат узловатые руки, руки палача, которые помогают исторгнуть плод, вырывают плоть из ее плоти. Все меж тем заняты делом; все улыбаются. Слышится шепот: «Все идет хорошо». Готовят колыбельку, готовят теплую ванночку — и вдруг кто-то бросается к двери, распахивает ее настежь и кричит: «Благодарение богу, это сын!»

Если мы ограничимся изображением ужасов, то не найдем убедительных доводов против войны. Но мы не получим таких доводов и в том случае, если будем только расписывать радости жизни и боль бессмысленных утрат. Вот уже несколько тысячелетий мы разглагольствуем о слезах матерей. Приходится признать, что этот язык отнюдь не мешает погибать сыновьям.

Спасение придет не из рассуждений. Большее или меньшее число смертей... Начиная с какой цифры смерть приемлема? Мир нельзя основать на этой постыдной арифметике. Мы скажем: «Неизбежные жертвы... Величие и трагизм войны...» А скорее всего, мы ничего не скажем. У нас нет языка, который позволил бы разобраться в многообразии смерти без сложных рассуждений. А наш инстинкт и опыт велят нам не слишком доверять рассуждениям: доказать можно что угодно. Истина — это не то, что можно доказать; это то, что делает мир проще.

Наши терзания стары, как род людской. Они сопутствовали прогрессу человечества. Общество развивается, а люди все пытаются осмыслить сегодняшнюю действительность с помощью устаревшего языка. Мы всегда в плену у языка и рождаемых им образов, независимо от того, годится нам этот язык или нет. Противоречивым мало-помалу становится неподходящий язык, а вовсе не действительность. Человек высвобождается только тогда, когда придумывает новые понятия. Работа ума, дающая толчок прогрессу, состоит отнюдь не в том, чтобы вообразить себе будущее: как можно предугадать противоречия, которые завтра возникнут неожиданно из наших нынешних дел и властно требуя новых решений, изменят ход истории? Будущее не поддается анализу. Человек движется вперед, придумывая язык для понимания сегодняшнего мира. Ньютон подготовил открытие рентгеновских лучей не тем, что предвидел рентгеновские лучи. Ньютон изобрел простой язык для описания известных ему явлений. И из этого изобретения — через цепь других — родились рентгеновские лучи. Любой иной путь — утопия.

Не допытывайтесь, какие меры уберегали человека от войны. Спросите себя: «Почему мы ведем войну, хотя знаем

что она нелепа и чудовищна? Где таится противоречие? Где таится истина войны, истина столь всемогущая, что ей покоряются ужас и смерть?» Только найдя разгадку, мы перестанем сдаваться на милость слепой судьбе, как будто она сильнее нас. Только тогда мы уберемся от войны.

Конечно, вы можете мне ответить, что вероятность войны заложена в человеческом безумии. Но тем самым вы отрекаетесь от собственной способности понимать. Точно так же вы могли бы сказать: «Земля вращается вокруг Солнца, потому что такова воля божья». Возможно. Но какими уравниваниями эта воля описывается? На каком достаточно ясном языке мы можем описать это безумие и тем избавиться от него?

Мне все-таки кажется, что «дикие инстинкты», «алчность», «кровжадность» — неподходящие отмычки. Пользоваться ими — значит обходить самое, может быть, существенное. Это значит забывать о лишениях, связанных с войной. О готовности жертвовать жизнью. О дисциплине. О братстве, рожденном опасностью. Это значит, наконец, забывать обо всем, что поражает нас в солдате, в любом солдате, который согласился идти на лишения и смерть.

В прошлом году я побывал на мадридском фронте, и, на мой взгляд, соприкосновение с настоящей войной дает больше, чем книги. Думаю, только от солдата можно узнать, что такое война.

Но чтобы причаститься вместе с ним к всеобщей истине, надо забыть, что он на чьей-то стороне, и не обсуждать идеологические проблемы. Неумение найти общий язык влечет за собой противоречия, запутанные настолько, что лишают веры в спасение человека. Франко бомбит Барселону потому, что, по его словам, в Барселоне зверски истребили монахов. Следовательно, Франко защищает христианские ценности. Но христианин, во имя христианских ценностей, стоит в разбомбленной Барселоне у костра, в котором горят женщины и дети. И он отказывается понимать. Вы возразите мне, что это — печальная необходимость войны... Что война абсурдна, но приходится выбирать, на чьей ты стороне. А я думаю, что абсурден прежде всего язык, заставляющий людей противоречить самим себе.

Очевидность ваших истин — тоже не довод. Вы правы. Вы все правы. Прав даже тот, кто вину за все земные беды возлагает на горбунов. Если объявить войну горбунам, если заронить в умы представление о расе горбунов, мы быстро сумеем себя распалить. Мы предъявим горбунам счет за все их мерзости, за все преступления, все грехи. И будем считать, что это справедливо. А когда мы утопим несчастного, ни в чем не повинного горбуна в его собственной крови, то пожмем плечами с сожалением: «Таковы ужасы войны... Он расплачивается за других... Он расплачивается за преступления горбунов...» Ведь горбуны, разумеется, тоже совершают преступления.

Забудем же эти различия: если их принять, вслед за ними появится целый свод непререкаемых истин, со всем вытека-

ющим из них фанатизмом. Можно поделить людей на правых и левых, на горбунов и негорбунов, на фашистов и демократов, и такие разграничения неуязвимы. Но истина, как мы помним,— это то, что делает мир проще, а не то, что создает хаос.

А если задать солдату—любому солдату—вопрос иначе? Если искать смысл его сокровенных устремлений по-другому— не вслушиваясь, какие оправдания он приводит на своем невнятном языке, а всматриваясь, как он живет?

## **СРЕДИ НОЧИ ГОЛОСА ВРАГОВ ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ ИЗ ОКОПОВ \***

В глубине подземного укрытия несколько человек— лейтенант, сержант, трое солдат—снаряжаются, чтобы пойти в дозор. Один из них, тот, что напяливает шерстяной свитер—холод стоит жестокий,—маячит передо мной в темноте. Он еще не просунул голову в ворот, руки путаются в рукавах, движения медленные и неуклюжие по-медвежьи. Глухие проклятья, ночная щетина, разрывы поодаль... Все это составляет странную смесь из сна, пробуждения и смерти. Долгие сборы бродяг перед тем, как снова взять тяжелый посох и отправиться в путь. Загнанные в землю, вымазанные землей, с руками в земле, как у садовников, эти люди не созданы для наслаждения. Женщины отвернулись бы от них. Но вот они потихоньку выкарабкиваются из грязи к звездам. Под землей, под этими глыбами промерзшей глины пробуждается мысль, и я думаю, что там, напротив, в тот же час другие люди так же снаряжаются и натягивают на себя такие же шерстяные свитера; они выпачканы той же землей и вылезают из той же глины, из которой и сотворены. Там, напротив, та же земля пробуждается к мысли через людей.

Так по ту сторону, лейтенант, твой собственный образ медленно поднимается навстречу гибели от твоей руки. Он от всего отказался, чтобы, как и ты, защищать свою веру. Его вера—это и твоя вера тоже. Кто согласился бы умирать иначе, как за истину, справедливость, любовь к людям?

Мне скажут: «Кого-то обманули—либо их, либо тех, что напротив». Но мне сейчас плевать на политиков, спекулянтов, мыслителей-надомников из обоих лагерей. Они дергают за веревочки, сыплют громкими словами и полагают, что руководят людьми. Они полагают, что люди настолько наивны. Но если громкие слова и пускают корни, как семена, развеянные по ветру,—это значит только, что ветру на пути встретились тучные земли, пригодные нести груз урожая. И пусть кто-то цинично воображает, что разбрасывал песок вместо зерен: распознавать хлеб—дело земли.

Дозорные готовы, и мы двигаемся через поле. Стерня похрустывает у нас под ногами, и мы то и дело спотыкаемся в

темноте о камни. Я провожаю до границы этого мира тех, кто получил приказ зайти в глубь узкой долины, отделяющей нас от противника. Ширина ее — восемьсот метров. Она оказалась под навесным артиллерийским огнем обеих сторон, и крестьяне ее покинули. Долина безлюдна, затоплена водами войны, посреди ее спит затонувшая деревушка. В ней живут теперь только призраки, тут остались одни собаки; днем они, должно быть, рыскают в поисках жалкого пропитания, а по ночам их, изголодавшихся, охватывает ужас. И к четырем часам утра вся деревня в смертельной тоске воет на белую, как кость, луну высоко в небе. «Вы должны разузнать, не прячется ли там противник», — приказал командир. Надо думать, противник задает себе тот же вопрос, и такой же дозор отправляется в путь с той стороны.

С нами идет комиссар. Я забыл, как его звали, но лица его я никогда не забуду. Он мне сказал: «Ты их услышишь... Когда будем на передовой, попробуем окликнуть неприятеля на том склоне... Иногда они отвечают...»

Я его ясно вижу, этого человека: он опирается на суковатую палку (наверно, легкий ревматизм), у него лицо пожилого сознательного рабочего. Вот он-то, могу поклясться, возвысился над политикой и борьбой партий. Он возвысился над враждующими исповеданиями веры. «Жаль, что в нынешних обстоятельствах мы не можем изложить противнику нашу точку зрения...»

Он идет с ношей своих убеждений, как евангелист. А на той стороне — я знаю, и вы это знаете — другой евангелист, какой-нибудь верующий, также озаренный светом своих убеждений, вытаскивает тяжелые сапоги из той же грязи и тоже идет на неведомое свидание.

И вот мы шагаем к земляному гребню, поднявшемуся над долиной, к самому вытянутому его отрогу, к крайнему уступу, к тому вопрошающему крику, что мы бросим врагу, — так вопрошают самих себя.

Ночь, высящаяся, словно собор, — и какая тишина! Ни одного ружейного выстрела. Передышка? Нет, не то. Но нечто похожее на ощущение присутствия. Оба противника слушают один и тот же голос. Братание? Нет, конечно, если подразумевать под этим словом ту усталость, что в один прекрасный день ломает людей, заставляя их обмениваться сигаретами и делить чувство одинакового унижения. Попробуйте же сделать шаг навстречу врагу... Братание, быть может, но на такой высоте, где дух действует неизъяснимым до поры образом, — а здесь, внизу, не спасает нас от бойни. Ибо у нас нет пока языка, способного высказать то, что нас объединяет.

Мне кажется, я хорошо его понимаю — комиссара, который идет с нами. Откуда он, с такими глазами, глядящими прямо перед собой, словно он когда-то подолгу ходил за плугом по борозде? Он родом из крестьян и с ними вместе постигал, как

живет земля. Потом он ушел на завод и постигал, как живут люди. «Я металлист... Двадцать лет был металлистом...» Я ни от кого не слышал исповеди более возвышенной, чем от этого человека. «Я человек неотесанный... Мне пришлось крепко над собой потрудиться... Понимаешь, всякие инструменты—с ними я умел обращаться и говорить об этом умел, тут у меня чутье было... Но когда я пробовал изложить что-то такое—идеи, мысли о жизни—для себя или для других... Вы-то привыкли к отвлеченным вещам... Вас ведь с детства приучают разбираться в разных словесных хитростях, и вы не можете вообразить, как это трудно—говорить об отвлеченных вещах! Но я работал, работал... Я чувствовал, как понемногу суставы у меня становятся гибче... Ты не думай, что я не могу посмотреть на себя со стороны... Я еще мужлан, не умею вести себя прилично, а ведь человека, знаешь, судят по тому, как он себя ведет...»

Слушая его, я вспоминаю прифронтовую школу, устроенную прямо в камнях, как первобытное поселение. Капрал преподавал там ботанику. Ощипывая лепестки мака, он приобщал своих бородатых учеников к нежным тайнам природы. Но видно было, что солдаты испытывают простодушную тревогу: они так старались понять,—а ведь они уже не слишком молоды и огрубели от прожитой жизни. Им сказали: «Вы дикари, едва из пещеры вылезли, надо догонять человечество...» И они торопливо поспевали за человечеством своими широкими тяжелыми шагами.

Я присутствовал здесь при восхождении мысли, подобном движению соков по стволу; рожденная в доисторической тьме из глины, она поднялась понемногу до высочайших вершин—до Декарта, Баха, Паскаля. Как переворачивал душу рассказ комиссара об усилиях пробиться к отвлеченным вещам! Эта потребность расти—так дерево тянется вверх. Вот тут и кроется тайна жизни. Только жизнь извлекает свою сырую породу из почвы и наперекор силе тяжести поднимает ее ввысь.

Какие воспоминания! Эта соборная ночь... Зрелище человеческой души с ее шпильями и стрельчатыми сводами... Враг, которого мы готовимся окликнуть. И мы сами, словно вереница паломников, бредем по черной, хрустящей земле, усыпанной звездами. Сами того, не зная, мы ищем новые заповеди, которые оказались бы выше всех наших временных, предварительных заповедей. Из-за них пролито слишком много людской крови. Мы шествуем к грозовому Синаю\*.

Вот мы и на месте. Натякаемся на закоченевшего часового—он дремал, привалившись к низенькой каменной стене.

«Да, тут они иногда отвечают... Другой раз сами зовут... А иногда и не отвечают. Это уж смотря с какой ноги встанут...»

...Так ведут себя и боги.

В ста метрах позади нас петляют окопы передовой. Их низкие стены укрывают человека по грудь. Они используются

только для ночных постов, днем тут никого нет. Они нависают прямо над бездной, поэтому нам кажется, что мы словно облокачиваемся о парапет или барьер над пустотой и неизвестностью. Я зажигаю сигарету, и могучие руки сразу же валят меня на землю. Рядом со мной все тоже падают. В эту самую минуту я слышу свист пяти-шести пуль. Впрочем, они пролетают слишком высоко, и больше залпов нет. Это просто призыв к порядку: под носом у противника сигарет не зажигают.

К нам подходят трое или четверо людей, закутанных в одеяла. Они стояли на часах поблизости, в таких же укрытиях.

— Видно, проснулись те, напротив...

— А говорить они будут? Хорошо бы их послушать...

— Там есть один... Антонио... Он иногда разговаривает.

— Ну попробуй— пусть поговорит...

Солдат выпрямляется, набирает полную грудь воздуха, складывает ладони рупором и кричит раскатисто и протяжно:

«Ан—то—ни—о...о!»

Крик растет, стелется, эхом отражается по равнине...

«Нагнись,— говорит мне сосед,— иногда они стреляют в ответ, когда их зовут...»

Мы прижимаемся к камню для безопасности и вслушиваемся. Выстрелов нет. Что же до отклика... Мы не могли бы поклясться, что ничего не слышим: в ночи все гудит, как в раковине.

«Эй! Антонио...о! Ты что...»

И славный здоровенный парень, насадив грудь, переводит дыхание.

«Ты что... спишь?..»

Ты спишь...—повторяет эхо на другом берегу... Ты спишь...—повторяет долина... Ты спишь...—повторяет ночь. Все вокруг наполнено этим звуком. А мы стоим, охваченные доверчивой надеждой: они не стреляют! Я представляю себе, как они там прислушиваются, и ждут, и ловят человеческий голос. И этот голос не будит в них ненависти—ведь они не нажимают на спусковой крючок. Правда, они молчат, но какое напряженное внимание выдает эта тишина, если единственная зажженная спичка вызывает выстрел! Не знаю, какие невидимые семена, летящие с нашим голосом, падают в черную землю. Они жаждут нашей речи, как мы жаждем речи ответной. Но мы ничего не знаем о нашей жажде, кроме того, что она ясно чувствуется в самом этом внимании. А они все же не снимают пальцев со спусковых крючков, и я вспоминаю диких зверьков в пустыне, которых мы пытались приручить. Они смотрели на нас, прислушивались к нам. Они ждали от нас пищи. И все-таки при малейшем неосторожном движении они вцепились бы нам в горло.

Мы надежно укрываемся за стену и, приподняв над ней руки, чиркаем спичкой. Три пули летят на быстро гаснущую звездочку.

О спичка-магнит... Это значит: «Мы воюем, не забывайте! Но мы вас слушаем. Такая суровость не мешает любви...»

Кто-то отталкивает здорового парня:

«Тебе его не разговорить, дай-ка я попробую...»

Коренастый крестьянин прислоняет ружье к стене, набирает воздух в легкие и кричит:

«Это я, Леон... Антонио...о!»

И громовой звук удаляется.

Я никогда не слышал, чтобы голос разносился так далеко. Будто корабль отплыл в пропасть, которая нас разделяет. Восемьсот метров отсюда до того берега и столько же обратно: тысяча шестьсот. Если они откликнутся, между вопросом и ответом пройдет секунд пять. Каждый раз пройдет пять секунд тишины, на которых подвешена целая жизнь. Каждый раз это как посольство в пути. И потому, даже если они нам ответят, мы не испытаем чувства единения друг с другом. Между нами встанет инерция невидимого мира, который надо столкнуть с места. Голос отчалил, он плывет, пристаёт к тому берегу... Секунда... две... Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые бросили бутылку в море... Три секунды... Четыре... Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые не знают, откликнутся ли спасители... Пять секунд...

«О-о!»

Голос доносится издалека и замирает на нашем берегу. Фраза растаяла по дороге, от нее осталась только невразумительная весть. Но меня она потрясает. Мы затеряны в темноте, непроницаемой изначала, и вот она внезапно озаряется возгласом гребцов.

Нас бьет бессмысленная лихорадка. Мы нашли очевидное доказательство. Напротив — люди!

Как это объяснить? Мне кажется, будто внезапно образовалась невидимая расщелина. Представьте себе дом ночью, все двери закрыты. И вдруг в темноте вас касается дуновение морозного воздуха. Одно-единственное. Кто-то рядом!

Вы когда-нибудь склонялись над пропастью? Я вспоминаю трещину в Шезри\*, черную щель в чаще леса, шириной в метр или два, длиной метров в тридцать,—пустяк. Ложись на еловые иголки и подталкиваешь рукой камешек в эту гладкую расщелину. Отзвука нет. Проходит секунда, две, три — целая вечность, и вот наконец слышится слабый гул, волнующий тем больше, чем дальше он шел, чем он слабее там, под тобой. Какая бездна! Так и в эту ночь запоздалое эхо созидает новый мир. Враг, мы сами, жизнь, смерть, война — несколько секунд тишины выражают все это.

Снова послан сигнал, корабль тронулся в путь, караван отправился через пустыню, и мы снова ждем. Конечно, на той стороне, так же как и здесь, ловят этот голос, разящий в сердце, словно пуля. Но вот эхо возвращается:

«...Пора... пора спать!»



Фраза доносится до нас изуродованной, разорванной в клочья, как спешное сообщение, перепачканное, размытое, истрепанное морем. Те самые люди, что стреляли по нашим сигаретам, напрягают грудь во всю мочь, чтобы послать нам материнский совет:

«Молчите... Ложитесь... Пора спать».

Нас охватывает легкая дрожь. Вам, наверно, показалось бы, что это игра. Им, этим простым людям, наверно, тоже кажется, что это игра. Так они в целомудрии своем вам бы и объяснили. Но в игре всегда таится глубокий смысл. Иначе откуда бы взяться тревоге, и наслаждению, и притягательной силе игры? Игра, в которую, казалось, мы играли, слишком хорошо сочеталась с той соборной ночью, с тем шествием к Синаю, она заставляла наши сердца биться слишком сильно, чтобы не отечать какой-то смутной потребности. Установленная наконец-то связь приводит нас в радостное возбуждение. Так вздрагивает физик, приступая к решающему опыту, готовясь взвесить молекулу. Он определит лишь одну величину из сотен тысяч, добавит как будто только одну песчинку к зданию науки, и все же сердце у него бьется, потому что дело совсем не в этой песчинке. У него в руках ниточка. Ниточка, дернув за которую, приближаешь познание вселенной, ибо все связано между собой. Так вздрагивают спасатели, закидывая трос один раз, другой, двадцатый... и ощутив по едва заметному толчку, что потерпевшие крушение наконец его поймали. Где-то там была горстка людей, затерянных среди рифов в тумане, отрезанных от мира. И вот они связаны волшебной стальной нитью со всеми мужчинами, со всеми женщинами во всех портах. Так и мы перекинули хрупкий мостик через ночь к неизвестности, и вот он связал друг с другом два берега мира. Мы соединяемся с врагом, перед тем как погибнуть от его руки.

Но наш мостик такой легкий, такой хрупкий; что можно ему доверить? Слишком тяжелый вопрос или ответ — и он рухнет. У нас так мало времени, что передавать надо только самое важное, истину истин. Я будто снова его слышу — того, кто руководил маневром, кто взял нас под свою команду, как рулевой; того, кто сумел добиться от Антонио ответа и потому стал нашим послом. Я вижу, как он выпрямляется во весь рост над стенкой, опирается широко раскрытыми ладонями о камень и выкрикивает в полный голос главный вопрос:

«Антонио! За какой идеал ты сражаешься?»

Разумеется, они по целомудрию стали бы оправдываться: «Это мы так, в шутку...» Они и сами в это поверят позднее, если попробуют передать на своем скудном языке те чувства, для передачи которых еще нет языка. Чувства человека, который внутри нас и который вот-вот проснется... Но чтобы он появился на свет, требуется усилие.

Этот солдат в свой черед ждет потрясения — и я знаю, я видел его глаза: он открыт ответу всей душой, как открываются

колодезной воде в пустыне. Вот она наконец эта изуродованная  
весть, это признание, обглоданное пятью секундами странствия,  
как надпись на камне обглодана столетиями:

«...Испания!»

Затем доносится:

«...ТЫ».

Думаю, это он теперь вопрошает того, кто здесь.

Ему отвечают. Я слышу, как отсылают величавый ответ:

«...Хлеб для наших братьев!»

А вслед за тем удивительное:

«...Спокойной ночи, amigo<sup>1</sup>!»

На что с той стороны отвечают:

«Спокойной ночи, amigo!»

И все снова погружается в тишину. Наверно, они там, как и  
мы, могли слышать только отдельные слова. Разговор состо-  
ялся, и вот он, плод долгой ходьбы, опасностей и усилий... Вот  
он весь, такой, каким его качало эхо под звездами: «Идеал...  
Испания... Хлеб для наших братьев...»

Но пора, дозор отправляется в путь. Начинается спуск к  
деревне — месту встречи. Ведь на той стороне такой же дозор,  
подчиняясь той же необходимости, углубляется в ту же бездну.  
Разными по видимости словами эти два отряда прокричали  
одну истину... Но столь возвышенное общение не воспрепят-  
ствует им умереть вместе.

## НАДО ПРИДАТЬ СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ \*

Несхожими словами мы выражаем одни и те же стремления.  
Человеческое достоинство, хлеб для наших братьев. Мы разли-  
чаемся по способу достижения цели, определяемому логикой  
наших рассуждений, а не по самой цели. Мы идем на войну друг  
против друга по направлению к одной и той же земле  
обетованной.

Чтобы понять это, достаточно взглянуть на нас со стороны.  
Тогда окажется, что мы воюем против самих себя. А наши  
споры, распри, обиды — это словно единое тело корчится и  
раздирается пополам в кровавых родовых муках. В том, что  
должно появиться на свет, противоречивые представления  
соются, но поторопимся ковать новую цельность. Родам надо  
помочь, иначе исход может оказаться смертельным. Не забудем,  
что сегодня война питается минами и ипритом. Военная страда  
теперь уже не препоручается каким-то представителям нации,  
которые пожинают лавры на границе и более или менее  
дорогой ценой приумножают (готовы признать) духовное досто-  
яние народа. Война теперь действует хирургическими приемами  
насекомого, прокусывающего нервные узлы врага. Как только

---

<sup>1</sup> Друг (исп.).

война будет объявлена, наши вокзалы, мосты, заводы взлетят на воздух. Наши города в судорогах удушья разбросают своих жителей по деревням. И с первого же часа Европа, этот организм из двухсот миллионов человек, лишится своей нервной системы, словно ее сожжет кислотой, своих управляющих центров, регулирующих желез, кровеносных сосудов; она превратится в сплошную раковую опухоль и сразу же начнет гнить. Как прокормить эти двести миллионов человек? Корешков в достаточном количестве им никогда не накопать...

Когда противоречия становятся столь остры, нужно спешить их преодолевать. Нет ничего сильнее смутного беспокойства, ищущего для себя выражения. Можно дать на мучащие человека вопросы ответ получше, чем война, но отрицать их бесполезно. Попробуйте прокричать, какие у вас есть основания ненавидеть войну, тому сражавшемуся на юге Марокко офицеру (я его знаю, но имени не назову, чтобы не причинить ему неприятностей). Если вы его не убедите, не считайте его варваром. Послушайте сначала этот рассказ.

Во время Рифской войны\* он командовал небольшой заставой, примостившейся между двух мятежных гор. Однажды вечером он принимал парламентаров, спустившихся с западной гряды. Как положено, пили чай, и тут раздалась ружейная стрельба. На заставу напали племена восточной гряды. Когда офицер попросил парламентаров уйти, чтобы не мешать бою, они ответили: «Сегодня мы твои гости, аллах не велит тебя покидать...» Они присоединились к его солдатам, спасли заставу и вернулись к мятежникам.

Но накануне того дня, когда пришел их черед нападать на заставу, они появились снова:

- В прошлый раз мы тебе помогли.
- Верно.
- Мы истратили для тебя триста патронов.
- Верно.
- По справедливости надо их нам вернуть.

И офицер-рыцарь не стал извлекать выгоду из их благородства. Он отдал им эти патроны, один из которых, может быть, его убьет...

Истина для человека — это то, что делает его человеком. Кто познал такую высоту отношений, такую честность в игре, такой дар взаимного уважения, оплачиваемого жизнью, — тот, сравнивая взлет души, что выпал ему на долю, с заурядностью демагога, выражающего чувство братства с теми же арабами звонким похлопыванием по плечу, ласкающего в ней человека, тот испытает к вам, если вы его осудите, только жалость, смешанную с презрением. И будет прав.

Не пытайтесь объяснять Мермозу\*, когда он, всем сердцем торжествуя победу, летит над чилийским склоном Анд, будто он ошибается, будто письмо какого-нибудь лавочника не стоит

того, чтобы из-за него рисковать жизнью. Мермоз посмеется над вами. Истина—это человек, родившийся в нем, когда он пролетал над Андами...

Неужели вы не понимаете, что человеческое благородство основано прежде всего на самоотдаче, готовности рисковать, верности до самой смерти? Если вам нужен образец для подражания, вы найдете его в летчике, жертвующем собой ради почты, которую он везет, во враче, погибающем, сражаясь с эпидемией, в арабском воине, который на своем боевом верблюде спешит во главе отряда навстречу лишениям и одиночеству. Кто-то из них погибает каждый год. И даже если их жертвы кажутся бессмысленными, что же, вы думаете, их жизнь пропала даром? Они запечатали прекрасный образ на первобытной глине, из которой мы сделаны, они посеяли семена даже в сознании малого ребенка, засыпающего под легенды об их подвигах. Ничто не исчезает бесследно, и даже от огороженного стенами монастыря исходит свет.

Неужели вы не понимаете, что где-то мы сбились с пути? Человеческий муравейник стал богаче, чем прежде, у нас больше всяких благ и досуга, и все же нам не хватает чего-то существенного, чему трудно подыскать определение. Мы меньше ощущаем себя людьми, мы утратили какие-то таинственные привилегии.

Я разводил газелей на мысе Юби\*. Мы все там разводили газелей. Их держали в загородках на открытом воздухе, потому что газелям нужны потоки свежего ветра; газели—самое хрупкое, что есть на свете. Но если их изловить совсем маленькими, они все же живут в неволе и кормятся из ваших рук. Они дают себя погладить и тычутся влажными мордочками в вашу ладонь. И вы думаете, что приручили их. Вы думаете, что прогнали ту неведомую печаль, от которой газели тихо гаснут и умирают самой ласковой смертью... Но приходит день, когда вы застаете их упершимися рожками в изгородь и глядящими в сторону пустыни. Их влечет магнитом. Они не знают сами, что покидают вас; они пьют молоко, которое вы им приносите, позволяют себя гладить и еще нежнее тычутся мордочками в ваши ладони... Но как только вы отойдете, они, поскакав немного радостным галопом, снова возвращаются к изгороди. Если вы им не помешаете, они так и останутся там, даже не пытаясь сломать ограду, а только упираясь в нее рожками, опустив голову, пока не умрут. Что это—пора любви или просто жажда мчаться вприпрыжку до потери дыхания? Они не знают. Их поймали, когда у них еще глаза не открылись. Они ничего не знают ни о свободе в песках, ни о запахе самца. Но вы много умнее их. Вы знаете, чего они ищут: простора, который даст им возможность осуществиться. Они хотят стать газелями и танцевать свой танец. Они хотят познать бег по прямой со скоростью сто тридцать километров в час, перемежаемый внезапными скачками в сторону, словно из-под песка то тут, то там

вырывается пламя. Разве их остановят шакалы, если истина газелей в том, чтобы испытывать страх, который один только может заставить их превзойти самих себя, проделать самые невероятные прыжки? Разве остановит их лев, если истина газелей в том, чтобы их раздирали когти под слепящим солнцем? Вы смотрите на них и думаете: они охвачены ностальгией... Ностальгия—это желание неизъяснимого. Предмет желаний существует, нет только слов, чтобы его назвать.

А мы—чего не хватает нам?

Что это за пространства, куда мы просим нас выпустить? Мы стараемся вырваться за пределы тюремных стен, растущих вокруг нас. Казалось, чтобы возвеличить нас, достаточно нас одеть, накормить, удовлетворить все наши потребности. И понемногу из нас лепили куртелиновского мелкого буржуа\*, провинциального политика, узкого специалиста, лишенного всякой внутренней жизни. Вы мне возразите: «Нас учат, просвещают, больше чем когда-либо обогащают всеми завоеваниями разума». Но до чего жалкое представление о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредственный ученик Политехнической школы, кончивший курс последним, знает о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Но никогда ему в голову не придет такой поворот мысли, какие приходили в голову Декарту, Паскалю и Ньютону. Ибо у тех сначала воспитывали душу. Паскаль—это прежде всего стиль. Ньютон—это прежде всего человек. Он стал зеркалом вселенной—слушал, как говорят на одном языке зрелое яблоко, падающее в саду, и звезды июльской ночью. Для него наука была жизнью.

И вот мы с удивлением обнаруживаем, что нас обогащают какие-то загадочные обстоятельства. Мы можем дышать только тогда, когда связаны с другими общей, и притом надличной, целью. Сыновья века комфорта, мы испытываем несказанное блаженство, делясь в пустыне последними крошками. Тем из нас, кто познал великую радость взаимной выручки в Сахаре, все другие наслаждения кажутся пресными.

Тут нечему удивляться. Тот, кто не подозревал о существовании незнакомца, дремлющего в его душе, но однажды в кабачке анархистов, в Барселоне, почувствовал, как он пробуждается благодаря самопожертвованию, дружеской помощи, суровому понятию справедливости,—тот будет отныне признавать только одну истину: истину анархистов. А кто однажды постоит на часах, охраняя коленопреклоненных испуганных монашенок в испанских монастырях,—тот умрет за испанскую церковь.

Мы хотим освобождения. Кто бьет киркой, хочет знать, какой смысл в том, что он бьет киркой. Каторжник бьет киркой совсем не так, как изыскатель, которого удар киркой возвышает. Каторга не там, где бьют киркой. Дело вовсе не в физических

трудностях. Каторга там, где бьют киркой бессмысленно, где удар киркой не связывает работающего со всем человечеством.

А мы хотим бежать с каторги.

В Европе двести миллионов человек, жизнь которых лишена смысла и которые хотели бы родиться на свет. Развитие промышленности оторвало их от наследственного крестьянского языка и заперло в огромных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые составами из черных вагонов. В гуще рабочих предместий эти люди ждут пробуждения.

Есть и другие—жертвы всех профессий: им запретны радости Мермоза, радости верующего, ученого; а они тоже хотели бы родиться.

Конечно, можно их оживить, нарядив в мундиры. Они станут петь походные песни и делить хлеб по-братски. Они найдут то, чего ищут,—причащение к всеобщему. Но, отведав такого хлеба, они погибнут.

Можно откопать деревянных идолов и воскресить старые языки, которые с грехом пополам делали когда-то свое дело; можно воскресить мистику пангерманизма или Римской империи\*. Можно одурманить немцев хмелем сознания, что они—немцы и соотечественники Бетховена. Таким хмелем можно и кочегару вскружить голову. Это, конечно, гораздо легче, чем пробудить в кочегаре Бетховена. Но демагогические идолы плотоядны. Тот, кто умирает за приумножение познаний или исцеление болезней, даже умирая, служит жизни. Можно умереть и за расширение границ Германии, или Италии, или Японии, но тогда враг—это уже не уравнение, сопротивляющееся решению, не бацилла, сопротивляющаяся сыворотке; враг—это человек рядом. С ним приходится сражаться, но о победе сегодня речи быть не может. Каждый укрывается за бетонными стенами. Каждый, не придумав ничего лучшего, ночь за ночью посылает эскадрильи бомбить самое нутро другого. Победа достается тому, кто сгниет последним,—поглядите на Испанию...

Что помогало нам родиться к жизни? Служение. Мы смутно ощущали, что человек может соединяться с человеком, только разделяя одни и те же устремления. Летчики сближаются, если идут на риск ради одной и той же почты. Альпинисты—если карабкаются к одной и той же вершине. Люди соединяются не тогда, когда тесно соприкасаются друг с другом, а когда сливаются в одной вере. В мире, ставшем пустыней, мы испытываем жажду вновь обрести товарищей. Но для того, чтобы почувствовать тепло от плеч спутников, с которыми вместе бежишь к одной цели, война не нужна. Война нас обманывает. Ненависть ничего не прибавляет к экстазу бега.

Ибо для того, чтобы освободить нас, достаточно помочь нам осознать единую цель, связующую нас друг с другом, и искать ее надо в общечеловеческом. Врач во время осмотра не обращает внимания на стоны того, кого выслушивает: помогая этому

больному, он надеется исцелить человека. Врач говорит на общем для всех языке. Пилот почтового самолета мускулистой рукой управляется с болтанкой, и это каторжная работа. Но своим трудом он служит связям между людьми. Мощь его руки соединяет тех, кто любит друг друга, кто мечтает о встрече: этот пилот тоже частица всеобщего. И даже простой пастух, стерегущий овец под звездами, осознав свое назначение, обнаруживает, что он больше чем пастух. Он часовой. А каждый часовой в ответе за всю державу.

К чему обманывать кочегара, посылая его во имя Бетховена драться с соседом? Какая ложь! Ведь в том же краю Бетховена бросают в концентрационный лагерь, если он думает не так, как кочегар. У кочегара должна быть иная цель — возвыситься до того, чтобы однажды заговорить, как Бетховен, на общем для всех языке.

Идя к осознанию вселенной, мы вернемся к самой сути человеческой судьбы. Не понимают этого только лавочники, удобно устроившиеся на берегу и не замечающие, как течет река. Но мироздание не стоит на месте. Из кипящей лавы, из звездного вещества рождается жизнь. Постепенно мы восходим к тому, чтобы сочинять кантаты и взвешивать галактики. И сержант под снарядами знает, что генезис еще не завершен, что он должен продолжать восхождение. Жизнь движется к сознанию. Звездное вещество неторопливо вскармливает и растит самый благородный свой цветок.

Но велик даже тот пастух, что осознал себя часовым.

Мы лишь тогда будем счастливы, когда начнем двигаться в нужном направлении — в том, по какому шли с самого начала, только пробудившись из глины. Тогда мы сможем жить в мире, ибо то, что придает смысл жизни, придает смысл и смерти.

Как легка она под сенью провансальского кладбища, когда старый крестьянин в конце своего царствования вручает семейное достояние — коз и маслины — на хранение сыновьям, чтобы те в свой черед передали его сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду умирают лишь наполовину. Жизнь каждого в свой срок лопается, как стручок, и выпускает на волю зерна.

Я как-то сидел бок о бок с тремя крестьянами у смертного одра их матери. Конечно, это было горько. Второй раз перерезалась пуповина. Второй раз развязывался узел, соединяющий одно поколение с другим. Трое сыновей понимали, что остались одни, что им надо всему учиться заново, что они лишились семейного стола, за которым собирались по праздникам, той точки, в которой они все сходились. Но я понимал также, что с этим разрывом второй раз дарилась жизнь. Сыновья в свой черед становились предводителями, полюсами притяжения, патриархами — до той поры, пока в свой черед не передадут престол выводку малышей, играющих во дворе.

Я смотрел на мать, старую крестьянку, с лицом спокойным и строгим, со сжатыми губами; лицо ее обратилось в каменную

маску. И я узнавал в нем лица сыновей. В этой маске они были отлиты. В этом теле были отлиты их тела, прекрасные образцы человеческой породы; они держались прямо, как деревья. Теперь маска лежала разбитая—но так трескается крепкая скорлупа, из которой вылутили плод. Сыновья и дочери в свой черед будут отливать из своей плоти человеческий молодняк. На ферме не умирают. Мать умерла, да здравствует мать!

Горькая, да, но такая простая картина: этот род, оставляя на пути одного за другим своих прекрасных седоволосых покойников, шествует через все метаморфозы к неведомой истине.



1939

## ПАНГЕРМАНИЗМ И ЕГО ПРОПАГАНДА \*

(Текст выступления,  
переданного по радио 18 октября 1939 года)

Германская пропаганда работает с изобретательностью на манер американских киностудий, где специальные группы придумывают новые трюки.

Всякий раз команды немецких публицистов селятся разрешить следующую проблему: Германии, чтобы расшириться, необходимо захватить такую-то территорию. Как изобразить очередное притязание так, чтобы сломить логику и успокоить совесть всего мира? И команда швыряет в мир формулы — они, как всегда, находятся, — которые противоречат друг другу, но это не имеет никакого значения: торговцам рекламой прекрасно известно, что у толпы начисто отсутствует память.

Мы долго поддавались на эту уловку. Мы серьезнейшим образом обсуждали любые аргументы в оправдание побудительных мотивов противника, пытались понять его доводы, проверить их искренность, уличить его в противоречиях. Мы пользовались словами там, где слова бесполезны.

Все эти формулы были только прикрытием, а речь шла исключительно о том, чтобы прибавить к немецкой земле новые территории! А какая нация населяет их, какова ее плотность и духовные стремления — безразлично.

Нас сбили с толку жульнические правила игры, навязанные противником, хотя нас все-таки извиняет то, что мы люди и полагали, будто люди в своих действиях руководствуются философией, религией или доктринами. Раз люди, полагали мы, готовы сражаться и гибнуть за какое-то дело, значит, это дело завладело их умами. Мы забыли, что существуют побуждения,

не имеющие ничего общего с разумом, и что один народ может стремиться пожрать другой, как пожирают друг друга простейшие организмы.

Мы позабыли об этом, потому что для нас цивилизация означала главенство разума над примитивными инстинктами. Но у них разум сведен к роли прислужника, обязанного оправдывать инстинкты организма. Пангерманские борзописцы ссылаются на Гёте и Баха. Иными словами, Гёте и Бах, которых в нынешней Германии сгноили бы в концентрационном лагере, или, подобно Эйнштейну, изгнали, используются для оправдания газовой войны и бомбардировки беззащитных городов. Нет, пангерманизм не имеет ничего общего с Гёте и Бахом, низведенными таким образом до уровня рабов. Он не имеет ничего общего с понятием международного права, ничего общего с жизненным пространством. Речь тут идет просто о пространстве. Пангерманизм—это стремление к экспансии. Стремление, от природы присущее всем животным. Всякий вид стремится размножиться и вытеснить все другие.

Если для пангерманизма и существует какое-то оправдание, то звучит оно так—и это вовсе не шутка, мы найдем его либо зашифрованным, либо ясно сформулированным во всех нацистских писаниях: мы, немцы, заслуживаем того, чтобы расширить нашу территорию, поглотить наших соседей, использовать их достояние для нашего возвеличивания, потому что стремление расшириться—признак жизненной силы и только мы одни испытываем подобный позыв. Наше превосходство над противником в том и заключается, что мы хотим завоевывать, а наш выродившийся противник не способен испытывать такое желание.

Но сейчас мы уже знаем, что сложить оружие означало бы поощрить аппетиты Германии. А чем она удовлетворит их завтра? Действия ее не объяснить сколько-нибудь разумной концепцией. Германия вовсе не стремится к целям, которые можно строго обосновать. Ее цели—всего лишь последовательные ставки в игре, удобные пропагандистские предлоги. А подлинная цель Германии—просто-напросто увеличение своей территории.

Вот почему речь для нас идет не только о борьбе против нацизма, за Польшу, Чехословакию, за цивилизацию—речь идет прежде всего о борьбе за право на существование. И те, кто ушел в армию с фермы, из лавки, с завода, сражаются за то, чтобы не превратиться в удобрение для процветающей германской нации. Они отстаивают свое право на жизнь, на мирную жизнь.

Искушение—это соблазн, когда Дух дремлет, смириться перед доводами Рассудка.

Какой прок в том, что я сложу голову в этом горном обвале?

Не знаю. Мне сотни раз говорили: «Давайте мы вас используем на том или этом посту. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами...» Довод несокрушимый. Впрочем, все доводы всегда несокрушимы. Рассудком я соглашался, но мой инстинкт брал верх над рассудком.

Почему все эти настояния казались мне как бы иллюзорными, хотя я ничего не мог против них возразить? Я думал: «Интеллигентов, словно банки с вареньем, берегут на потом на полках ведомства пропаганды, чтобы полакомиться после войны...» Нет, это не ответ!

И сегодня я, как и мои товарищи, поднялся в воздух вопреки всяческим доводам, вопреки любой очевидности, вопреки инстинкту самосохранения. Придет час, когда я постигну, что, поступив наперекор рассудку, я поступил разумно.

## ПИСЬМО X.

[Тулуза, 26 октября 1939 г.]

Отчаянно умоляю тебя: воздействуй на Шансора\*, чтобы меня направили в истребительную авиацию. Я все сильнее ощущаю удушье. В атмосфере этой страны невозможно дышать. Боже милостивый, чего мы ждем!\*

К Дора\* насчет перевода в истребители не обращайся, пока не будут исчерпаны другие возможности. Я нравственно заболел, если не буду драться. Я могу многое сказать о нынешних событиях. Но сказать только как солдат, а не как турист. Для меня это единственная возможность высказаться. Я делаю по четыре вылета в день, я в хорошей, даже в слишком хорошей форме, что все и усугубляет: здесь из меня хотят сделать инструктора по обучению не только штурманов, но и пилотов тяжелых бомбардировщиков. А в результате я задыхаюсь, я несчастен и способен лишь молчать (...) Сделай так, чтобы меня направили в эскадрилью истребителей (...) Я не люблю войну, но не могу оставаться в тылу и не взять на себя свою долю риска (...) Надо драться. Но я не имею права говорить об этом, пока в полной безопасности прогуливаюсь в небе над Тулузой. Это было бы непристойно. Верни мне мое право подвергаться испытаниям. Великая духовная гнусность утверждать, что тех, «кто представляет собой какую-то ценность», надо держать в безопасности!

Лишь будучи активным участником событий, можно сыграть действительную роль. И ежели «представляющие собой ценность» являются солью земли, они должны смешаться с землей. Нельзя говорить «мы», когда стоишь в стороне. А если говоришь, тогда ты просто сволочь.

## ПИСЬМО X.

[Тулуза, «Гран отель Тиволье»,  
начало ноября 1939 г.]

Я только что провел двое суток на дежурстве. Спал на полу среди телефонов и шифровок. Просыпался в беленой комнатухе, ел в промерзшем буфете, словно мальчишка в школьной столовке. И находил в этом невыразимую радость. Ощущение домашних шорохов, будничности, кладовок. Мне хотелось бы раствориться в этом. Потому что я не вижу смысла в обломках ничтожного буржуазного существования, в этом отвратительном Лафайете\*, в этом хождении по взлетным полосам, в шатании вокруг ангаров. Я не гожусь для этого. Мне хочется стать пищей для корней дерева. Тогда бы я чувствовал птиц, что находят на нем приют.

Чудо безымянности, вроде безымянности пилота авиалинии или летчика-истребителя, или монастырского затворника, в том и состоит, что потихоньку, незаметно чем-то становишься. В процессе естественного переваривания превращаешься в нечто иное.

Просить для меня не тягостно. Я не прошу ни чинов, ни пособия. Я прошу, чтобы меня послали на фронт, в истребительную авиацию. Для меня это жизненная необходимость. И пусть это трудно, пусть даже безумно сложно, я все равно не испытываю угрызений совести оттого, что прошу: это первая моя к тебе просьба о столь большой услуге. Не ходи сразу к Дора. Дора меня не выручит. Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я люблю,—под угрозой. В Провансе, когда горит лес, все, кто не сволочь, хватают ведра и лопаты. Я хочу драться, меня вынуждают к этому любовь и моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне. Как можно скорей добейся моего перевода в истребители.

Здесь я изнываю от мрачного сознания своей бесполезности. Я не питаю никаких иллюзий насчет трудностей, ожидающих меня в истребительной эскадрилье, но в любом случае вновь с огромной радостью обрету почву под ногами, как в ту пору, когда я был пилотом почтовой линии. Среди ее летчиков я был как бы частицей земли, которая питает дерево, и не испытывал потребности в понимании. Ведь дерево—это смысл земли. Этим все объясняется.

## ПИСЬМО X.

[Орконт, середина декабря\*]

Грязь. Дождь. На ферме мучает ревматизм. Пустые вечера. Неясная тоска. На высоте 10 000 метров испытываю тревогу. И страх тоже. Естественно: все, что положено людям. Все, чтобы

быть человеком среди людей. Чтобы слиться с такими же, как я, потому что, отъединись я от них... грош мне была бы цена. Презираю сторонних наблюдателей. Всех этих Ж., о которых тебе говорил Декарт\* и которые ничего не вкладывают в свою деятельность.

Я обрел то, что должен был обрести. Я — как все. Мерзну, как все. Боюсь, как все. Страдаю от ревматизма, как все. И возможность выбора у меня не больше, чем у остальных. У них есть жандарм. У меня же нечто, обладающее куда большей властью, чем жандарм. Разумеется, я развлекаюсь, распевая с ними застольные песни. Но и они — тоже. Это, правда, не мешает им, уходя в увольнение, ободрять меня, утешать, поднимать мой дух и дружески похлопывать по плечу. Я бы предпочел быть никому не известным солдатом.

## ПИСЬМО X.

[Орконт, 22 или 23 декабря 1939 г.]

Печальный день. И наша и соседняя группа, стоящая в Сен-Дизье, потеряли по экипажу: их сбили в один и тот же день. Сюда приезжал на сутки Кессель\*, один из ближайших моих приятелей, и я покатал его на военном самолете. Кессель ничуть не изменился (...)

Я с любовью вспоминаю свою аварию в Ливии\*, наше отчаянное положение, вынуждавшее меня куда-то идти, и пустыню, которая потихоньку пожирала меня. Я преображался в нечто иное, оказавшееся не таким уж скверным(...) Ночь, тонущая в песках, и долгий полет среди звезд. Разве не в этом мой долг? Хочу в это верить, если долгом называется наилучшее выполнение своих обязанностей, хотя на языке умозрительных истин это уже не так. И умозрительность доминирует над милосердием. Она уже более высокий уровень (...) От всего этого такой привкус, что меня тошнит. В небе можно попытаться сделать что-то стоящее. Там от меня никто ничего не требует, и задание поручают мне не для того, чтобы выжать из меня соки, а потому, что мою кандидатуру предпочли ста другим.

Ты видела эту толпу порученцев, алчущих продвижения? Я другой породы. Нет там могучего дерева, что силой отнимает у земли ее сокровища и дивно истощает ее.

## ПИСЬМА ЛЕОНУ ВЕРТУ\*

[1939 г.?]

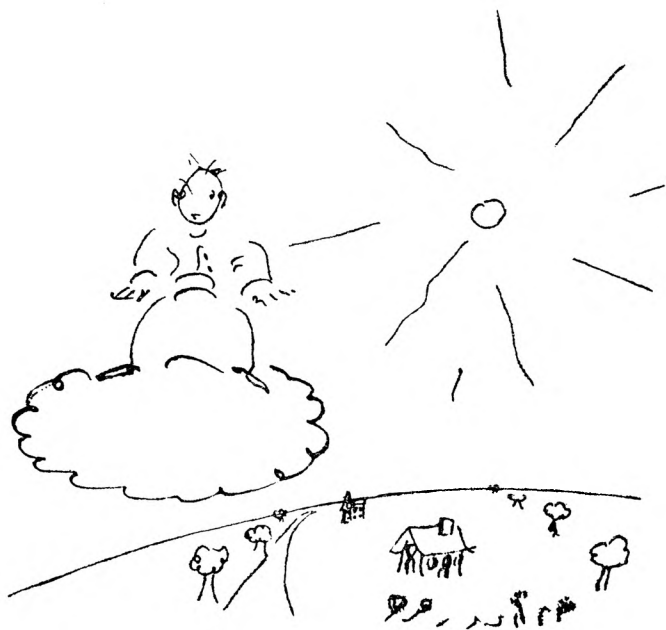
Дорогой Верт,

Проездом обнимаю вас (в Париже я всего на несколько минут). Сегодня днем прогулялся по исключительно скверно

мощным закоулкам и любовался там — устроенным специально для меня — красивейшим в мире фейерверком. Набил несколько шишек в самолете — и все.

Обнимите Сюзанну\*.

Тонио



[1939]

Дорогой Верт,

Я здесь проездом: через десять минут отправляюсь на двое суток в Тулузу на испытания. Надеюсь повидаться с вами, когда поеду через Париж обратно.

Полеты прошли хорошо.



Будьте добры, скажите Консуэло\*, что я пытался связаться с ней во время моего краткого пребывания тут и надеюсь, что она окажется в пределах досягаемости, когда я поеду обратно; я ее предупрежу (позвоню из Тулузы).

Передайте ей прилагаемую бумагу, которая нужна ей для квартиры; я ее подписал, а она должна сама отнести ее, чтобы тоже подписать.

Бесконечно благодарен. Обнимаю вас обоих.



[конец ноября 1939 г.]

Дорогой Леон Верт,

Я отправляюсь на фронт (авиагруппа 2/33, полевая почта 897) в дальнюю авиаразведку. Поскольку я не очень кровожаден, мне это больше по душе, нежели бомбардировочная авиация.

Как жаль, что вас не будет со мной в ночь перед посвящением в войны...

Завтра у вас званный обед.

Всякий раз, открывая «Марианну»\*, я чувствую толчок в сердце, и всякий раз я доволен.

Дорогой Леон Верт, дорогая Сюзанна, от всего сердца обнимаю вас.

А.

[1939 г.]

Дорогой Леон Верт,

Ваше письмо было первым — я получил его, когда еще ни от кого не ждал писем, и оно доставило мне огромную радость.

Я написал вам длинное письмо, но сразу же его потерял! Однако мне хочется подать вам весточку, что я жив, и потому я нацарапал эти несколько строчек; скоро напишу еще.

Я все сильнее люблю вас.

Тонио

## ПИСЬМО МАТЕРИ

[Орконт, декабрь 1939 г.]

Мамочка,

(...)Живу я на очень милой ферме. Здесь трое детишек, два деда, тетушки и дядюшки. В очаге все время пылает огонь, и я отогреваюсь возле него после полетов. Мы ведь летаем на высоте десять тысяч метров при... пятидесяти градусах мороза! Но на нас столько надето (одежда весит 30 кг!), что мы не очень мерзнем.

Странная война на малых оборотах. Мы еще хоть что-то делаем, а вот пехота! Пьер\* непременно должен заниматься своими виноградниками и коровами. Это куда важней, чем быть при шлагбауме на железной дороге или капралом в учебной роте. У меня впечатление, что демобилизуют еще многих; промышленность должна продолжать работать. Умирать от удущья бессмысленно.

Скажите Диди\*, чтобы она время от времени писала мне. Надеюсь недели через две всех вас повидать. Какое это будет счастье!

Ваш  
Антуан

## ПИСЬМО Х.

Орконт [декабрь 1939 г.]

(...)Мне советуют прямо сейчас взять отпуск, так как следующие две недели и еще долго потом дел у нас почти не будет.

Не думай о том моем письме. Все это очень противоречиво и трудно объяснимо. Я вовсе не грущу, оттого что сделал выбор, я просто плохо понимаю жизнь, да и сам для себя чересчур сложен. Не знаю, где применить себя. Трудные моменты — это охота за призраками, одним, другим, третьим. Поначалу мне не нравилось подниматься на десять тысяч метров. Не нравилось воевать. Нет во мне воинственного хмеля, и я очень неясно вижу, куда идет наше поколение. Все это из-за радио, «Пари-суар», Ж., некоторых разговоров. Дело вовсе не в трудности полетов на десяти тысячах метров, не в грязи, не в том, что рискуешь жизнью. Остается одна лишь горечь, потому что здесь нет радости созидания, победы или охоты. Для меня невыносимо стоять в стороне от событий. Когда начинаешь последовательно сдирать оболочку со всего, что тебя окружает, она отпадает, и тебе становится худо. Но в то же время понимаешь, что это всего-навсего видимость, и поэтому, одолев призрак, плюешь на него с высоты десять тысяч метров. Только находясь в самом центре, в дерьме, обретаешь ясность. А оболочку необходимо отшелушивать.(...)



## ПИСЬМО X.

[Орконт, конец декабря]

*Полночь.*

В Витри был праздник. Мне пришлось пойти во «фронтальной театр»\*. И вновь, острее, чем когда бы то ни было, встал вопрос: почему мы воюем? Куда делись французы? Куда делся г-н Паскаль? До чего ничтожно это паясничанье! Эти стереотипные, как с конвейера, песенки! Еще куда ни шло, когда они идиотские, вроде «Ольги», тогда их еще можно вынести:

И, не пойдя в официантки, она пошла по офицерам.

Но они становятся духовной порнографией, когда пытаются подняться до уровня чувств, когда намереваются растрогать. Это консервы для собак, которые фабриканты подсовывают людям, и люди ими довольны. Мильтону\* хлопали. До чего угрюма веселость этого шута! Веселость горемыки, страдающего геморроем и способного думать только о нем. И тем не менее он худо-бедно зарабатывает себе на хлеб потоками слов, которые невозможно назвать предложениями, потому что предложения—это структуры, которым присуще внутреннее движение.

И поэтому, слушая продолжение «Ольги», чувствуешь, как тебя окатывает волна свежести, правды и здоровья:

Она была полудевица и получала вполтину.

Еще бы! Тут ведь полное соответствие стиля и содержания. Содержание—это удовольствие сказать жеребятину. Отмочить глупость. Вещь совершенно естественная, вроде отрывки. Содержание крайне непритязательно, но оно такое, какое есть, и стиль под стать ему: ничего не прибавляет и не убавляет. Но как вынести без тошноты этакое:

Я люблю-ю-ю тебя безу-у-мно...

Какое внутреннее побуждение направляет этот стиль? Я видел автора. Гнусный барышник. И хотя слова логически связаны друг с другом, все вместе—пьяная икота, утробное урчание мысли. Внутреннего слияния не происходит. Как все это, однако, заносно! И любовь тут—точно королевская багряница, в которую кутается унылый фигляр.

На мгновение я вдруг растрогался:

Когда девчонки в лес идут,

Кюре, довольный, ждет крестин...

И неожиданно подумал о городе и деревне. Попытался осмыслить. Город—это Жироду и нынешние обстоятельства. Но и место, где все утрачивает смысл. Вследствие игры ума. Так же как и этот барышник. Но он-то из-за собственной ничтожности. А деревня—это непрерывность. Преемственность. Течение

времени и перемены, которые им движут. В землю бросают семя, и оно всходит. (Если девушки идут в лес, кюре доволен, так как вскоре будут крестины.)

Вот так, медленно, рождаются народные песни, танцы и прекрасная мебель. В средневековых деревнях течение времени имело смысл. Человек там был звеном в цепи поколений, и благодаря церкви мертвые присутствовали в его жизни. Мертвые — как звенья непрерывности. А наши мертвые — это пустые клеточки. И наше лето никак не связано с осенью: это просто времена года, следующие друг за другом. О незащитные современные люди! И Жироду надеется спасти человечество с помощью разума! Но разум, который все разбирает, а потом складывает по кусочкам (когда он не забавляется и развлечения ради не корежит всю конструкцию, чтобы добиться живописности), теряет ощущение сущности. Когда анализируют «обстоятельства», утрачивают человека.

Я не старик и не юноша. Я — тот, кто переходит из молодости в старость. Я — нечто в развитии. Я — старение. Роза — не то, что возникает, распускается и увядает. Это описание, пригодное для школьного учебника. Анализ, умерщвляющий розу. Роза — не ряд последовательных состояний. Роза — это чуточку грустный праздник.

Мне самому понятно, что я хочу сказать, но чтобы стать яснее, мне надо бы еще поразмыслить.

Этот фронтовой театр. Во время войны... Я согласен умереть, чтобы «напитать», но не ради спасения Мильтона. С Мильтоном я не желаю иметь ничего общего. Я грущу из-за нелепой планеты, на которой живу. Из-за всего, что я не способен понять.(...) Я устал. Но это странная усталость. Нет сомнений, что частично я обязан ею Ж. Для меня самое мучительное — это когда друзья обесцениваются в моих глазах. Разумеется, я не узнал о нем ничего такого, чего бы уже не знал. Но он мне надоел. Меня от него тоска берет. Я сказал себе: «Мне на это наплевать. Меня это не интересует». Не интересует, что он думает о жизни. Или о выпивке. Меня вообще не интересует выпивка. Нет, в жаркий вечер кувшинчик с друзьями — пожалуйста. Но не как постоянное занятие. И меня не интересует, во что превращаются вещи в его руках. Он слышал прекрасные истории, и они стали уродливыми (...) Вот так. Я вернулся с 10 000 метров. Еще один призрак рассеялся. На высоте 10 000 метров находится необитаемая и населенная неведомыми существами территория, откуда земля кажется вогнутой и черной и где движения становятся медлительными, как у человека, плавающего в сиропе. И где пониженное давление ( $\frac{1}{10}$  от нормального) может привести к тому, что жизнь улетучится из тебя; и где выдыхаешь лед, так как при  $51^{\circ}$  мороза пар от дыхания оседает тончайшими ледяными кристалликами на внутренней стороне маски; и где угрожают десятки всевозможных аварий, из которых отказ кислородного прибора прикончит

тебя мгновенно, а отказ системы обогрева превратит в лед... Да, все так! И все совсем по-другому. Все это только призраки.

Само собой, на приборной панели есть прибор, контролирующий подачу кислорода, и его священная стрелка куда важнее устройства, которое измеряло бы, скажем, пульс; однако здесь все по-другому, и стрелка превращается в абстракцию. Ее не видишь.

Просто время от времени чуть сдавливаешь пальцами идущую к маске резиновую трубку, чтобы убедиться, что она упруга, что молоко поступает в соску, и тихонечко посасываешь. В этом нет ничего возвышенного.

Что же касается отказа системы обогрева... На высоте я чувствовал себя вполне прилично. Мне было тепло. А главное, меня восхищало, что тепло распределяется по всему телу, что оно восхитительно обволакивает. Я-то боялся, что провода обожгут кожу. Ничего подобного. От соприкосновения с проводами никаких особенных ощущений у меня не возникало. И я подумал: «Вот если бы такое было у эскимосов!» Шедевр техники: теплая, равномерно нагретая ванна,—если не считать пальцев: они у меня мерзли. Но, в общем, было вполне терпимо. И я медленно плыл в небе, держа руку на пулеметной гашетке.

Потом, после посадки:

— Какая температура?

— Минус пятьдесят один.

— Ты, надо полагать, не вспотел?

— Нет, но страшного ничего. Ты говорил, что горячий кислород обжигает нос, а у меня нос был в порядке. Зато уж унты...

— Ну, распариться в них ты не рисковал: ты же забыл включить обогрев ног...

А я-то до этого крещения воображал себе, как буду тихо бороться с потерей сознания. Воображал противно взмокшую кожу, потный лоб и ладони и ласковое, сладостное ощущение, нечто вроде расслабленности всех чувств.

Нет, на 10 000 метров куда легче, чем на 6000 без кислорода. И сразу развеялось мое преклонение. Преклонение, которое у меня было в Тулузе перед майором Миши, единственным знакомым мне военным летчиком, который не боялся большой высоты. Таких героев с каждым днем становится все больше. Они совершают посадку и почти ничего не рассказывают о том, что испытали. Все герои такие. Суровые, немногословные. Когда начинаешь их расспрашивать, они пожимают плечами: «Дружок, тебе этого не понять!» Но теперь я раз и навсегда открыл причину их молчания. Им просто нечего рассказать. Нет тут никакой отваги. Отвага—в выборе. И тем не менее Миши отважен. Заранее ведь известно, что на десяти тысячах метров существует определенный процент несчастных случаев из-за аварий с кислородом, а это смерть. Поэтому необходимо

усилие, чтобы безоглядно выбрать эту профессию. А потом, разумеется, надо решиться уже всерьез вылететь на охоту за призраками. Чек на смелость приходится оплачивать. И это достойно награды. Только это. Но стоит убить призрак, и все превращается в профессию, ничем не отличающуюся от прочих. Летать на высоте 10 000 метров или чинить соломенные стулья... Потому что призрак уже мертв. Всякий раз я познавал это заново. Когда возил по ночам почту. Когда тонул в море. Когда подыхал от жажды. А Дора... Дора не учил людей храбрости, он заставлял их убивать призраки. Я уже писал об этом в «Ночном полете».

Еще позавчера я так радовался, когда узнал, что приказ о моем первом вылете отменен. Какой же я был болван!

Но тогда получается, что храбрость—это нечто, отличающееся благородством от буйства подвыпившего унтер-офицера: она становится условием познания самого себя. Разумеется, разумеется, драмы существуют только социальные. Драма—это когда болеет ребенок. Драмы бывают только у других. Свое, собственное, никогда, ни за что не бывает драматическим. Полет на десяти тысячах метров. Взрыв, и больше ничего нет. Но в другого-то не влезешь. Другой—это территория, у которой не существует границ. И если замерзает маленькая девочка, это куда страшней, чем когда при 50° мороза отказывается обогрев. Я знаю холод, знаю жажду, знаю незащищенность, но и холод, и жажду, и незащищенность—других.

И потом, не знаю почему, желание все брать на себя. Я брал на себя их 10 000 метров. В этом «моя война». И это вовсе не дурацкие манипуляции тореадора, намеком на которого меня однажды хотели уязвить. Группы 1/33 и 2/33 потеряли, если не ошибаюсь, 11 экипажей из 20, не то 25. Они единственные, кто работал и рисковал. Поэтому иногда мне становится грустно в своей комнатке. Слишком дорого все это обходится. Я не очень понимаю, за что стоит платить такую цену. Во всяком случае, не могу назвать. Но существует, вне всякого сомнения, и противоположная точка зрения, поскольку я верю в нее. Сегодня я оглох на одно ухо, но не из-за обычного шума в ушах (с этим-то как раз налаживается), а потому, что впервые спустился с такой высоты, и теперь до завтрашнего дня ухо у меня будет заложено.

И опять я думаю о непостижимом противоречии. Итак, тело как таковое. Тело, которое любит вечерний отдых у огня, наслаждается им. Которое сворачивается под одеялом, готовясь заснуть. Которое умеет улыбаться. И то же тело, но отличающееся от меня. Служащее всего лишь орудием. Тело, которое гонят на пахоту, словно вола. Которое заставляют примириться со свистом в ушах или согласиться на то, что его сожгут, поджарят. Как позавчера произошло это с его товарищами. Тело, которое всего лишь «послушное орудие». И в нем живут два чувства: уныние перед лицом возможной смерти, как нынче

вечером. И грустные размышления о садах, которые затворятся для него. Для этого достаточно молнии с «мессершмитта», от которой ты внезапно вспыхнешь, как дерево. Она сверкнет в чистом, безоблачном небе. А затем безмолвное вертикальное падение.

Те трое, один из которых спасся на парашюте, ничего не видели. Разве что как вдребезги разлетелись бортовые приборы. А потом огонь, точно в кишках заурчало. Незримая работа огня. Вступление огня в свои права. И он, этот третий, покинул свой дом. Я, разумеется, тоже не из числа «несгораемых». Возможно, мне придется убить последний призрак. Это наполняет меня грустью, от которой сжимается сердце. Мечтаешь о роскоши, о висячих садах: мне они всегда казались олицетворением роскоши. И еще о плоти. О запахе плоти, от которого мгновенно защежит сердце. Платье расстегнуто, и ударяет теплый аромат, от него кружится голова. Но в то же время и другое чувство, которое я вновь испытаю завтра. Когда буду действовать. Тело—это всего лишь средство, и большого значения оно не имеет. Для тела не существует трагедий. Я прекрасно это знаю: для тела не существует трагедий. Иногда я бываю голый и мерзну.

И все-таки мне нужно многое сказать о войне. Не потому, что я тут видел что-то из ряда вон выходящее. Но здесь у меня есть точка зрения, и как всякая точка зрения, она плодотворна. Внутренняя точка зрения. Мне пришлось встать на нее, хотя зрелище оттуда открывается унылое. Нет, не целиком, но отчасти.

Прежде всего, я радуюсь всему, что немножко мне досаждают,—неудобствам, холоду, сырости, потому что они позволяют сполна ощутить единственную возможную здесь роскошь: круглую печурку, где так славно гудит огонь, или мою постель на ферме (я живу на ферме), перину, ставшую для меня воплощением всех излишеств. Люблю вечером ложиться в заледенелую постель и, свернувшись калачиком, потихоньку согревая ее собственным теплом, отходить ко сну; люблю струйку холода, что скользнет внутрь, стоит лишь пошевелить ногой. Как хорошо в постели, когда снег растаял и когда, разумеется, меня не донимает бронхит!

Потом, конечно, полеты. За линию фронта я пока не летал. Но в воздух уже поднимался. А поскольку существует риск встретиться с немецкими истребителями, перед вылетами меня обучали обращению с пулеметами. Склонности к спорту у меня нет. Но тут, видимо, какая-то неувязка: мне нравится все, что заставляет меня вылезать из своей шкуры. Не люблю высоты. Десять тысяч метров—это нежилой мир, и меня все время преследует мысль, что авария кислородной маски придушит меня, как цыпленка.

Моя раздвоенность и потеря себя. Мне нельзя обращать внимание на этот утробный страх, которому я, как всякий, могу

поддаться. Наружная, видимая жизнь не представляет никакого интереса. Меня в ней нет. Я живу не здесь. Просыпаясь, я должен ощущать, что доволен собой. Да, товарищи—это трудная проблема. Прежде всего, проблема, кто чего стоит. Существует тьма способов оценивать других. И никогда по-настоящему неизвестно, с какого боку братья за эту проблему. Особенно если ты всю жизнь предпочитал любителей Баха любителям танго.

А потом, сражаешься бок о бок с людьми, которые, стоит случайно раздаться хорошей музыке, выключают репродуктор. И обнаруживаешь в них высочайшие, главнейшие достоинства. Оказывается, те, что воют лучше всех, воют по-настоящему, делают это по другим причинам, нежели я. Они дерутся не ради спасения цивилизации. И вообще мне следовало бы вернуться к содержанию понятия цивилизации, пересмотреть его.

На сердце у меня чудовищным бременем лежит устрашающая нелепость нынешней эпохи. Нелепость все та же: нынешняя эпоха не является эпохой мысли. Дело в том, что вот уже целое столетие все меняется чересчур быстро, а мысль слишком медленно переваривает эти изменения.

Вообразите себе физика, которому вперемешку подбросили сотни две известных феноменов и тысячу новых,—задача окажется ему не по зубам. Пришлось бы ждать века, пока не появится человек, который потихоньку все это переварит, создаст новый язык и упорядочит картину мира. Потому что в математической физике не было бы больше системы. Все это крайне горько. Сейчас существует не так уж много возможных позиций: либо согласиться стать рабом г-на Гитлера, либо решительно откатиться от покорности ему, заранее принимая весь риск подобного непокорства. И сделать это молча. Я не желаю выступать по радио\*: это неприлично, если у тебя нет некой библии, которую ты можешь предложить людям. Я принимаю весь риск своего отказа покориться. Только мне необходимо перейти грань, чтобы как следует почувствовать, от чего отказываешься, отказываясь от мира. От чего я в принципе должен отказаться. От личной свободы. От тепла женского тела. Возможно, от жизни. И я спрашиваю себя: ради чего? Это столь же горько, как религиозные сомнения. И, безусловно, столь же плодотворно. Это невыносимое противоречие, которое вынуждает искать истину. Я ведь действительно по шею сижу в противоречиях. И либо сдохну, либо ясно пойму себя самого. Но, уж разумеется, духовную умиротворенность принесет мне не «Пари-суар». И не г-н Рамон Фернандес \*. И не наше гнусное радио. Вчера я в полном остоленении слушал Пьера Дака \*. Будь я иностранцем, я, послушав, как Франция изрыгает все эти непристойности, счел бы, что необходимо немедленно очистить мир от подобной скверны. Что же касается «Пари-суар», вчера в ней была напечатана огромнейшая умопомрачительная статья о боге войны Гитлере. Чудовищней всего был рекламный трюк

насчет того, что Гитлер всегда умел мечтать. Это якобы доказывает его неоспоримое величие. И цензура пропускает этакое! Право, все они, словно мартышки перед удавом. Наша страна погибнет, если не будут ясно названы причины, по которым она должна воевать(...) Но, видимо, ее ничто не вразумит. Не удивительно, что она тащится в хвосте за англичанами: мы не способны выразить себя. Мы не способны обрести лицо. Англичане сражаются за свои обычаи, за свой цейлонский чай, за свой уик-энд. Мы ощущаем смутную солидарность с ними, но у нас нет столь всеобщих и столь отчетливых обычаев.

Итак, Англия стала совестью г-на Даладье\*. Англия — наша совесть. Мы вышли бы из войны, если бы Англия не пристыдила нас. На Англию злятся, как на чрезмерно щепетильную совесть. И вот тут-то отчетливо проявляется убожество Жироду и его дозированнойности\*. Интеллектуальные ухищрения в качестве ответа на идею расы и единства!\* Никчемная словесная игра! За дозированность, за рецепт коктейля на смерть не идут. Это безумно абстрактно, это интересно, соблазнительно для рассудка. Но сердцу ничего не говорит. Мне, чтобы согласиться гореть, этого явно недостаточно. (Я обнаружил, что давний перелом плеча не позволит мне воспользоваться парашютом.)

Что ж, тем лучше, потому что я иду на большой риск. И это тем более обязывает меня понять. Когда мне в лицо крикнут: «Хайль Гитлер!» — я не воскликну в ответ: «Да здравствует дозированность!»

И вновь мне ясна одна вещь. Может быть, на этой непостижимой вершине, где я восседаю в полном одиночестве, она слаще всего. Нежность к тем, кого я люблю, и еще большая — ко всем людям. И так бывает всегда. Когда оказываешься под угрозой, чувствуешь ответственность за всех. И хочется сказать: «Да низойдет мир в ваши сердца».

## МОРАЛЬ НЕОБХОДИМОСТИ\*

Мораль обстоятельств  
и мораль необходимости.  
Различие, которое их не  
разделяет.

Радио-Штутгарт\* объявило интервью с пленными летчиками. Имелись в виду два наших товарища из соседней авиагруппы, которых сбили недалеко за линией фронта. Мы послушали их, узнали голоса, но снова, в очередной раз, ощутили нечто иное. И с человеческой, и с технической стороны нам — в очередной раз — все было очевидно. Так почему же всякий раз не кричат про эту очевидность французским слушателям? Почему позволя-





— Книжек...

— Вы получаете все, что вам посылают?

— Да, получаю все посылки\*. Я очень рад.

Действительно, у него, вскрывающего посылку с таким чувством, с каким живущий вдали от родителей ребенок открывает новогодний подарок, есть все основания радоваться.

А потом, после долгого одиночества, когда ему становится лучше, в палату к нему кладут товарища. На соседнюю койку. И в этот же день впервые спрашивают:

— Что бы вы хотели на завтрак?

И начинается выздоровление. В этот день они получают по чашке ароматного кофе с молоком. Человек так уж создан, что даже в бездне наигорших несчастий радуется мелочам. Как он счастлив, видя букетик цветов! Их только что принесла сиделка.

— Я подумала, вам это будет приятно...

И вот в тайниках души забил родничок оптимизма. Жизнь в это утро кажется прекрасной. Он обрел товарища и с каким-то неожиданным ликованием рассказывает ему про свой последний бой. Он загорелся, падал, но вот жив, лежит на белых простынях. Это прекрасно. Про бой он рассказывает без ненависти, потому что в глубине души испытывает к противнику уважение.

А потом последний акт.

— Не согласились бы вы сделать заявление по радио?

— Нет.

— Вам были бы здесь за это весьма признательны.

— А мне начхать. Категорически отказываюсь.

— Хорошо, хорошо. У нас уважают храбрых солдат. Вы повели себя по-солдатски. Мы ничего не станем от вас требовать. И в доказательство нашего уважения мы готовы вам разрешить, раз микрофон все равно уже здесь, сообщить родным, что вы живы. Просто «жив-здоров», и ни единого слова, которым могла бы воспользоваться наша пропаганда. Мы восхищены вашим чувством долга.

Пленный растроган. Подумав немного, он произносит в микрофон:

— Я счастлив сообщить своей семье, что я жив и уже почти вылезлся.

Вот и все. Материнская ласковость—притворная или искренняя—седовласой сиделки, чашка с кофе на столике, над которой поднимается пар, воспоминания о товарищах, рвущиеся из сердца. Пленный не знает, что с ними стало, да и что с ними может стать? Дело не в них. Сами по себе они не имеют значения.

Теперь слово за техникой. Вам известно, как работает монтажёр. Он склеивает куски ленты, меняя их местами. Следующий этап—пластинка, улучшающая качество смонтированной записи. У монтажера на пленке прекрасный исходный

материал — запись допроса при поступлении в госпиталь, когда устанавливалась фамилия пленного. Кроме того, откровенные беседы с сиделкой, когда ему было плохо и сердце его таяло от ее заботливости. И радость от возможности рассказать о товарищах. И воспоминания про тот страшный миг, когда на него, словно молния, обрушилась эскадрилья «мессершмиттов». Загоревшийся самолет и — чудо парашюта...

Укрыть микрофон когда и где хочешь не составляет труда. И вообще, раздобыть несколько килограммов документальных свидетельств очень легко, если вам необходимы эти килограммы. А дальше над ними надо поработать. Вырезать голос того, кто на первом допросе задавал обычные в подобных случаях вопросы, переставить — в окончательно смонтированном варианте — реплики из разговоров с сиделкой, с товарищем. Короче, над звукозаписывающей пленкой надо поработать ножницами.

— Вы довольны, что находитесь в Германии?

— Да, конечно, ко мне очень внимательны, за мной очень хорошо ухаживают, и я очень доволен.

— И наверное, здесь делают все, чтобы скрасить ваше нынешнее положение?

— Да, я получаю все посылки... Я очень рад.

— А что вы можете сказать о ваших «жестоких» палачах?

— Они очень добры ко мне. Большое им спасибо.

Возможно, ему однажды задали вопрос: «Как к вам относятся наши врачи?» или что-нибудь в том же роде, но столь же обезоруживающе простое. Что же касается «большое им спасибо», то, вполне вероятно, произнесено это было недели через две в ответ, к примеру, на такое: «Ваших сиделок переводят. Не хотите ли вы что-нибудь сказать им?» — «Большое им спасибо».

— Не согласились бы вы рассказать нашим и вашим слушателям про героический бой, в котором вы были сбиты?

— С удовольствием. (Да у кого не бывает сотни поводов произнести «с удовольствием»?)

И следует возбужденный, естественный и, разумеется, крайне непосредственный рассказ.

И как венец монтажа — преамбула: «Несчастные раненые дали нам знать, что были бы безмерно счастливы поговорить по радио со своими близкими, и Радио-Штутгарт, желая скрасить им пребывание в плену, согласилось доставить в госпиталь аппаратуру для записи их выступления».

Разумеется, все это фальшивка, военная хитрость для введения в заблуждение. Не берусь сказать, что гнусней с точки зрения морали: вырвав отдельные фразы из речи военнопленного, состряпать монтаж или эскадрильями бомбардировщиков сровнять с землей польский город. Не берусь определить, что достойно, а что недостойно. Стоит отойти от некоего кодекса, как мораль теряет свою абсолютность. Но я усматриваю тут две допущенные ошибки: первая заключается в том, что мы очень

четко, с потрясающей очевидностью поняли, за что мы, я и мои товарищи, деремся, когда слышали, как немецкая пропаганда использует на такой игривый манер тех, в ком мы уверены больше, чем в самих себе.

Мы деремся за уважение к человеку. Безразлично, друг он или враг. Человека либо уважают, либо не уважают. И дело тут вовсе не в милосердии, а в чем-то неизмеримо более высоком. Расстрелы заложников? Военная необходимость. Можно быть в большей или меньшей степени жестоким. Можно избегать ненужного кровопролития, пощадить безобидные развалины, хотя вопрос тут ставится совсем на другом уровне. В опасности человек всегда становится в какой-то мере жестоким, грубым, невоспитанным. И в этом смысле люди не отличаются друг от друга сколько-нибудь существенно. Конечно, к врагам они безжалостней, чем к своим. Но при всем при том расстрел заложника может сочетаться с высочайшим уважением к человеку. Существуют палачи, которые обнажают голову перед своей жертвой. Одно дело — расстрелять бесстрашного лазутчика. Другое — презирать его. И я дорожу уважением, возвышающимся над жизнью. Равно как и воинскими почестями, которые положено отдавать пленным.

Здесь же речь идет совершенно о другом. Нацисты презирают человека, всех людей, своих и врагов, коль скоро так бессовестно используют сокровенные движения их души, коль скоро ловят проявления сострадания, благодарности, любви, усталости, чтобы дать им такое омерзительно механическое применение. Я вспоминаю такое же [нрзб.] у детей. Вспоминаю своего соученика по коллежу, робкого, несуразного двенадцатилетнего мальчишку, который обменивался наивными письмами с сестрами, письмами, полными мелких домашних сплетен, мелких нелепиц бедной семьи, надежд и простодушных порывов гордости. Но сам он был не[способен?] на гордость. Пачку этих писем выкрал один хулиган. И вот он влез на учительскую кафедру, а несколько других хулиганов держали багрового от стыда мальчика, вынуждая его слушать, как под оглушительные взрывы хохота публично оглашают его тайны.

В душе у него было одно только желание. Убить. С нарушением неприкосновенности некоего внутреннего царства либо смиряются, либо нет. Существуют границы, переступать которые противоестественно... Но там, где на свет открыто выволакивают расовые различия, там перейдена внутренняя граница. И тогда ощущаешь на губах вкус убийства. И мы, одиннадцатилетние мальчишки, из которых каждый был сам по себе, в тот раз поняли, что значит чувство стыда. Допустимо все, только не это. Мы смолчали бы, если бы его поколотили, пусть даже несправедливо. Но теперь мы воспринимали его позор самой возвышенной частью своего существа — не той, где таится сострадание, но той, где живет честь, где в человеке живет человек. Человек, который получен нами как таинствен-

ное наследие семейного [нрзб.], веры, чего-то, чему я даже не могу найти определения, неуловимого и неоценимого. И мы схватились за оружие. Оружием нашим были линейки, чернила, ницы и кулаки. Мы отомстили за подвергнувшегося пытке товарища, который после подобного унижения того гляди утопился бы со стыда. Всего залитого чернилами (результат взрывов наших метательных снарядов), мы торжественно вынесли его на руках.

— Да не плачь ты, дурак! Эти твои письма были такие [нрзб.], что никто ничего не понял.

И он, вновь обретя достоинство, засмеялся...

И это главное. Нами двигала не жалость. Пусть она праведна, благородна, необходима, но существует нечто прекрасней, чем она, и это нечто кроется в глубине наших чувств. Мы защищали этого мальчика и в то же время нечто большее — человека, которого чтит в нем.

Наши цели в войне! Они у нас есть, и они все те же. Естественно, поля, леса, деревенские сумерки и полные амбары — все, что связывается с будущим и основывается на будущем. Существует красота в стремлении к победе, но она существует и в устойчивости, неизменности родового наследия, в неторопливой привычности, которая называется верой и постепенно, понемногу все окрашивает в свой цвет. Этот цвет проявляется не сразу, но благодаря ему после стольких веков существования Франции мы, чьи корни уходят в такую глубину, обрели волшебный мир. Чтобы обрести душу, нужно спокойствие, и Нагорная проповедь проходит через века. А динамичность немцев — всего лишь замутненность сознания: в них не теплится внутренний огонь. Но в конце концов и в сущности, дело вовсе не в том, чтобы браться за оружие ради обороны границ, существующих для спокойствия сынов человеческих. Нет, надо защищать ту несуществующую, незримую границу, над которой впервые нависла опасность.

Нам прекрасно известно, что тоталитарное государство — это масса, подавляющая индивидуальность, нация, подавляющая человека. Вот уж поистине великое открытие, которым так кичится г-н Гитлер, доказывая свою гениальность! Суть его в том, что множество людей сильнее, чем один человек, и, следовательно, если единица не подчиняется множеству, это противоестественно. Что немецкая масса сильнее, чем чешский народ. А то, что чешский народ, будучи слабее, существует и имеет какое-то свое мнение, это уже нестерпимый вызов, равно как и существование художника, который не желает писать в соответствии с идеалом массы.

Отношение к Польше? Да то же самое, что и к человеку внутри Германии: неуважение. Презрение к интеллектуалам. Разумеется, они наделали ошибок, вообразив, что мир можно выразить дифференциальными уравнениями, а не созидательной деятельностью. Но нацисты исполнены не столько презрения к интеллектуалам, к этой республике профессоров, сколько през-

рения к внутреннему содержанию. К личным ценностям, прообразу частной собственности (sic). Частной собственности Человека. В основе всякой цивилизации лежит поразительный парадокс: человек уравнивает могущество толпы. И тот, кто в одиночку идет в толпе незнакомых людей, может сохранить свою одежду, несмотря на то что он бессилен отстоять ее. Именно в этом и состоит мощь духовного царства, которое одерживает верх над физическим эгоизмом. Когда же отказываются от этой точки зрения, то взамен обретают логику, возможно и глубокую, но уж никак не возвышенную. И обнаруживают слабость противника. Да что там слабость! Тот, кто выходит на улицу без оружия, нелеп, отжил, его необходимо срочно сожрать во имя логики.

Я внимательнейшим образом прочитал необыкновенную книгу Раушнинга\*. Я говорю «необыкновенную», потому что, будь я г-ном Гамеленом\*, я купил бы ее, чтобы издать во Франции. Желая того или нет, но Раушнинг весьма язвительно насмехается над гитлеровской идеологией. И, читая его, я заметил следующее: когда Гитлер произносит «отжившее», говорит о чем-то отжившем, заявляя, что это отжившее не сможет сопротивляться наступающим войскам, с ним поначалу соглашались, так как он указывает на очевидные вещи. Но чтобы все встало на свои места, достаточно всякий раз заменить «отжившее» на «хрупкое и утонченное».

Разумеется, правила игры, позволяющие слабой Голландии сосуществовать с многочисленными соседними нациями, были бы всего лишь отжившим парадоксом, с которым все свыклись, не замечая его хрупкости («в Европе слишком много столиц»), если бы некое всемирное согласие не предусматривало ее существования. Если бы существование Голландии или Швеции не соответствовало желанию всего мира. Если бы все множество наций не служило в каком-то смысле каждой отдельной нации, как множество индивидуумов служит у нас отдельному индивидууму. В самом деле, парадоксально, что тот, кто думает не так, как все, еще не уничтожен: ведь все куда сильнее каждого в отдельности.

Но цивилизация — это и есть рождение того самого внутреннего царства. И чтобы все соглашались защищать каждого в отдельности, надо, чтобы в каждом было нечто от всех. И это нечто есть Человек. Все это трудно выразить словами, но нетрудно почувствовать. И когда мы, двенадцатилетние, кинулись в драку за нашего ровесника, мы защищали в себе Человека.

И мы, не одержимые идеей силы и экспансии, чувствуем себя не ущемленными, а, напротив, обогащенными оттого, что существует Голландия или Швейцария. Их слабость не является для нас противоестественным парадоксом. Мы не видим причин для обращения их в рабов во имя более грузного людского месива. Мы любим всех, кто дарит нам свет, будь то голланд-

ский живописец или скандинавский музыкант.

Мы защищаем то, что дарит нам свет. Швейцария или Перу не возмущают нас: они помогают нам быть, помогают определить самих себя. Они везут к нам свои духи и тюльпаны или свою дикарскую музыку.

И это в точности то же самое. Та же точка зрения, определяющая как отношения между нациями, так и отношения между отдельными людьми. Наши цели в войне? Защитить саму нашу сущность. И в большей мере нашу сущность, чем наши законы, камни и басни Лафонтена, которые периодически всплывают в нашей милейшей патриотической пропаганде. Что мы защищаем? Басни Лафонтена! Заявив такое заводскому рабочему, вы его изрядно воодушевите! Нет, мы деремся за то, чтобы никто не имел права публично читать наши письма, за то, чтобы не быть задавленными массой. Чтобы писать, что нам угодно, если мы поэты. Мы деремся, чтобы победить в войне, которая идет как раз на границах внутреннего царства.

Родина! Немного высокопарное слово. Хватит уже с нас риторики насчет медлительных струй Луары, трудолюбивых французских крестьян и чуда Лафонтена. Да, мы деремся и за струи Луары, и за Лафонтена. Так постарайтесь хотя бы наполнить слова смыслом. Вечно вы используете древние пустые урны. Вы требуете от нас, чтобы мы шли на смерть. Мы согласны. Но пусть нам покажут то, что куда важнее нашей жизни. Я готов упасть, как зрелая слива, когда небо содрогается, словно дерево, от зенитных разрывов, когда мечет молнии истребитель. Но не за Лафонтена (между строк: Лафонтен всегда нагонял на меня тоску), не за медлительные струи Луары, не за предвыборные махинации, не за священное право нормандских виноградарей подмешивать водку в молоко для грудных детей, чтобы те, опьянев, не плакали. Я безмерно восхищаюсь Жироду и его вариациями по части «дозированности». Франция—это поразительная смесь. И эту смесь привычно противопоставляют воплям бесноватого о расе. И теперь, когда я буду падать в штопоре, мне в качестве утешения остается кричать «Да здравствует дозированность!», как мой противник кричит «Хайль Гитлер!». Мне нужны—да, мне тоже—понятные боги. Я не способен насытиться хитросплетением слов. Человек готов идти на смерть, когда обретает свое выражение в чем-то ином. Всякий, кто завещает свое достояние потомкам, принимает мысль о смерти. И всякий, кто растворяется в своем [творении?]. Но мне необходим шпиль собора.

Я желаю сражаться за жизнь. Сражаются за правду. Все и всегда сражаются за правду, и в этом нет никакой двусмысленности. Легко заявить, что сражаешься за свои убеждения. Сражаются, и это действительно так, за свой родной язык. За идеи. Это значит, что они крепки как сталь. Сражаются против невежества за очевидную истину, которая упрощает мир. Но

вполне возможно драться и за противоположную правду, тем более что две антагонистические правды смогут в конце концов упростить мир и разрешить противоречия. Итак, Франция являет собой систему. Очень легко сказать: язык, обычаи, медлительные струи Луары. Франция — это определенный образ мышления. Во всяком случае, она должна быть им либо вновь им стать. Франция — отнюдь не «дозированность», иначе мне плевать на коктейль из кровей или диалектов, о котором мне прожужжали все уши. Этим, возможно, объясняется форма единства, которая стала Францией, но не определяет Францию. Что же такое та связь, которая создала Францию, и та французская правда, которая стала столь драгоценна и для нас самих, и для всего мира? Вот что необходимо мне, чтобы воодушевиться и пойти на смерть. Вот что необходимо, чтобы была спасена моя подлинная личность. Вот нравственный кодекс, который придает мне смысл. А вам угодно по-другому объяснить мне возможность добровольного самопожертвования? Что спасает жизнь, как не смысл? И не потому ли бесчестье (там, где бесчестье еще считается позором) толкает человека на самоубийство, что жизнь его в данном обществе утратила смысл?

Я иду на смерть, чтобы спасти мой нравственный кодекс. Но что он такое? Наше национальное чувство поразительно страдает из-за несостоявшегося синтеза. Правая и левая. Человек Декарта. Человек Паскаля. Мы начали направлять свои доводы и аргументы, абсолютно верные для нас, против противника. Мы не можем поступать иначе, потому что не обладаем ключом к языку, который дал бы нам спасение. Который вновь сделает нас едиными. Который вернет нам наш кодекс...

И тут нам предстоит многое примирить! Примирить все, что теперь так противоречиво и препятствует французской нации вновь осознать и обрести себя...

Неумелость. Нам трудно выразить себя. Но ведь она действительно существует, та реальность, которую просто необходимо сделать очевидной. И мы чувствуем, что эта реальность универсальна. Что она является общей мерой для половины человечества и противостоит другой реальности, которая делит мир на избранных, принадлежащих к германской расе, и на проклятых, объясняющихся на прочих варварских языках. Варварские расы. Проклятые, которым несть спасения. Ничтожные вассалы Германии, рабы. Верховенство же Германии будет зиждиться на праве эксплуатации этих колонов. А им останется тщетно жаловаться, взывая к правде и справедливости. Справедливость и правда — это то, что есть. То, что существует уже достаточно долго, чтобы в глубине сформировался определенный образ. Не бывает заблуждений без корней и справедливости без длительности. После полувека германского господства рабство окажется узаконенным, как и во времена римских императоров.

Но что же это за реальность, что за изящная правда, которая способна объединить чернорабочего из Бийанкура\* и преподавателя философии? Сколько раз определенный предвзятый тон разжигал распри и углублял пропасть!

И тут передо мной опять возникает образ. О, разумеется, я слышу вас, слышу ваши такие разные голоса. Образ старца-кайда\*, образ лекаря, образ всех тех, кто выслушивает излияния людей, чтобы сочувствовать им, но сочувствовать по ту сторону их самих. В свете нынешней опасности все наши разногласия похожи на детские ссоры.

[Нрзб.] чего вы ждете, чтобы понять собственные ошибки? Под угрозой гораздо большее, чем вам представляется. Море, которое мы покорили и считали нашим союзником, в действительности творение человека. Мы обманулись недвижимостью моря. Мы любили свободу и один за другим разломали шпангоуты корабля. И за это были наказаны: в трюмы хлынула вода. Поймите, нам вновь надо перемениться. Вновь обратиться в страсть то, что стало привычкой, пожертвовать тем, чем так удобно обладать. Отжившее — это вовсе не [нрзб. несколько слов] натиск моря, но негодный корпус нашего корабля.

Поймите, мы обмануты нашими поверенными. Всеми этими ничтожными паразитическими наростами из пьес Куртелина. Всеми этими буржуазными наростами, укрытыми от ветра, солнца и звезд. Они были пассажирами, не участвовавшими в управлении кораблем. Им даже не известно, что существует корабль. Они ведут не ведают про существование чуда. Они играют в бридж и думают, что на бридже кончается всемирное тяготение. Они даже не изумляются базилике, которая несет их в себе. Чтобы восхититься кораблем, надо быть берегом океана.

Итак, вы в Америке не видите надвигающейся катастрофы. Вы не испытываете восторга перед кораблем, построенным людьми. Вы полагаете, что тут просто прискорбный случай, вроде землетрясения или пожара, что девственная земля просто немножко встряхнется, после чего на ней можно будет строить. Не видите, что ставкой в игре является человек, вы сами? Не понимаете, что один из шпангоутов корабля — вы? История Европы? Нет! История человека.

Вы не желаете воевать за парадокс — наше существование. Но парадоксом являются и сила, и закон, и общность. И *fair play*<sup>1</sup>. Разве не парадоксально, что имеющий возможность сжульничать в игре не жульничает, а испытывающий ненависть не убивает? Парадокс — это и верность, и дружба, и молчание под пыткой, и чувство чести. Первый парадокс для человека — бог. А вы не желаете сражаться за бога. Есть и множество других парадоксов, как, например, сообщество свободных земледельцев по соседству с империей кузнецов\*.

<sup>1</sup> Честная игра (англ.).



Корабль без кормчего. Во всяком случае, без кормчего, который видит опасности в море. Все наши творения хрупки, природа сгложет ваши города, сквозь стены ваших домов прорастут деревья, если вы замешкаетесь вырвать их. Знаете ли вы, что вопит этот бесноватый? А вот что: «Совесть — отжившее понятие, ибо природа сильнее ее». Действительно, природа сильнее, и ученый, брошенный в лесу, станет добычей тлания. И заблудившийся зимней ночью Бах замерзнет, окостенеет. Бертло\* будет обезглавлен хамом. Польский физик или австрийский музыкант не уцелеют при взрыве авиабомбы.

И все-таки совесть сильнее, чем природа. Совесть стремится властвовать над стихиями. Природа борется с милосердием, с энтропией, с пространством. А совесть правит.

Но коль вы хотите править миром, его надо постичь. Если же вы забыли «ради чего», вы обречены. А мы в последнее время несколько позабыли «ради чего». Мы обучили, но не воспитали людей. Ведь, казалось бы, это так естественно — быть человеком!

А те лгут им во имя расы. Во имя нации. Но не во имя немецких ценностей. Вы где-нибудь слышали, чтобы они славословили Гёте или Баха, Бетховена или Эйнштейна? Где-нибудь слышали, чтобы они чтили знание до такой степени, что готовы сложить за него головы? Как они оправдываются? Они, простые и сильные, как дерево в лесу с могучим сплетением корней. Лес — это ведь покорение города. И мы с нашими оступившими любителями вкусно поесть вполне заслужили этот взрыв национализма. Заслужили ресторанными анекдотами о рога носцах и вечной карточной игрой, которые заменили нам жизнь. Но где вы видели, чтобы в городе, возведенном Паскалем, жили Паскали? Нет, в нем обитают не Паскали. В нем обитают Вотели\*. Мы выстроили собор, а потом он был отдан не великому архитектору, но церковным служкам и старушкам, сдающим напрокат стулья. Собор был построен, чтобы в нем давали напрокат стулья. Вселенная Паскаля была создана, чтобы в ней играли в бридж и обсуждали жульнические сделки. Но я наотрез отказываюсь смешивать сдачу стульев напрокат со смыслом собора, людскую свободу с тупостью бриджа, свободную экономику с махинациями. Нужно вновь придумать бога, который был бы равновелик собору.

Вспоминаю дискуссии о Куртелине. Одни считали его грубым, другие сильным. Разумеется, я не упрекаю его за темы, которые он выбирал. Все тот же миф о кайде, что в безмолвии опустившейся ночи неспешным шагом обходит стоянку своего племени. Пахнет кожей, потом, прогорклым овечьим сыром. Ночные птицы, планеты и звезды, тихие беседы за чаем и прекрасные, как звезды, слезы одинокого ребенка. Кайд останавливается возле него, одним пальцем, чуть касаясь, гладит его лоб, потом поднимает его голову и сосредоточенно, с безмолвным состраданием смотрит в полные слез глаза. Он слушает

ребенка. Мальчика наказали за то, что он не выучил стих из Корана. Или за то, что украл цыпленка. Его глаза, обращенные к канду, огромны, как Млечный Путь. Канд склонился то ли над побледневшим ребенком, то ли над вечностью. Неведомо над чем. Над кротостью. Он слушает ребенка. Вернее, звук его голоса. О господи, ничто не бывает ничтожно. Достаточно забыть о смысле слов, и ничто никогда не покажется ничтожным. Канд возвращает ребенка в извечные его границы одной лишь манерой смотреть.

Вот так же врач способен увидеть человека сквозь болезни пациентов, а Куртелин — сквозь косноязычие завсегдатаев кафе. Увидеть в человеке человека. Но чего-то ему не хватает; может быть, того, что называется снисходительностью. Благодатью. Той наивности, что приходит сама, когда перестаешь придавать словам смысл. Не хватает умения стать соединительной чертой между косноязычием человека и смыслом человека. Просто умения показать ту огромность, что кроется за человеческим убожеством. То, что человек слышит в человеке.

Человек [отвергает?] в человеке тайну — может быть, милосердие христианства. И речь тут вовсе не о почитании под видом заурядной благотворительности качеств, лишенных всякого величия. Император Византии, взяв двадцать тысяч пленных, повелел всем им выколоть глаза\*. А сейчас я, взглянув в лицо врага, распознаю в нем лик своего бога — и у меня опускаются руки. Что же я в нем щажу, если не то, что кроется за видимостью обезволенного, связанного человека?

Но постепенно мы спутали это трансцендентальное равенство с равенством вообще. Мы забыли, что философия старушки, сдающей напрокат стулья, не способна спасти собор. Мы перестали воодушевлять человека, перестали вытаскивать его из его оболочки. И он стал, как выражаются американцы, *inarticulate*<sup>1</sup>. Попытаюсь объяснить, что я хочу сказать. Произошел великий исход безработных на Запад, в Калифорнию\*. Они оказались ненужными. И вот они стали там лагерем. Работы у них не было. Но они лишились не только работы, они оторвались от своих традиций, привычек, окружения и образовали некую, не поддающуюся определению массу. И эта толпа начала просто-напросто разлагаться. Нет, не в физиологическом смысле, поскольку их кормили и кое-как одевали, а в смысле человеческого существования. Даже если ты не ставишь на карту свое состояние, все равно в мечтах карты олицетворяют для тебя замки, бриллианты, золотые слитки, которые ты бросаешь на зеленое сукно. Ну, а если в данный момент карты ничего не могут олицетворять? Тогда игра превращается в язык, лишившийся, как бумажные деньги, обеспечения. В этом случае играть уже невозможно. И вот этой толпе нечего больше сказать себе. Также и нам, чуть только мы согласились опреде-

---

<sup>1</sup> Неспособным выразить себя, сформулировать мысли (англ.).

лять человека по застывшей на его лице маске, стало нечего сказать себе.

[На полях: Спасение человека?]

Как-то в старом шкафу я нашел письма моему прадеду. Старик садовник, старик повар писали ему о своих горестях. Господи, какой это был прекрасный язык! Какое великолепное выражение чувств! И поверьте, дело было не в стиле: стиль не тронул бы меня, если бы не соответствовал движениям души. Если бы я не был убежден, что человек, в общем-то, способен чувствовать лишь то, что способен выразить. Можете спорить о частностях. Конечно, овернский крестьянин не может чувствовать любовь, как придворный аббат XVIII века. Однако если оставить парадоксы в покое, то это совершенно иные чувствования. Я не говорю, что они хуже. Просто они совершенно разные. Не научись я любить И. С. Баха, другая музыка не вызывала бы у меня таких же эмоций. Я не испытаю от серенады Тозелли\* и «Манон»\* того, что, будучи музыкально более подготовлен, испытал бы от сочинений Баха. Язык обладает универсальным звучанием. И я не могу вдолбить провинциальному политику, в чем состоит блаженство монастырской жизни. Я не сумею ему это объяснить. Чтобы втолковать ему это, следовало бы воззвать к подобному, уже испытанному им чувству, короче говоря, придумать какую-то параллель. Но таких параллелей не существует. У меня просто нет никаких убедительных аргументов, как бы я ни хотел заставить его понять. Мне придется не разъяснять и даже не переубеждать, а обратиться к нему. Да, именно обратиться. То есть постепенно подарить ему язык, пользуясь которым человек становится богаче. А обращенный даст убит себя за свою веру, и логикой его не возьмешь. Логика не способна возобладать над тем, что не подлежит сомнению. Над чувством заново родившегося.

Кстати, потому-то я и был несколько обеспокоен недоразумениями, возникшими из-за «Земли людей». Бразийак, например, ставил мне в вину бесцельность самопожертвования моих героев\*. Для Сент-Экзюпери, пишет он, само дело не важно. Важно, чтобы человек был одушевлен делом. Но он забывает, что именно [зачеркнуто: религия] дело порождает мучеников. А кроме того, я не знаю, что такое дело. Я знаю, что такое язык. Дело, о котором говорит Бразийак,—это вовсе не перевозка почты, но некий язык, поднимающийся над почтой, посредством которого я устанавливаю между людьми—а также между людьми и их поступками—определенную систему связей. И я, право, не вижу, что тут смущает Бразийака. В христианстве, например, существуют обязанности, именуемые мирскими. Да, старая крестьянка, подметая комнату и задавая курам корм, посвящает скромные свои труды богу. Христианство, как мне представляется, стремится претворить действие в молитву. Христианство обогащает душу, действие же в свою очередь

обогащает старую крестьянку. Меня подмывало сказать, что каторжник и геолог-разведчик, вонзая лопату в землю, делают одно и то же. Но в первом случае это действие отупляет человека. Во втором — воодушевляет. И в языке обоих этих людей оно имеет совершенно разный смысл. Таким образом, дело не есть дело, но язык. Но образ мышления. Система взаимосвязей. Структура. Здесь-то и кроется чудо.

Бразийак ставит мне в упрек погоню за героическими доблестями. Я себя так и ощущаю. Но так я ощущал себя и когда писал эту книгу. А если мне приписывают чувства, диаметрально противоположные моим, то это просто означает, что я их плохо выразил. Да, конечно, мученика создает дело. Поступок стоит чего-то лишь потому, что он совершен во имя великой веры. Только при этом единственном условии он обогащает. Но какую религию можно назвать благородной, кроме той, что возвышает человека? Нацизм я не могу назвать благородной религией. Я вижу, что нацизм способен достичь могущества Аттилы, возможно, исключительности Аттилы, но не вижу, как он может подняться до Паскаля. Аттила или Паскаль? Я выбрал. Выбрал — между девственным лесом и базилкой. Выбрал — между спокойствием испанского дерева с разросшимися корнями и совестью. Как и Бразийак, я выбрал свою религию. Ту, что творит из меня человека, ту, что мне больше по душе, и отныне мой долг — идти на смерть за этот необратимый выбор. Если я пошел в монастырь, а потом вернулся в комитет радикальной партии, то это значит одно: я выбрал. Обратился. *[Между строк: но не в радикализм.]* Однако решение я принял не во имя логики. А во имя человека, который родился во мне. И тогда поступок, если он животворящ, оказывается знамением, подтверждающим истинность веры. Беспричинных поступков не существует, потому что не существует поступка ради поступка. Каторжник и геолог совершают одни и те же действия. Я не способен думать о своем действии вне цивилизации, направляющей меня. Будучи византийским императором, я могу ослеплять пленников. Но сейчас я не представляю себя выкалывающим глаза. Ибо я склоняюсь над иными глазами и над иным лицом. Так же и лопата, орудие покорения земли, не является одной и той же лопатой...

Нет даже признака [мысли?]. Человечество дрыхнет, словно домашний скот на своей подстилке. Ради чего воевать этим людям? Ради хлеба? Он у них есть. Ради свободы? Они беспредельно свободны. Они утонули в этой свободе, которая делает бессердечными кучку миллиардеров. Защищаться от врагов? У них нет врагов. Они живут без врагов, без ненависти, без единения. Распад, бедствия человека. Что надо, чтобы они воскресли? Вы сами прекрасно знаете. Воздвигнуть город в диком лесу. Построить мост. Подняться на войну. Создать внутри своей студенистой массы упругую нервную ткань. Создать вождей. Или хотя бы попросту вновь обрести ощущение

праздника. Сегодня начали сеять. Сегодня первый день сбора винограда. Сегодня день первого снопа. Сегодня праздник молодого вина. Или день поминовения, утверждающий непрерывность поколений. День памяти того, кто обосновал наши свободы... того, кто [вдохнул?] в нас свою мораль... того, кто... Но о какой непрерывности можно толковать с этим быдлом? Что тут может быть, кроме чавканья при кормежке? Разумеется, это очень далеко от нас, но в то же время так близко.

Мы, снулые как никогда прежде, имеющие кров и пищу, поставлены на откорм. А в нашем соборе около колонн шепчутся о мелких махинациях. Ведь животворят-то собор те, кто дает напрокат стулья. И их медяки. Вы можете сколько угодно бахвалиться своей древней культурой. Но что вы сделали для ее спасения?

Вы потешаетесь над тем, кто взошел на башню и увидел открытое море: «Экий безумец! Он пытается бежать от конкретности, от реальности». Конкретность и реальность—это все та же история старушек, сдающих напрокат стулья. Мы находимся внутри собора, и плевать нам на окружающую нас ночь.

Ну, а стены собора—чего ради о них думать? Они—обрамление. В таком же смысле, как пространство и время. И тоже вечны. Отделить добрых от злых с помощью полевых сторожей и судей—это имеет смысл. Но спорить о добре и зле—экие бредни!

Вот потому-то вы и заслужили услышать, как ревет сегодня вокруг вас море.

Подумайте! Восемьдесят миллионов человек следуют за ним\* и производят для него оружие. И читают его газеты. И ради этого идола отвергают своего бога. То, что составляет достоинство мира, может быть спасено лишь при одном условии: помнить про это. А достоинство мира составляют милосердие [зачеркнуто: уважение], любовь к знанию и уважение к внутреннему человеку. Я верю, что кое-где на земле все это еще находит отзвук. «Не делай ближнему\*... ибо ближний—это ты сам». И вы тоже настолько проникнуты этим, что чувствуете, как вас охватывает отвращение при виде совершающегося на улице преступления. При виде этих пустых глаз. И как вы заблуждаетесь, если усматриваете в таком отвращении нечто иное, нежели духовное наследие. Ведь если немецкая домохозяйка, увидев, как еврейских младенцев выбрасывают из колыбелек за окно, почувствует, что у нее сжалось сердце, и невольно вскрикнет—а этот крик может стоять ей концлагеря,—то причиной тому являются остатки христианского чувства, которым она руководствуется, но которое не передается ее детям. Потому что вы сильно ошибаетесь, считая любовь к

знанию извечно присущей человеку: она — чудесное наследие. И основывается на свободе. Только не надо путать любовь к знанию с техническим складом ума. В храм водворятся варварские боги. Они используют все его возможности. И может быть, лучше, чем мы. С бóльшим порядком. Цезарь, без сомнения, копал каналы и прокладывал дороги. Но возможно ли будет в корсете их корана противоречие, которое одно только и оправдывает прогресс? Ведь Гитлер же сам заявил: «Чересчур много образованных... благотельность неграмотности... знания для немногих...» Смысл всего этого совершенно ясен... Таинства герметической религии и великие жрецы от науки, которые по восходящей творят коран своих истин-откровений. Кто решится и восстанет против догмы? А что уж там говорить об уважении к внутреннему человеку! И вы полагаете, что это естественно?

1940

## ПИСЬМО ЛЕОНУ ВЕРТУ

*[Орконт, конец января 1940 г.]*

Дорогой Леон Верт,

Статья Поллеса\* вызвала у меня отвращение и горечь. Мне бы очень хотелось, чтобы вы удостоверили, что я вовсе не такая сволочь, каким представлен в его опусе!

Прилагаю записку для Корню\*. Передайте, пожалуйста, если только не считаете ее чересчур глупой.

Мы перебазировемся! Здесь нас задерживает только снегопад, из-за него мы не можем улететь. Так что когда вы снова навестите меня, то уже не увидите ни нашей столовой, ни моей великолепной архиепископской кельи. Другая фермерша будет топить мне печку, и во дворе я буду встречать других уток. Это грустно: здешние стали приручаться, и потом я так привык к своей печурке, перине, полу в красную клетку... Короче, вся эскадрилья сидит в ожидании.

А все это из-за наступления (?) на Бельгию\*. И нам надо будет колонизовать новых туземцев, приручать новых уток, облетывать новый сектор (адрес, очевидно, останется прежний: полевая почта 897). Все это, Леон Верт, достаточно странно и немножко грустно.

И вообще вся эта война немножко странная и грустная. До свидания, Леон Верт, вы мне очень дороги.

Тонио

## ПИСЬМО X.

[27 января 1940 г.]

«Отель де Лан» \*.

Мне так опротивела моя новая жизнь! И центральное отопление, и зеркальный шкаф, и вся эта полуроскошь, и это буржуазное существование. Постепенно и только сейчас я начинаю понимать, как мне нравился Орконт. Насколько жизнь на ферме, моя промерзшая комната, грязь и снег помогали мне примириться с самим собой. А десять тысяч метров — обрести вес.

И вот опять все пошло прахом. Я не способен собрать себя. Там я исполнял свои обеты. Начинал потихоньку... потихоньку оттаивать. Но что я могу сделать с этой машиной, которая ни черта не стоит?

Я не хотел жить со всеми ними. Хотел, скорей уж, слиться с ними в их молчании. Хотел приходить извне — со своей фермы или с десяти тысяч метров. И Ольвек\* очень ошибается, если считает, что я взят в плен застольными песнями в столовой. На равной ноге, да, но без тени снисходительности. И в равенстве я находил такую же радость, как они в пении. Эта ласковая земля — для моих корней. Но для ветвей — все небо, и ветры, прилетающие издалека, и молчание, и свобода одиночества.

Я умею быть один в толпе. Пусть я стиснут ею, но у меня остается своя голова и своя берлога. А теперь я лишился берлоги, лишился неба, и мне некуда тянуться ветвями. Теперь я сжался и не верю в себя. Когда они слишком близко, у меня начинается удушье.

И все же я любил их и люблю без всякой задней мысли. Но у меня потребность — несомненная — выразить их. Я понимаю их лучше, нежели они сами, — и крепость их корней, и великолепную их субстанцию. Но то, что они говорят, не способно заинтересовать меня, если не считать смысла, который, вопреки им, есть в их словах.

Точно так же в моей книге: «Простодушная, она плакала из-за потерянной драгоценности. Она плакала, сама того не зная, из-за смерти, которая разлучит со всеми драгоценностями» \*. (...)

Все в точности похоже. Все их побуждения проникают мне в сердце, и я гораздо ближе к ним, чем они сами к себе. Но мне сейчас недостает пространства.

А они надоедают мне историями про драгоценности. Но суть-то не в драгоценностях.

Я познаю только при условии, что сам творю свои ветви. Я не способен выразить их, когда меня душит их присутствие. А то, как они сами выражают себя, мне неинтересно.

Я уйду к Витролю\*. Предпочитаю опасность смерти иссыха-



нию, которое угрожает мне здесь. Тут я обрел вторую Тулузу. Но без одиночества. Умираю от жажды одиночества. Я — дряная машина, и мне нужно неведомое горячее. Я чуть ли не кричу караул. Мне просто необходим свет. Дайте мне света. Как сделать, чтобы не погибнуть и принести плоды? Где я?

Я опьянел от благих побуждений. И словно апельсиновое дерево, отправляюсь на поиски пригодной земли. Но апельсиновое дерево не слишком-то способно передвигаться. Менять почву трудно. У меня нет ничего, кроме инстинкта искателя подземных ключей. Стоит мне оказаться там, где есть ключ, как я точно угадываю его. Но я никогда не знаю, куда идти. Я страшно неудачливое дерево.

## ПИСЬМО ЛЕОНУ ВЕРТУ

*Лан [февраль 1940 г.]*

...Леон Верт, наступают холода, и я не очень понимаю жизнь, не знаю, куда податься, чтобы быть в мире с самим собой. Теперь для нас не существует даже войны. Мы здесь находимся на случай военных действий, которых нет\*, и, стало быть, как бы на отдыхе. Остальные после потери шестнадцати экипажей вполне заслужили отдых, но я-то еще ничего не сделал, и уж если вы считаете безрассудным мое участие в войне, то еще более абсурдным сочтете мой отдых, так как я не обрету в нем ничего, что придало бы мне бодрости. Мы живем в настоящем «доме» с настоящей столовой, настоящим центральным отоплением, и песни тут уже звучат фальшиво, и у меня нет моей дровяной печки, чтобы сотворить ночь, а я так любил все это; там я мерз, но чувствовал себя великим архитектором огня и любил свою выстуженную (по утрам) комнатку. Ледяная постель — это чудесно, потому что, пока не двигаешься, тебя омывает теплая река, но стоит шевельнуть ногой, и попадаешь в полярное течение; постель с ее Gulf Stream<sup>1</sup> и Ice bergh<sup>2</sup> (правильно написано?) была полна таинственности. В сущности, я не люблю комфорта, который все сглаживает. В «умеренном климате» мне скучно. Здешние ночи в компании с радиатором центрального отопления и зеркальным шкафом уже не имеют привкуса охоты на медведя, и, проснувшись, мне уже не нужно преодолевать степь в красную клетку, простирающуюся между кроватью и печкой, степь, которую я не решался пересечь, так как стучал зубами от холода. И потом ближние полеты разочаровывают меня: вы же знаете, что это не та война, на

<sup>1</sup> Гольфстрим (англ.).

<sup>2</sup> Iceberg (англ.) — айсберг.

которую я рвался. Но между взлетами и посадками, при этой великой скудости и кругозоре пастуха мне просто необходимо нечто, что вынудило бы меня разбить свою скорлупу. А тут я чувствую себя, как в инкубаторе. Я ничего не понимаю в этой полуроскошной жизни. Пытаюсь добиться перевода из группы 2/33 в группу 1/52: она продолжает заниматься своим делом. Ко всему прочему, у нас тут полный развал. Капитана Гийома перевели в другую часть, и командир группы сменился\*. Песни и розыгрыши утратили всякий смысл. Леон Верт, вы придете в отчаяние, увидев нас такими...

Мне хотелось бы, чтобы вы знали то, что, впрочем, и так прекрасно знаете: вы мне бесконечно необходимы, потому что, во-первых, я люблю вас сильнее—в этом я убежден,—чем остальных моих друзей, а кроме того, потому что мы близки по духу. Мне кажется, я воспринимаю все примерно так же, как вы, и вы неоднократно мне это демонстрировали. У меня часто бывают с вами долгие споры, но, не будучи пристрастным, я почти всегда признаю вашу правоту. А еще, Леон Верт, я люблю пить с вами перно на берегу Соны\*, закусывая его колбасой и деревенским хлебом. Не могу вам сказать, почему от тех минут у меня осталось ощущение дивной полноты жизни, да мне и нет нужды говорить, поскольку вы знаете это лучше меня, но я был тогда очень счастлив и хотел бы повторить это снова. Мир вовсе не является чем-то абстрактным. Мир—это не конец опасностям и холоду. К ним я равнодушен, ни опасностей, ни холода не боюсь, и в Орконтe страшно гордился собой, когда, проснувшись, героически растапливал печурку. В каком-то смысле мир—это возможность закусывать деревенской колбасой и хлебом на берегу Соны в компании Леона Верта. И меня очень огорчает, что колбаса стала невкусной.

Приезжайте повидаться со мной, но отправимся мы не к нам в авиагруппу, которая стала даже не грустной, а прискорбной. Мы проведем день в Реймсе и попробуем отыскать хорошее бistro. А потом можно было бы назначить свидание Деланжу\*, а он привез бы Кам\* и Сюзанну. Приглашаю вас всех на грандиозный пир; приезжайте поскорей и порадуйте меня, но не затягивайте, потому что если я эмигрирую в группу 1/52, то окажусь очень далеко от Парижа.

До свидания, Верт, от всего сердца обнимаю вас.

Тонио

Я встречу с вами в Лане, в гостинице «Англетер», она неподалеку от вокзала—поездом сюда можно добраться за 2 час 20 мин, это совсем рядом. Есть еще поезд, который приходит в 9 час 6 мин вечера. Переночуете у меня. На следующий день осмотрим Реймс (я не видел собор\*). Деланж присоединится к нам, мы вместе пообедаем или поужинаем, а потом он отвезет вас в Париж. Как вам мой план?

## ЗАПИСЬ В КНИГЕ ПОЧЕТА ЭСКАДРИЛЬИ \*

Я был до глубины души взволнован, вновь обретя в третьей эскадрилье группы 2/33 молодость сердца, взаимное доверие и чувство товарищества, составлявшие когда-то для нескольких человек главную ценность старой южноамериканской авиалинии\*.

Здесь все похоже, и я всем сердцем ценю командиров эскадрильи, умеющих быть молодыми, старых профессионалов, умеющих быть простыми, товарищей, умеющих быть верными, и то ощущение дружбы, которое позволяет нам, несмотря на опасности войны, грязь и неудобства, с огромной радостью собираться в простом деревянном бараке вокруг чуть-чуть меланхоличного патефона...

Рад, что вхожу в состав третьей эскадрильи.

Антуан де Сент-Экзюпери,  
11 февраля 1940 г.

### ПИСЬМО ЛЕОНУ ВЕРТУ\*

[апрель 1940 г.]

Дорогой Леон Верт,

Я была бы счастлива обнять вас, но Консуэло сейчас зайдет за мной, а я обещал позавтракать с нею.

Попытаюсь увидеться с вами перед отъездом. N. В.: фронт у Суасона\* и т. д. держится хорошо. На Сене сумятицы больше, но не безнадёжно.

Тонио



## ПИСЬМА МАТЕРИ

[Орконт, апрель 1940 г.\*]

Мамочка,

Я писал вам и очень огорчен пропажей моих писем. Я прихворнул (довольно сильная, хотя и непонятно откуда взявшаяся простуда), но все уже прошло, и я вновь присоединяюсь к авиагруппе.

Не сердитесь на меня за молчание, тем более что его нельзя назвать молчанием, так как я вам писал и был очень несчастен, оттого что заболел. Дорогая мама, если бы вы знали, как нежно я вас люблю, как берегу ваш образ в сердце, как беспокоюсь за вас! Больше всего на свете мне хочется, чтобы война не коснулась моих близких.

Мамочка, чем дольше тянется война и чем больше от нее угрозы и опасностей для будущего, тем сильнее во мне тревога за тех, о ком я обязан заботиться. Бедняжка Консуэло (...) так одинока, и мне ее бесконечно жаль. Если она вдруг решит укрыться на юге\*, примите ее, мама, из любви ко мне, как дочь.

Мамочка, ваше письмо доставило мне бездну огорчений: оно полно упреков, а мне бы хотелось получать от вас только ласковые письма.

Нет ли у вас в чем-нибудь нужды? Мне хотелось бы сделать для вас все, что только в моих силах.

Целую вас, мама, и безмерно люблю.

Ваш Антуан

Авиагруппа 2/33  
Полевая почта 897

[Орконт, 1940 г.]

Дорогая мама,

Пишу вам, держа листок на коленях: мы ожидаем бомбежки, которая все никак не начнется. Постоянно думаю о вас (...) И разумеется, дрожу от страха за вас.

Не получил от вас ни одного письма: куда они подевались? Это меня немножко огорчает. Мне не по себе от постоянной итальянской угрозы\*, потому что она угрожает и вам. Мне так нужна ваша нежность, милая мамочка. Кому понадобилось, чтобы все, что я люблю на земле, оказалось в опасности? И все же больше, чем война, меня пугает завтрашний мир. Разрушенные деревни, разделенные семьи. Смерть мне безразлична, но я не желаю, чтобы она затронула духовную общность. Как мне хочется, чтобы мы собрались все вместе вокруг накрытого белой скатертью стола!

О своей жизни не пишу, да и писать о ней нечего: опасные полеты, еда, сон. Я чудовищно мало «удовлетворен». Сердцу

нужна иная деятельность. Я чудовищно недоволен тем, чем занята наша эпоха. Чтобы снять с совести бремя, мало примириться с опасностью и подвергаться ей. Единственный освежающий родник — кое-какие воспоминания детства: запах свечей в новогоднюю ночь. Сейчас в душе пустыня, где умираешь от жажды.

Я мог бы писать, у меня есть время, но писать я еще не способен: книга пока не отстоялась во мне\*. Книга, которая стала бы для меня «глотком воды».

До свидания, мамочка. Изю всех сил обнимаю.

Ваш Антуан

### **ЗАПИСЬ В КНИГЕ ПОЧЕТА АВИАГРУППЫ 1/3\*,**

сделанная 23 мая 1940 г.

Приношу самую сердечную благодарность авиагруппе 1/3 и ее командиру Тибоду, поскольку, не прикрой меня товарищи из этой группы, я сейчас играл бы уже в раю в покер с Еленой Прекрасной\*, Верцингеторигом\* и т. д., а я предпочитаю пожить еще на этой планете, несмотря на все ее неудобства...

Антуан де Сент-Экзюпери

### **ОБРАЩЕНИЕ К АМЕРИКАНЦАМ\***

Величие человеческого разума проявляется в постижении мира с помощью эффективной концептуальной системы. Но слабость его — в слишком большой вере в систему. Когда ученый создает теорию, он поначалу не верит в нее. Он прекрасно понимает, что имеет дело всего-навсего с языком, удобным для упорядочения мира, и что лишь порядок чего-то стоит. Достоинство теории — ее ясность. Теория беспомощна, когда построена не столько на ясности, сколько на темнотах. Когда несет не столько благо, сколько вред. И если мы хотим упорядочить обстоятельства человеческой жизни на нашей планете, нельзя хвататься за то, что, вполне возможно, наиболее притягательно для нас, но априорно неведомо или состряпано из уже освоенного нами. Разум должен стремиться к синтезу, который удовлетворяет все наши потребности, а не только потребность в порядке и в техническом обеспечении.

Как получилось, что в то время, когда немцы просили о куске хлеба\*, Голландия, Швеция, Бельгия могли жить обособленной жизнью? Что так изменилось в мире? Хорошо, я отвечу вам: никаких особенных изменений не произошло, за исключением того, что мы были захвачены врасплох. За исключением

того, что новые понятия—как практически все изменения в языке—повергли мир в такую растерянность, что мы стали реагировать слишком поздно и слишком медленно. Ведь совершенно очевидно, что, создай мы блок, вроде существующего сейчас, тогда, когда немцы милитаризовали Рейнскую зону\*, мы спасли бы мир на земле, равновесие и честь. Совершенно очевидно, что мы спасли бы все это и в час, когда была осуществлен аншлюс\*, и, может быть, даже еще в Праге\*. Хотя в последнем случае, видимо, пришлось бы уже воевать.

Совершенно очевидно, неопровержимо и несомненно, что мы спасли бы все это и сегодня, если бы сто миллионов немцев обнаружили, что им противостоят пятьсот миллионов европейцев, во всем похожих, во всем солидарных и одинаково оказавшихся под угрозой уничтожения, причина которого—нестерпимый вызов, каковым является само их существование. Я не стану тут спорить насчет обоснованности этого вызова, насчет искренности или неискренности. Я думаю, что Гитлер искренен. Но именно потому, что он, словно Магомет нового времени, искренен, его необходимо уничтожить. Да, для расистского духа существование свободной Голландии—нестерпимый вызов. А мы готовы умереть за такую цивилизацию, где счастье не является нестерпимым вызовом.

Сто миллионов немцев сохраняли добрососедские отношения лишь в той мере, в какой остальной мир нес ответственность за свободу. В большей или меньшей степени подобная солидарность, прерывавшаяся несправедливостями и периодами помрачения, существовала долгие века, с тех пор как христианство омыло землю. Свобода, внутренний мир, уважение к человеку—вот подлинное сокровище, но сокровище, которое может быть только всеобщим. Если низость, страх, скупость помешают миру объединиться для спасения этого всеобщего сокровища, его можно считать утраченным.

Мы, умеющие быть богатыми, преисполненные всем, чем обладают другие, гордящиеся непохожестью своих лиц, не испытывающие потребности метить одинаковой печатью лица пятисот миллионов женщин планеты, мы, богатые разнообразием мира и счастьем каждого, мы, защищая свое счастье, защищаем прежде всего счастье других, потому что оно принадлежит и нам, и если другие не в союзе с нами, то только потому, что не сознают этого. Не могут понять. Существование русской души, голландской души, норвежской, шведской—очевидность для всех. Почему же такое не может существовать всегда, раз существовало так долго?.. Все они в который раз совершают общую ошибку, и вот в чем ее суть: они считают неизблемым, вечным, присущим человеку, биологически унаследованным то, что является всего лишь первичной сущностью, добычей духа, внутренней привычкой. Они не способны представить, как и почему может исчезнуть то, чем они жили так долго. Они при своем крохотном кругозоре счастливых людей не способны

поверить, что существовавшее вечно может исчезнуть, что царство духа находится под угрозой. Они не верят в великие исторические катастрофы, которые стирают с лица земли целые поколения и полностью меняют облик континентов. Как все люди, они не верят в возможность того, что им кажется несправедливым. Ошеломленные, они протестуют. Они, ошеломленные, будут протестовать, создавая подпольные культы, взывая к божественному правосудию, как будто подобные ценности могут сохраниться без ущерба, как будто для спасения общечеловеческого наследия не требуется свободной передачи из поколения в поколение добычи, отнятой у зверя, культуры, духа.

Мы обязаны — и сознаем это — сражаться прежде всего за Францию, потому что мы французы, но через Францию — за французский образ понимания жизни. За швейцарские кантоны, за тюльпаны Амстердама, за норвежскую мечту. И пусть они этого не знают, не сознают, но мы сражаемся за всех тех, чья судьба, хотя бы они того или нет, находится в наших руках. За тех, которые не смеют даже сказать об этом вслух из страха, что людоед сожрет их первыми. За тех, не имеющих ни гарантий, ни защиты, боящихся привлечь к себе внимание и погибнуть первыми, желающих нам победы, но в тайне сердца, как желают ее нам австрийцы, чехи и поляки, которые теперь поглощены нацистами... Мы знаем: мы сражаемся за слабых и не ждем, что они подставят себя под первый удар врага. Но вы, выразители чаяний огромной державы, защищенной океанами, безмерно могущественной благодаря флоту, армии, сильному народу, неужто ваша роль — советовать своим соотечественникам умыть, подобно Понтию Пилату, руки в деле, которое как будто и не имеет к вам отношения? По этому поводу многое можно сказать, потому что, хоть вашему физическому существованию непосредственно ничто не угрожает, это дело все-таки и ваше — и еще в большей степени из-за ваших собственных нацистов\*; потому что религия, которую мы защищаем, зовется свободой, а это и ваша религия; потому что, живя на другом континенте, вы тем не менее живете на той же планете и, подобно нам, являетесь наследниками цивилизации, в которой люди солидарны; потому что, когда землетрясение разрушает Мессину, Токио или Сан-Франциско\*, вы не делаете различий, вы страдаете вместе с жителями Мессины, Токио и Сан-Франциско, ибо принадлежите к породе тех, кто помогает поднимать Мессину из руин, хотя это итальянский город, а не к тем, кто забрасает Мессину камнями, если она не нацистская. Вы похожи на нас и на всех, чьи хрупкие судьбы мы держим в своих руках и кто, не имея видов на соседа, может выражать свои желания лишь в беззвучных молитвах и уже много поколений назад забросил в театральный гардероб за кулисы театра обноски римских императоров. Англия куда сильнее Голландии, но она не посягает на голландские колонии. Франция куда сильнее Швейца-

рии, но не посягает на ее франкоязычное население. Вы гораздо могущественней Мексики, но вы не посягаете на Мексику \*. После того как техника превратила войну из блистательной прогулки, где эмоции, может быть, стоили немногих жизней, которыми она оплачивалась, в гигантскую бойню, где людская плоть перемалывается шестернями машин, вы вместе со многими другими поняли: войну надо заменить новой концепцией, которая вознесется над миром, подобно чудотворной надежде, — концепцией стабильности государств. Пора покончить с этими играми, которые стали слишком опасными и уничтожают больше, чем сохраняют. Покончить с территориальными притязаниями. Если мы не хотим подохнуть в грязи, надо наконец установить мир... Ведь людям открыто столько прекрасных поприщ для побед!

Идеи разделяют мир, а не объясняют его, и ваша концептуальная система, коль скоро она принята, несомненно, тревожит мир, который мы любим. Если ваша мысль ведет мир, то мы, разумеется, оказываемся погребенными под обломками наших личных религий. Но мысль доказывается ее победой, а победа эта связана не с чем-то трансцендентальным, но с точностью мысли. Вашему несколько упрощенному мышлению можно противопоставить иное мышление. Столь же плодотворное, но гораздо более многообещающее. Вашему устройству можно противопоставить иное устройство. И если оно сконцентрирует в себе больше веры, больше динамизма, если оно будет успешнее распространяться, тогда мы победим.

Я был в Германии \* и расспрашивал там физиков. Современную физику невозможно представить без уравнений Эйнштейна. Разрешено ли там изучать Эйнштейна? Конечно, нет. Всякий, кому для постижения мира необходимо ознакомиться с уравнениями Эйнштейна, обязан поносить его: иначе он их не узнает.

Да, Германия была нацией великих ученых, но сейчас это всего лишь нация техников. Вам прекрасно известно, как идет прогресс человеческой мысли: из свободного противопоставления рождается пучок взаимоисключающих доказательств, который направляет движение своих противоположностей навстречу движению единственной теории. И когда давление оказывается чересчур сильным, слишком тесные формы лопаются. Появляется человек, который осуществляет синтез и преодолевает противоречия. Только свобода мысли позволяет мысли двигаться вперед. И мы на протяжении двух веков были соучастниками чуда покорения природы человечеством. Но вот пришел человек, который разом стреножил мысль, окостенил ее, втиснул в свой коран, и человечество под его властью мгновенно превращается в муравейник. Мысль не способна идти вперед, так как не может больше вступать с собою в противоречие. И тогда основой всего становится призрак истины. Тот самый незыблемый гранит, на котором в прошлом жидились гигантские термитники.



Возможно, Гитлер лучше, чем кто-либо другой, умеет извлекать выгоды из высокого уровня человеческих знаний и из разносторонней науки своей страны. Он сумел организовать серийное производство армий, которыми вы восхищаетесь, и сумел вонзить когти в свой народ. Но в чем видите вы его величие? Я считаю его мародером, крадущим плоды мысли. Мысли, которую он презирает. Сегодня в Германии слово «интеллектуал» стало синонимом придурковатого мечтателя, опасного теоретика. Нацисты забрались в храм знаний, раскрывают плоды творчества, которые там предлагаются, уничтожают то, что сами никогда не смогли бы создать. И мы, сражаясь прежде всего за себя, чтобы сохранить жизнь нашей религии, сражаясь за совокупность народов, которые в этом мире думают так же, как мы, сражаемся и за вас, потому что одновременно с нашим защищаем и ваше духовное наследие, и за Германию, ту Германию, которой вы восхищаетесь, против бандитов, превративших ее в военный лагерь. Вы прекрасно знаете, что мы не требуем ничего, кроме права на мирную жизнь. Мы сражаемся за существование излишество, которое мы считали, к сожалению ошибочно, совершенно естественным, настолько оно нам казалось очевидным,— за излишество, о котором мы даже не подозревали, что его надо защищать. Да и как могли мы поверить, что явившийся по соседству Магомет откроет чудовищную очевидность: человек не имеет права на собственную одежду, поскольку не способен отстоять ее от всех остальных? Мы сражаемся за человека, за то, чтобы он не был раздавлен слепой толпой, за то, чтобы художник мог писать картины, даже если его не понимают. За то, чтобы ученый мог мыслить, даже если поначалу он кажется неортодоксальным. Мы сражаемся за всех отцов и за всех сыновей мира. За то, чтобы за семейным столом царила неизменная любовь. Чтобы друг не предавал друга. И чтобы слабый, находясь под защитой закона, под защитой нравственного кодекса, под защитой всемирного соглашения, мог сохранить свою одежду несмотря на то, что не способен ее отстоять.

Но для этого необходимо всемирное соглашение. Необходимо, чтобы люди, все вместе, защищали это благо. Необходимо, чтобы каждый человек, являясь частицей своего государства, своей нации, своей духовной родины, был в то же время частицей сообщества людей и защищал каждого.

## ПИСЬМО МАТЕРИ

*[Бордо, июнь 1940 г.]*

Дорогая мамочка,

Мы вылетаем в Алжир\*. Обнимаю вас так же сильно, как люблю. Писем не ждите, так как переправлять их не будет возможности, но помните о моей любви к вам.

Антуан

## ПИСЬМО X.

*[Алжир, начало июля 1940 г.]*

Секунду назад узнал, что во Францию летит самолет — первый, единственный. Отсюда туда ничего не пропускают — ни писем, ни телеграмм.

Мне безмерно грустно.

Многое, слишком многое вызывает у меня отвращение.

У меня плохой характер, а в здешнем болоте это мучительно.

Я делал что мог, выбирал наименьшее зло.

И я совершенно отчаялся.

Когда-нибудь мы, несомненно, вернемся (...).

## ПИСЬМО X.

*«Палас», Эшторил, Португалия\**

*[1 декабря 1940 г.]*

(...) Гийоме погиб\*, и сегодня вечером мне кажется, будто у меня больше не осталось друзей.

Я не оплакиваю его. Я никогда не умел оплакивать мертвых, но мне придется долго приучаться к тому, что его нет, и мне уже тяжело от этого чудовищного труда. Это будет длиться долгие месяцы: мне очень часто будет недоставать его.

Как быстро приходит старость! Я остался один из всех, кто летал на линии Касабланка — Дакар\*. Из давних дней, из великой эпохи «Бреге-ХIV»\* все: Колле, Рен, Лассаль, Борегар, Мермоз, Этьен, Симон, Лекривен, Виль, Верней, Ригель, Пишоду и Гийоме — все, кто прошел через нее, умерли, и на свете у меня не осталось никого, с кем бы я мог разделить воспоминания. И вот я превратился в одинокого беззубого старика, который сам с собой пережевывает их. И из друзей по Южной Америке\* не осталось ни одного, ни одного...

В целом мире у меня нет никого, кому можно было бы сказать: «А помнишь?» Совершенная пустыня. Из товарищей восьми самых бурных лет моей жизни остался только Люка, но он был всего лишь административным агентом и пришел на линию позже, да Дюбурдые, с которым я никогда не жил вместе, потому что он никогда не покидал Тулузы.

Я-то думал, что похоронить на протяжении жизненного пути всех, абсолютно всех друзей — удел глубоких стариков.

Жизнь нужно начинать сначала. Умоляю вас, помогите увидеть, что вокруг меня. Перевалив через хребет, я растерялся.

Скажите, что мне делать. Если надо возвратиться, я возвращусь.(...)

1941

*«Харперс Базар», апрель 1941 г.*

### ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКОТОРЫХ КНИГАХ\*

Первой книгой, которую я по-настоящему полюбил, был сборник сказок Ханса Кристиана Андерсена. Но это была уже вторая из прочитанных мною книг. В четыре с половиной года я сгорал от желания прочитать настоящую книгу. На дне старого деревянного сундука, набитого пожелтевшими каталогами и проспектами, я наткнулся на брошюру по виноделию; она была совершенно недоступна моему пониманию, но я прочел ее всю от корки до корки, пленяясь каждым словом. Это и была моя самая первая книжка.

Через несколько лет я открыл для себя Жюль Верна. Мне уже было около десяти. «Черная Индия»\*, одна из его наименее известных книг, которая вообще-то считается скучноватой, ослепила меня блеском великолепия и тайны. Я и теперь остаюсь при своем мнении, потому что этому роману суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Действие его разыгрывается в подземных галереях, прорытых на глубине нескольких тысяч футов, куда от века не проникает свет. Вполне возможно, что фантастическая атмосфера этой книги, запечатлевшаяся у меня в памяти, лежала у истоков моего «Ночного полета», который тоже есть не что иное, как исследование тьмы.

Я никогда не питал пристрастия к романам и читал их не так уж много. Первыми привлекли меня романы Бальзака, особенно «Отец Горио». В пятнадцать лет я напал на Достоевского, и это было для меня истинным откровением: я сразу почувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному, и бросился

читать все, что он написал, книгу за книгой, как до того читал Бальзака.

В шестнадцать я открыл для себя поэтов. Естественно, я был уверен, что сам к ним принадлежу, и два года кряду, подобно всем подросткам, лихорадочно кропал стихи. Я боготворил Бодлера и, к стыду своему, должен сознаться, что затвердил наизусть всего Леконта де Лиля и Эредиа\*, а также Малларме\*. От любви к Малларме не отрекаюсь и поныне.

Из современных романистов первым мне полюбился Жан Жироду. «Школа равнодушных» и «Симон патетический»\*, прочитанные в школе, очаровали меня: мне показалось, что я нашел в них человека, занятого в жизни какими-то единственно важными вещами. Помню, например, из «Симона патетического», что для Симона было жизненно необходимо знать, придвинута его кровать к стене или нет. Для ребенка это вправду необычайно важный вопрос: темная пустота между ним и стеной — это таинственная страна, принадлежащая ему одному...

В поездках я не расстаюсь с несколькими книгами, но мне не хотелось бы сейчас перечислять их названия; ведь признайся я, что повсюду вожу с собой труды Паскаля, Декарта, современных философов, математиков и биологов, — это покажется претенциозным, бьющим на эффект. Однако эти книги — вот они, при мне, у меня на столе. На войне верными моими спутниками были Паскаль, «Заметки Мальте Лауридса Бригге» Рильке\* да потрепанный том Бодлера...

Размышляя об этих книгах, которые, бесспорно, оказали глубокое влияние на мою жизнь, я вспоминаю о волшебной истории, которая приключилась со мной самим. Она родилась не из книги, а из воспоминания о прочитанном, в самом механическом смысле слова: это воспоминание детства, проснувшееся при необычайных обстоятельствах у человека, который оказался на самом краю света.

Несколько лет назад мой самолет потерпел аварию в Гватемале\*. Я долго пробыл в коме — ощущение более чем неприятное, потому что к жизни возвращаешься не сразу: приходишь в себя медленно, и кажется, что поднимаешься, всплываешь сквозь какую-то густую, вязкую массу на поверхность внешнего мира. Я делал мучительные физические и умственные усилия, но не мог вырваться из власти забвения. Помню, как проснулся ночью потому, что с меня сползли простыни и одеяла. В Гватемале из-за большой высоты над уровнем моря ночи очень холодные. У меня было восемь переломов, и до одеял мне было не дотянуться. Поэтому я позвал сиделку и стал просить, чтобы она завернула меня в «несравненную ткань», уверенный, что, если она не выполнит сразу же мою просьбу, я умру.

— Но у нас этого нет, — сказала сиделка. — Нет у нас никакой «несравненной ткани».

В голове у меня все перемешалось. Я пытался вспомнить,

Таким образом стелят постель. Я рассуждал сам с собой: «Постой, в армии я стелил себе сам, как же я это делал? Простыня внизу, другая наверху... Нет, третьей простыни не было. Сиделка права». Мне было трудно и жалко расстаться с мыслью о «несравненной ткани».

Со временем я и думать забыл об этом случае. Потом в один прекрасный день приехал в Лион, где прожил год еще ребенком. По воскресеньям родные возили меня к мессе в Фурвьере\*, в собор, высившийся на холме над городом; поднимались туда на фуникулере. Мне захотелось совершить сентиментальную прогулку. Добравшись, я увидел, что билеты по-прежнему продаются у выхода из туннеля, перед автоматическим турникетом. Я пристроился к очереди, где было человек двадцать. Мы продвигались медленно, и мой взгляд упал на стену слева, оклеенную афишами. Это были все те же рекламы, лишь бумага за сорок лет почернела от дыма да буквы наполовину стерлись. Я рассеянно разбирал надписи, и вдруг у меня екнуло сердце. Вот оно что! «Обезболивающая ткань — несравненное средство от ран и ожогов». Вот они — простыни, которые могут утишить, облегчить боль, вот о чем я вспоминал на госпитальной койке в Гватемале! Несомненно, когда мне было пять лет, эта «несравненная ткань для ран и ожогов» произвела на меня глубокое впечатление. Из той же рекламы, по-моему, родилась одна фраза в «Планете людей», обращенная к Гийоме: «В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь»<sup>1</sup>. Воспоминание о волшебных простынях, которые умеют лечить раны... Воспоминание о старой рекламной афише в маленьком туннеле в Фурвьере, почти тридцать лет прятавшееся в темном закоулке моего сознания.

### ТЕМЫ »ЦИТАДЕЛИ»\*

Чтобы твои раны зарубцевались, я велю тебе гулять на вольном [воздухе]... Ты забыл, что никоим образом не дозволено, чтобы ты не был принят.

Никоим образом не дозволено, чтобы ты потерял свои пути.

[Ты угадываешь это в том, кем ты восхищаешься.]

И язва твоя

И траур твой

И угрызения твоей совести

Я беру на себя твои...

Были у меня в доме...

Басня о козопасе

И решил я его спасти

<sup>1</sup> А. де Сент-Экзюпери. Избранное. Лениздат, 1977, с. 171. Пер. Н. Галь.— Прим. перев.

### *Основные направления вступительной части*

понятие имения  
понятие дворца                      его сущность  
понятие обмена  
понятие «образцового сотрудничества»  
понятие грабежа (истощать источник, из которого пьешь)  
понятие пейзажа, который открываешь для себя, шагая по дороге  
понятие опорной конструкции (распространить на существо, но не на сущность)  
понятие отмирающих вопросов  
понятие ведра, лопаты и горы. Означать, но вовсе не содержать  
понятие недостойной цели и заблуждений, являющихся ступенями к совершенствованию  
понятие времени утекающего и наполняющего  
понятие заговора против общества  
понятие лавочника и солдата в пустыне (и о чем он пожалеет? Кто, кроме бога, ему судья?)  
понятие минувшего времени и жизни  
понятие камней и молчания  
понятие агентства Кука  
понятие мира, который есть блаженство, высший синтез, смерть противоречий и непримиримости  
молчание, которое питает. И медлительность  
понятие кочевника и оседлого (лицо [власть имущих])  
понятие цивилизации, которая ничего не дает

### **ПИСЬМО X.**

*Лос-Анджелес*  
[8 сентября 1941 г.]

Я изменился с начала войны. Теперь я презираю все, что интересно мне, именно мне самому... Я болен странной, неотвязной болезнью — всеобъемлющим безразличием. Хочу закончить свою книгу\*. Вот и все. Я меняю себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь. В вечности меня спросят: «Как ты обошелся со своими дарованиями, что сделал для людей?» Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое. Кто поможет мне в этом, тот мой друг. Единственной помощью будет избавить меня от споров. Мне ничего не нужно. Ни денег, ни удовольствий, ни общества друзей. Мне жизненно необходим покой. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой. Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что мне никогда не довести ее до конца. У меня семьсот страниц. Если бы я просто разрабатывал эти семь сотен

Страниц горной породы, как для простой статьи, мне и то понадобилось бы десять лет, чтобы довести дело до завершения. Буду работать не мудря, покуда хватит сил. Ничем другим на свете я заниматься не стану. Сам по себе я не имею больше никакого значения и не представляю себе, в какие еще раздоры можно меня втянуть. Я чувствую, что мне угрожают, что я уязвим, что время мое ограничено; я хочу завершить свое дерево. Гийоме погиб, я хочу поскорей завершить свое дерево. Хочу поскорей стать чем-то иным, не тем, что я сейчас. Я потерял интерес к самому себе. Мои зубы, печень и прочее — все это тухляво и само по себе не представляет никакой ценности. К тому времени, когда придет пора умирать, я хочу превратиться в нечто иное.

Быть может, все это банально. Меня не уязвляет, что кому-нибудь это покажется банальным. Быть может, я ободряюсь насчет своей книги; быть может, это будет всего лишь толстенный посредственный том, мне совершенно все равно — ведь это лучшее из того, чем я могу стать. Я должен найти это лучшее. Лучшее, чем умереть на войне.

Пакостная газетная война\* впервые почти меня не задела. В иные времена я потратил бы на это месяц. Но теперь что бы обо мне ни говорили — я только посмеиваюсь. Я очень спешу. Спешу изо всех сил. Мне недосуг прислушиваться ко всему этому. Будь смерть лучшим, на что я теперь способен, — я готов умереть. Но я ощущаю в себе призвание к тому, что кажется мне еще лучше. И все, с этим покончено. Теперь я на всех смотрю с точки зрения своего труда и людей делю на тех, кто за меня и против меня. Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме я понял, что рано или поздно умру. Речь идет уже не об абстрактной поэтической смерти, которую мы считаем сентиментальным приключением и призываем в несчастьях. Ничего подобного. Я имею в виду не ту смерть, которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, «уставший от жизни». Нет. Я говорю о смерти мужчины. О смерти всерьез. О жизни, которая прожита. (...)

## ПИСЬМО ЛЬЮИСУ ГАЛАНТЬЕРУ\*

[ноябрь 1941 г.]

Дорогой Льюис,

Я уезжаю в воскресенье. Дела наконец пошли на лад. У меня даже появилась надежда избавиться от этих приступов, которые повторялись все чаще и чаще, отравляя мне существование, и, к сожалению, вовсе не были связаны с нервами! Разве бывает такая депрессия, от которой просыпаются в три часа ночи, стуча зубами и дрожа всем телом в сильнейшей лихорадке с температурой 104—105\*! Ни от какой депрессии нельзя спастись

сульфамидом, специальным антисептиком, а я, приняв сульфамид при жесточайшем приступе, к вечеру того же дня вполне приходил в себя и мог пожаловаться лишь на небольшое повышение температуры и легкую тошноту...

Но это лекарство, каждый раз приносившее мне облегчение,—опасная штука. С другой стороны, что со мной станется, не окажись его в нужную минуту под рукой? Всю войну я таскал его с собой в кармане на случай, если угожу в плен!

Все мыслимые анализы подтверждали, что приступы у меня—воспалительного характера. Лейкоциты и т. д. (да еще характерный озноб в придачу). Но у меня не было болей, которые точно указывали бы на очаг инфекции, и потому все лекари сходились на том, что надо удалить желчный пузырь—единственный орган, мало-мальски меня беспокоивший. Самому-то мне это недомогание казалось пустячным по сравнению с жестокими приступами лихорадки, и я упорно отказывался от операции. Мне хотелось доказательств победительней.

И вот, чем дальше, тем больше я верю здешнему диагнозу. В Калифорнии я поначалу перенес за неделю три приступа, а после операции, несмотря на то что она была мучительной, несмотря на то что нервы у меня расшатаны, несмотря на тысячу дел, от которых чудовищно страдает моя книга, и несмотря на временные осложнения, у меня не было ни единого приступа.

Конечно, бывало и раньше, что приступы месяцами не повторялись, так что в полное исцеление я поверю еще не скоро. Но, во всяком случае, последнее время лихорадка трепала меня очень уж часто, и этот спокойный месяц кажется мне добрым знаком.

Пишу обо всем этом потому, что вы, по-моему, подозревали, будто я, как юная неврастеничка, лечусь от мнимых недомоганий, а дело-то было в очевидных, сильных и частых приступах, которые, не будь на свете сульфамида, укладывали бы меня всякий раз на две недели в постель и, возможно, свели бы в могилу. Да и что это была за жизнь! Если бы у меня в группе кто-нибудь проведал об этой хвори, меня бы мигом отправили к моим дорогим бумажкам и никто не доверил бы мне самолет со всем экипажем; я не смел жаловаться, потому что боялся, как бы меня насильно не спровадили в тыл, так что приходилось вылетать на задания и подниматься на большую высоту с немыслимой температурой. А однажды, как раз когда меня лихорадило, к нам явилась с проверкой медицинская комиссия и пришлось наврать врачам с три короба о приступе малярии, хотя за все время, что я провел в колониях, эта дрянь ко мне не пристала.

Вы не знали о моей болезни только потому, что сульфамид с грехом пополам помогал мне держаться. Но если бы вы видели, как за несколько часов до приема лекарства я стучу зубами от температуры 105, вы бы сами послали меня к хирургу. И я



наверняка лишился бы почти здорового желчного пузыря только потому, что его, за неимением иного объяснения, облюбовали господа врачи. Замечу в скобках, что рубец убрали не для того, чтобы заменить его новым, а для уничтожения очага нагноения. [Рисунок: схема трех стадий состояния рубца.] (На самом деле выступающий рубец заменили плоским.)

Думаю, любой лекарь согласится, что такой выступающий рубец (...) становится постоянным источником сильной инфекции, сказывающейся (...) на почках. Любой, кто бы ни обнаружил такой неиссякаемый источник заразы, послал бы меня на операционный стол.

Простите, что так разболтался о своих болезнях. Это вовсе не в моих правилах, и, по-моему, я всегда говорил обо всем этом куда меньше, чем мог бы, с моими-то хворами. Но мне, как-никак, пришлось три невыносимых года молча терпеть эти хвори и не лечить их — так не сердитесь же, что мне захотелось выговориться!

(Помните обед на 21-м этаже\* с вашей племянницей? Я тогда ушел «работать». Это была неправда. Я ушел потому, что чувствовал, как поднимается температура, и у меня буквально подкашивались ноги!)

Дорогой Льюис, я вас очень люблю. Клянусь никогда больше не мучить вас подобной стариковской болтовней. Сам понимаю, как это противно, но я сейчас только об этом и думаю. Вот выговорился — и кончено. Буду думать о книге\*. Заглавие. Война. Европа. И дружба, дорогой мой Льюис.

Сент-Экс

## ПОСЛАНИЕ МОЛОДЫМ АМЕРИКАНЦАМ\*

Дороти Томпсон\* попросила меня сказать вам несколько слов, и я очень этому рад. Я сейчас не чувствую себя писателем, обращающимся к некой абстрактной публике. Мне кажется, что я запросто, как ваш товарищ, сижу среди вас, молодых людей доброй воли, и вместе с вами толкую о заботах, которые лежат у нас на сердце. А главное, я говорю сейчас с вами так, как хотел бы говорить со своими соотечественниками. Они теперь далеко. Будьте моими друзьями.

Вы воюете. Вы молоды. Вы готовитесь трудиться и драться во имя своей страны. Но вы знаете, что на карту поставлено нечто еще большее, чем судьба вашей страны. Решается судьба всего мира. И вы готовитесь трудиться и драться во имя свободы в целом мире.

Будь вы только солдатами, я обратился бы к вам как к солдатам. Я сказал бы: «Выкиньте из головы все проблемы. Сейчас проблема в одном — в оружии». Но вы молоды, и на вас лежит еще более тяжкая ответственность, чем на солдатах. У вас

двойная ответственность. Вы готовитесь сражаться за свободу. Но надо еще выяснить, что такое свобода, и построить ее.

Слова у людей со временем ветшают и теряют смысл. Ветшают научные теории. Ветшают социальные формулировки. Это расплата за движение человека вперед. Если вы не хотите пробавляться мертвыми мыслями, нужно постоянно освежать их. Значит, свобода—это вопрос, который нельзя отделять от остальных. Ведь человеку, чтобы быть свободным, надо прежде всего быть человеком. Выходит, что, доискиваясь до сути любой проблемы, вы упретесь в проблему человека.

Так вот, понятие «свобода» может включать в себя самые различные вещи. Это может быть свобода отречения от обычаев, разрыва с традициями, отстранения от участия в общественных делах—разумеется, при условии, чтобы это не вредило другим людям. Вы можете объявить: «Свобода индивидуума кончается там, где она начинает вредить окружающим». И вы нисколько не вредите окружающим, если ваша общественная жизнь ограничивается контактами, без которых не обойтись,—например трудом ради куска хлеба. Вы получили лишь то, что вам причитается. Не будь вас, ничто бы не изменилось. Но оказывается, что, не причиняя вреда окружающим, ваша отстраненность вредит обществу в целом, потому что без вас общество уже не так богато. Нужно стремиться к тому, чтобы общество было богаче, потому что только общество в свой черед делает богаче личность. Любой человек—представитель своей родины, профессии, цивилизации. «Человека вообще» не бывает. Собор построен из камней. Камни составляют собор. Но собор облагораживает каждый из камней. Они становятся камнями, из которых построен собор. Так и вы обретете братство лишь в чем-то большем, чем каждый из вас: люди всегда братья «по» чему-нибудь. Нельзя быть братом вообще. Люди жаждут уз. Узами может стать какая угодно частность. Горбатые могут основать секту горбунов. У кого спина прямая, того они не примут. Но гордость за нашу христианскую цивилизацию, из которой все мы вышли и которая всем нам, верующим и неверующим, принадлежит, велит нам искать эти узы во всеобщем.

Нацист пытается подобрать определение немцу или, с натяжкой, арийцу, чтобы объявить его святыней, на которой можно основать религию для избранных. Мы хотим дать определение человеку, чтобы основать нашу религию на нем. Вся наша цивилизация стремилась прежде всего дать определение человеку. Когда от известнейшего врача, приносящего огромную пользу, вы ждете, чтобы он, несмотря на всю свою человеческую значительность, рисковал жизнью ради заразного больного, вы подчиняете личность врача не какой-то другой личности, а Человеку, которого в данном случае представляет обычный больной; сам по себе, возможно, вполне заурядный. Если вы хотите очистить слово «демократия» от всех наслоений,

искажающих ее образ, скажите себе, что демократия понимает уважение к свободе как уважение к человеку, и, чтобы привнести в демократию братство, нужно основать человеческое сообщество не на возвеличивании отдельной личности, а на подчинении личностей культуре Человека.

Так вот, есть только один способ возвести это здание, которое больше каждого из вас и которое в свой черед обогатит вас, когда вы его постройте. Один-единственный способ. Его задолго до нас изобрели самые древние религии. На нем основывается дух любой религии. Дух любого общества. Это, можно сказать, самое надежное средство. Люди позабыли его с развитием материального прогресса. Это средство — жертва. Причем под жертвой я подразумеваю не отказ от жизненных благ, не покаянный жест отчаяния. Я подразумеваю под жертвой безвозмездный дар. Дар, ничего не требующий взамен. Вас формирует не то, что вы получаете, а то, что вы отдаете. Усилия, которые вы отдаете обществу, формируют общество. А оно делает богаче вас самих.

Да, человечеству было необходимо вырвать человека из рабства, обеспечить ему право на плоды его труда, поэтому мы стали уделять такое внимание труду, подразумевающему обмен. Труд обменивается на товар. Однако мы не должны забывать, что труд приносит нам не только плату, но, главное, делает нас духовно богаче. В хирурге, физике, садовнике больше человеческого, чем в игроке в бридж. Одна сторона труда кормит нас, другая созидает. Созидает самоотдача.

И Дороти Томпсон призывает вас отдавать. Она призывает вас созидать ваше общество. Трудясь безвозмездно на благо воюющих Соединенных Штатов, вы поможете строить общество Соединенных Штатов. А еще вы постройте ваше братство.

Я хотел бы поделиться собственным опытом.

Восемь лет я был летчиком гражданской авиации. Я получал плату. Каждый месяц я мог благодаря заработанным деньгам позволить себе кое-какие желанные блага. Но если бы труд гражданского летчика обеспечивал мне только эти определенные выгоды, за что бы мне было так его любить? Он дал мне гораздо больше. Признаюсь вам: на самом деле он сделал меня богаче только потому, что я отдал больше, чем получил. Богачом я был не в те ночи, когда просаживал заработанные деньги, а в те, когда в два часа пополудни в Буэнос-Айресе — мы тогда прокладывали трассы в тех краях — я, бывало, только засну, измотанный чередой полетов, из-за которых тридцать часов не смыкал глаз, как вдруг меня выдергивает из постели беспощадный телефонный звонок, извещающий о какой-нибудь далекой аварии: «Срочно на аэродром... нужно лететь к Магелланову проливу...» И я с проклятиями вылезал из постели в зимнюю стужу. Накачивался черным кофе, чтобы не клевать носом в полете. Час езды в машине по наспех проложенным дорогам, грязным, ухабистым, — и я на летном поле, вместе с

товарищами. Я молча пожимал им руки, еще не до конца проснувшийся, угрюмый, скрюченный ревматизмом, который так легко подхватить зимой после одной-двух бессонных ночей... Я запускал двигатели. Читал метеосводки, словно протоколы будущих неприятностей: грозы, иней, снег... И отрывался от земли, и летел в темноту, навстречу хмурому рассвету.

И вот, перебирая в уме события, которые были для меня самыми важными в жизни, я понимаю, что дорожу только воспоминанием об этих тяжелых трудах. Их сияющий след потрясает меня. Я помню, как чувствовал в последние предракетные часы, что все мы — братья по оружию. Рукопожатия, перебранки — как странно, что все это оставило во мне глубокий след, сравнимый разве что с памятью о любви. Поиски пропавших товарищей, ремонт отставшего самолета, невыносимая усталость — именно этой части труда обязан я своим рождением, пусть даже и не понимал тогда, как это важно. А от ночей, когда я транжирил свой заработок, остался только пепел.

Я никогда не получал ничего существенного за свой труд, если рассматривать его как продукт обмена по километражному тарифу, принятому в гражданской авиации. Мой труд пропал бы впустую, если бы он просто давал мне средства к существованию и не приносил чувства моей причастности «к» чему-то. Летчик причастен «к» авиации, садовник — «к» саду, архитектор — «к» собору, солдат — «к» Франции. Прокладка новых трасс делала наши сердца богаче, потому что требовала от нас жертв. Трасса рождалась из наших жертв. А благодаря ей рождались и мы. Теперь, если я повстречаю кого-нибудь из товарищей, я могу сказать ему: «Помнишь?..» Это были прекрасные времена, потому что, связанные общими жертвами, мы любили друг друга.

Антуан де Сент-Экзюпери

1942

## ПИСЬМО ОДНОМУ ИЗ ПРОТИВНИКОВ

[без даты: 1942 г.?]

Мой дорогой друг,

Письмо мое будет несколько сухим. Дело в том, что я люблю ясность. Не вижу смысла тратить силы на сочинение фраз, которые тем цветистее, чем больше в них яду. Мне скучно играть намеками; впрочем, не меньшую скуку навеивает и другая крайность — многословный поток проклятий. Не хочу ни оскорблять, ни проклинать, ни намекать.

(...) Ах, мой бедный друг, я лучше уйду в монастырь траппистов\*, чем выдержу хотя бы сутки в том обществе последователей Корана, которое вы пытаетесь нам навязать\*, в обществе, где человека ценят не за суть, а за послужной список, где вместо сердец — манифесты, где соседи по лестнице возводятся в ранг доносчиков и судей, где нет уважения к внутреннему миру, где вы похваляетесь, что очищаете и оздоравливаете личность, а сами постоянно убиваете ее всеми доступными вам средствами, чтобы потом разложить ее потроха на солнышке на всемирной барахолке.

## ПИСЬМО ЛЬЮИСУ ГАЛАНТЬЕРУ

(Написано жирным карандашом)

[январь 1942 г.]

Дорогой Льюис,

Не сердитесь на меня за дурное настроение, которое наверняка просквозит в моем письме. Мое недовольство относится

совсем не к вам. Вас я нежно люблю. Но меня трясет от злости. Необходимо дать ей выход.

Что это там за история с датой? \* Что за судьба у меня — вечно утыкаться в дату, якобы совершенно достоверную, а в сущности, вздорную, потому что, случись мне начать свою книгу на полтора месяца позже — и эта столь убедительная дата перенеслась бы на те же полтора месяца. При этом ее можно было бы украсить теми же оправданиями с точки зрения чистой логики.

Почему вы хотите, чтобы я презирал сам себя и, что одно и то же, пренебрегал своей работой? Я думаю, что плотник должен строгать доску так, словно именно от нее зависит вращение Земли. Для человека пишущего это тем более справедливо. Почему вы хотите, чтобы из-за глупейшей истории с датой я а priori<sup>1</sup> махнул на себя рукой и решил: «Будь я господин Паскаль, мое произведение имело бы право быть написанным, а сам я — право на самовыражение. Но поскольку я — всего лишь я, то не все ли равно, удастся мне себя выразить или нет? Пожалуй, то, что пишет какой-нибудь зануда в «Нью-Йорк таймс», достойно куда большего интереса: Сочинение мое — дрянь, и я только из тщеславия приписываю ему некоторые достоинства!»

Раз уж я пишу, меня должно заботить то, что будут думать о моем сочинении и что станет с ним через десять лет, а не то, что подумает о нем 22 февраля некая темная личность с неразвитым вкусом, на которую мне, право же, наплевать. Если я сам доволен своим стихотворением, какое мне дело до того, что его услышат или прочтут через сорок лет после моей смерти, а не раньше? Лубочный образ непонятого поэта, которого людская несправедливость обрекла на нищету, чтобы через сто лет воздать ему должное, всегда представлялся мне глупым и сентиментальным. Да ведь поэт — счастливчик! Не придет же мне в голову сокрушаться об участи угрей, которые мечут икру в Саргассовом море и никогда не увидят своего потомства!

Одно из двух: или моя писанина хороша и когда-нибудь ее прочтут — мне равным счетом наплевать, когда именно; или она никуда не годится и привлечь к ней внимание современников может только шумиха — и тогда мне точно так же наплевать, будут ее читать или не будут.

Деньги — разумеется. Мне нужны деньги *et caetera*<sup>2</sup>. Мне они просто необходимы, и я радуюсь, когда их получаю, но смешивать две разные точки зрения для меня совершенно немыслимо. Во мне уживаются два вида эгоизма, из которых один решительно преобладает. Я ничего не могу купить на деньги такого, что стоило бы дороже, чем удовольствие сказать

<sup>1</sup> Заранее (лат.).

<sup>2</sup> И прочее, и так далее (лат.).

то, что хотел. Если я жертвую самовыражением во имя денег, я сам себя облапошиваю.

По мне, пусть лучше будет продано сто экземпляров книги, за которую я не краснею, чем шесть миллионов экземпляров пачкотни. Это не что иное, как правильно понятый эгоизм, потому что сто экземпляров действуют сильнее, чем шесть миллионов. Обоожествление количества — очередной современный миф. Наибольшим влиянием пользуются именно самые труднодоступные журналы; если бы «Рассуждение о методе» \* прочли в XVII веке всего двадцать пять человек, все равно оно преобразило бы мир. «Пари-суар», хоть и потребляет ежегодно прорву бумаги и расходуется двухмиллионным тиражом, еще ничего никогда не преобразила.

Вам, конечно, покажется глупым, что я наговорил все это по поводу явно анекдотического рассказа, притом несколько не заблуждаясь насчет его «всемирной» ценности, но это противоречие ничуть меня не смущает: пиши я хоть статейки по садоводству, мое мнение было бы таким же. Мы существуем в наших книгах. Речь о том, чтобы существовать достойно. Вот и все.

И не уверяйте меня, что я, мол, не прав, что произведение мне удалось и править его почти не придется. Моя правка почти не затронет элементов чистого вымысла. Это уж точно. Но я в корне изменяю силу их воздействия. Это не коснется ни материала, ни внешней формы изложения. Такие перемены только тогда и начинают жить, когда непонятно, в чем они состоят. И я прекрасно знаю, что нужно изменить. Я буду править то, что с трудом поддается определению: «жизненность» сказанного мною. «Wind, Sand and Stars» <sup>1</sup> \* покупают до сих пор именно потому, что я все разрушил, когда приехал. Это я хорошо понимаю. Недаром же я столько написал. Мнимой значительностью никого не проведешь. Если в недолговечной газетной шумихе мне случается с опозданием на три года услышать отголоски какой-нибудь моей статьи, это непременно оказывается та самая статья, которую я перемарывал раз тридцать. Если я натыкаюсь где-нибудь на цитату из своей книги, непременно оказывается, что цитируют именно ту фразу, которую я переписывал сто двадцать пять раз. Трудно углядеть явную, ощутимую разницу между первой и последней редакциями. Бывает, что последняя даже беднее красотами стиля — зато она успела вызреть. Она — зерно. А первая была игрушкой на день. Насчет этого я никогда, никогда не обманывался.

Я согласен с вами, что вряд ли через десять лет буду мыслить яснее, чем сейчас, и ждать еще десять лет не имеет смысла. Это бесспорно. Самовыражаться надо в настоящем, но я как раз в настоящем себя и не выразил. Я, сегодняшний, стою больше, чем мои сочинения. А не вложить себя в свой

<sup>1</sup> «Ветер, песок и звезды» (англ.).

труд—это для меня недопустимое малодушие. Во имя какого мифа я должен халтурить? Охотно соглашусь, что, когда пишешь небольшую книжку, не следует нарушать общепринятые сроки, но скажите на милость, разве я нарушил эти сроки? Я потратил на эту работу меньше восьми месяцев. Для меня это рекорд скорости.

Ваше сегодняшнее чтение нравится вам больше, чем то, что вы читали вчера? То же самое будет и завтра. У моей книжки есть свой предел. Ее предел—это я, каков я есть в 1942 году. Вы вправе думать, что я ее порчу, только в том случае, если две идущие одна за другой редакции более или менее равноценны. В нашем случае это не так. Где критерий, который позволил бы вам утверждать, что в этой редакции наконец виден я? Разница (sic) заметна только мне.

Остается вопрос: а как же Франция? Ну, что до числа читателей, то оно не имеет никакого значения, и мне на это плевать. Мнения не рождаются в толпе. Мнение—это взаимное влияние двоих. Иногда и одного понимающего читателя бывает достаточно.

Если вы имеете в виду животрепещущую злобу дня, то я понимаю вас еще меньше. Все это не более чем прекрасное заблуждение, ведь то, что будет злободневно послезавтра, тоже окажется дьявольски срочным. А события, которые произойдут в конце марта 1957 года! Для людей 1957 года они будут бесконечно злободневны! То, что было насущной заботой в 1942 году, окажется вытеснено из сознания людей, несправедливо, быть может, но безжалостно вытеснено событиями 1957 года! С какой стати отдавать предпочтение одному либо другому? Перед смертью, трезво подытоживая и оценивая все, что было, я не отдам предпочтения ни тому времени, ни этому. Между прочим, у меня есть неопровержимое доказательство: ни разу, ни по какому поводу не пришлось мне пожалеть, что моя книга не вышла в свет неделей, месяцем, годом, полугодом раньше... Важно то, что есть сегодня. Через неделю будет важно что-нибудь совершенно другое, новое.

Ах, Льюис, как вы меня огорчаете!

Сент-Экс

## ПИСЬМО ЛЬЮИСУ ГАЛАНТЬЕРУ

[январь 1942 г.]

Дорогой Льюис,

А) Бронетранспортеры на странице 166\* неуместны, вдобавок это повторение страницы 72, где желательно дать подробную характеристику действия бронетранспортеров. Я их перенес и заменил отсылкой.

Б) Прилагаемые при сем снаряды—совсем не то, чего бы мне хотелось. Я не сумел сказать главное. Чтобы ухватить эту не



поддающуюся определению штуковину, надо было бы потратить недели две. Но я хотя бы избавился от некоторой бессвязности и напыщенности. Впрочем, пользы от этого, по-моему, немного. Не лежит душа.

В) Несколько мелких поправок:

стр. 165, 5-я строчка: вычеркните «спокойно»,

стр. 167, 22-я строчка: после слов «я нисколько не сомневаюсь» добавьте «в нашем спасении»,

стр. 173, 8-я строчка: замените «вновь обрету» на «восстановлю»,

стр. 172, сверху: «семена» (вместо «зерен». Слишком много зерен).

Конец приводит меня в отчаяние. Меня заставляют — господи, ну с какой стати! — заменить крик совести дурацким газетным красноречием. Я знаю, что я хочу сказать, что для меня главное. Я знаю, что достигну цели, если сумею убедить читателя стать на такую точку зрения, с которой ему естественно и неизбежно откроется это главное, — а меня под предлогом бо знает каких мифических сроков заставляют либо подменять предмет моего разговора какой-то пошлой дешევкой, либо оглуплять его пояснениями, то есть прибегать к самым что ни на есть неточным и бедным средствам выражения. Действие — единственное, неповторимое, исключительное — вот что позволяет стать на такую точку зрения, благодаря которой все располагается в должном порядке и в которой растворяется автор. Точку зрения нельзя увидеть. Ее можно придерживаться. Истина, не содержащая в себе «точки зрения», — это либо дешевка, либо парадокс, который никого ни к чему не привлекает. Вдобавок это омерзительно скучно. От подобных философских рассуждений мухидохнут. И не зря. Все это никому не нужно.

Вы думаете, мне приятно, что в спешке я не дал плоду спокойно вызреть и был вынужден заменить слова, которые собирался сказать об ответственности, на всякую чепуху? Найди я нужные выражения, ничто вас не резануло бы: вы просто столкнулись бы с некой очевидностью и решили бы, что набрали на нее сами, — но тут-то вам и конец. Вы, сами того не зная, стали бы на всю жизнь моим пленником. На всю жизнь усвоили бы мое мнение.

Вместо этого вы, естественно, раздражены бессвязностью, непоследовательностью изложения и тем, что я имел наглость со всем этим вас ознакомить. Слово я показываю ребенка, погибшего еще в материнской утробе. А я, испытывая, естественно, угрызения совести — хоть мне никак не взять в толк, какая такая разница между апрелем и маем 42-го года, — я вымарываю то, что должен был сказать, ради того, чтобы добиться более гладкого изложения, какое, в сущности, мог бы представить вам и в возрасте пяти лет. И впрямь, стоило ли так уж лезть из кожи вон, выпутываться из стольких болезней,

аварий, испытаний, любовных приключений, историй с налогами и прочих пакостей, чтобы, ни на шаг не продвинувшись вперед, удовлетвориться повторением того, чему научила меня еще нянька! Не вижу ни малейшей необходимости твердить в мае 42-го года то, что было очень хорошо известно еще в 1900-м. С этим можно бы повременить и до 2000 года. Более того, это бы уже подзабылось и могло бы сойти за нечто оригинальное.

Я совсем выдохся. Написал 200 страниц за шесть дней. При этом не продвинулся вперед ни на шаг. Ничто в мире не заменит времени. Нужно время, чтобы выращивать груши, растить детей и формировать точки зрения. В следующий раз я напишу для Рейхича\* рассказ. Опишу любовь прелестной блондинки и гусара. Если Ламотт\* вставит что-нибудь от себя, буду очень рад.

Я тоскую, как горячий камень (между прочим, звучит парадоксально). Сейчас семь утра.

Ваш друг  
Сент-Экс

## ПИСЬМО X.

[февраль 1942 г.]

Ангельское мое Перышко,

Мне так надо тебя увидеть. Я устал. Взвалил себе на плечи очень уж тяжкую ношу; избавиться от нее без угрызений совести я не могу, а нести ее трудно до изнеможения: странная штука совесть! (...)

Книжка моя вот-вот выйдет\*. Как всегда, клевета и зависть уже наготове. Ты легко можешь себе вообразить, как взволновалась вся эта шушера — нью-йоркские поддельные французы\*. Я по тысячам признаков замечаю, как начинает бурлить это болото... Ах, Ангельское Перышко, до чего мне тоскливо, противно, и до чего я устал!

Так-то, мой медвежонок. Я не обольщаюсь насчет своей книжки, ты не думай. Я писал ее в состоянии внутренней несобранности. Мне не удалось сказать то, что я хотел. Умоляю тебя, дай телеграмму, как только получишь ее и прочтешь. Я тебе тут же позвоню. Но ты сразу сообщи мне хоть что-нибудь в телеграмме! Если тебе покажется, что это ужасно, — так и скажи: я ведь, кажется, не тщеславен.

Крепко целую тебя, Ангельское Перышко.

Антуан

## ФРАНЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО\*

Немецкая ночь заволокла всю нашу землю\*. До сих пор нам еще удавалось узнать что-нибудь о тех, кто нам дорог. Нам еще удавалось напомнить им о нашей любви, хоть мы и не могли разделить с ними их горький хлеб. Нам было слышно издали их дыхание. С этим покончено. Теперь во Франции царит безмолвие. Она затерялась где-то там, в ночи, словно корабль с потушенными огнями. Все, что в ней есть сознательного, духовного, притаилось в самых ее недрах. Мы не знаем ничего, не знаем даже имен заложников, которые завтра будут расстреляны немцами.

В подземельях, среди угнетенных рождаются на свет новые истины. Так давайте не будем бахвалиться. Там — сорок миллионов французов, обращенных в рабство. Нам ли нести духовный огонь тем, кто питает его собственной плотью, словно свеча воском! Они лучше нашего разберутся в том, что нужно Франции. Право на их стороне. Все наши разглагольствования о социологии, политике и даже об искусстве ничего не стоят по сравнению с их мыслью. Они не станут читать наши книги. Они не станут слушать наши речи. От наших идей их, чего доброго, стошнит. Мы должны вести себя бесконечно скромнее. Наши политические дискуссии — это дискуссии призраков, наши притязания просто смешны. Мы не представители Франции. Мы можем только служить ей\*. Что бы мы ни сделали, у нас нет никакого права на ее благодарность. Открытый бой невозможно сравнить с ночным бандитским налетом. Ремесло солдата невозможно сравнить с ремеслом заложника. Только те, кто там, — истинные святые. Даже если нам вскоре выпадет честь сражаться, все равно мы останемся в долгу. Мы все в долгу как в шелку. Это первая и незыблемая истина.

Давайте же объединимся ради общего служения, французы.

Для начала я скажу несколько слов о расприх, разобивших нас; надо искать против них лекарство. Потому что на Францию напала хворь. Тяжкая хворь. Многие из нас, кого мучит больная совесть, нуждаются в исцелении. Пусть же они исцелятся. Благодаря такому чуду, как вступление в войну американцев, самые разные пути сходятся на едином перекрестке. К чему нам вязнуть в старых расприх? Нужно объединять, а не разделять, раскрывать объятия, а не отталкивать.

Разве наши распри — причина для ненависти? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что он во всем прав? Человек располагает чрезвычайно узким полем зрения. Язык — орудие несовершенное. Жизнь ставит такие проблемы, от которых все формулы трещат по швам.

Будем же беспристрастны. Член бюро парижского муниципалитета под давлением острой необходимости был вынужден вступить в переговоры с победителем о том, чтобы Франция получила подачку — немного смазки для наших железнодорож-

ных вагонов (у Франции нет больше ни бензина, ни даже лошадей, а ей нужно кормить свои города). Позже офицеры из комиссии по перемирию\* опишут нам этот постоянный свирепый шантаж. Четверть оборота ключа, регулирующего поставку этого продукта,—и за полгода умрет на шесть тысяч детей больше. Когда гибнет расстрелянный заложник—честь ему и слава. Его гибель—цемент, скрепляющий единство Франции. Но когда немцы, просто-напросто задержав поставку смазки, истребляют сто тысяч пятилетних заложников, ничто не искупит этого медленного, безмолвного кровотоечения.

Кроме того, для вас не секрет, что если бы Франция расторгла соглашение о перемирии, то с юридической точки зрения это было бы равносильно возврату к состоянию войны. А возврат к состоянию войны дает оккупантам право брать в плен всех мужчин, подлежащих мобилизации. Этот шантаж лег на Францию тяжким бременем. Угроза была самая что ни на есть недвусмысленная. С немецким шантажом шутки плохи. Немецкие лагеря—это фабрики, продукция которых—трупы. В сущности, нашей стране грозило полное истребление, под видом законных административных мер, шести миллионов взрослых мужчин. Безоружная Франция не могла голыми руками сопротивляться этой охоте на рабов.

И вот наконец союзники в семьдесят шесть часов высаживаются в Северной Африке, и это доказывает, что Германия, несмотря на самый свирепый шантаж, за два года террора не сумела полностью заблокировать эту самую Северную Африку. Кое-где во Франции крепко давало о себе знать Сопротивление. Победа в Северной Африке была, быть может, одержана отчасти и нашими пятьюстами тысячами погибших детей.

Ах, французы, стоит нам свести наши расхождения к их истинным размерам—и этого достаточно, чтобы всем нам заключить между собой мир. Нас никогда ничего и не разделяло, кроме взглядов на значение нацистского шантажа.

Одни думали так: «Если немцы вздумают уничтожить французский народ, они его уничтожат, несмотря ни на что. Шантаж надо презирать. Ничто не влияет ни на решения, ни на высказывания правительства Виши».

Другие думали так: «Мы имеем дело не с простым шантажом; мы имеем дело с таким лютым шантажом, равного которому не бывало в истории человечества. Франция, не идя на уступки в главном, только и может что хитрить на словах, чтобы отсрочивать со дня на день свое уничтожение».

Французы, неужели, по-вашему, эти разные мнения об истинных намерениях бывшего правительства—повод для взаимной ненависти? Как бы ни расходились мы во мнениях, мы едины в общей нашей ненависти к захватчику. Кроме того, эти расхождения стали менее ощутимыми уже тогда, когда дорвавшийся до власти Лаваль выдал нацистам еврейских беженцев\*. Солидаризируясь со всем французским населением, мы считаем

право убежища священным. Итак, теперь существовавшие между нами распри стали беспредметными: режим Виши мертв.

Виши унес с собой в могилу свои неразрешимые вопросы, свои противоречия, свою откровенность и свои хитрости, свои подлости и свою лихость. Давайте заранее уступим роль судей историкам и военным трибуналам, чье время придет после войны. Сейчас важнее служить Франции, а не спорить о ее истории.

Тотальная немецкая оккупация разрешила все наши споры и облегчила нам муки совести. Хотите примириться друг с другом, французы? Нет больше ни малейшего повода для раздоров. Давайте откажемся от партийных пристрастий. Во имя чего нам ненавидеть друг друга? Для чего нам завидовать друг другу? Дело ведь не в том, кому какая должность достанется. Дело ведь не в борьбе за должности. Единственные вакантные должности сейчас — солдатские, да еще, может быть, покойные лежа на каком-нибудь скромном кладбище в Северной Африке.

По французским законам, человек подлежит призыву в армию до сорока восьми лет. Мы все должны быть призваны, от восемнадцатилетних до сорокавосемилетних. Речь уже не о том, чтобы у нас спрашивали, хотим мы или не хотим принести себя в жертву. Чтобы склонить чашу весов, нужно призвать нас всех вместе усесться на эту чашу, вот и все.

И все-таки, даже если признать наши старые распри не более чем распри историков, нашему единству грозит и другая опасность. Французы, давайте наберемся мужества, чтобы ее превозмочь. Многие из нас беспокоятся о том, чтобы нас возглавил именно тот вождь, а не иной\*. Чтобы восторжествовал именно тот строй, а не этот. Им уже мерещится на горизонте призрак несправедливости. Зачем осложнять себе жизнь? Сейчас не время бояться несправедливости, не время думать о личном. Если каменщик отдает все силы возведению собора, собор не причинит ему зла. От нас требуется только одно: чтобы мы воевали. Я чувствую, что надежно защищен от всякой несправедливости. Неужели кто-нибудь может обойтись со мной несправедливо из-за того, что я лелею единственную мечту — вновь обрести в Тунисе товарищей по группе 2/33, с которыми жил вместе девять военных месяцев, а потом было беспощадное наступление немцев, стойвшее нам двух третей наших экипажей, а потом бегство в Северную Африку накануне перемирия. Французы, хватит нам спорить о старшинстве, о почестях, о справедливости и о том, кто главнее. Ничего этого нам не предлагают. Нам предлагают винтовки. Их хватит на всех.

Я бесконечно спокоен и обязан этим спокойствием тому, что не чувствую ни малейшего призвания играть роль судьи. Общность, к которой я примыкаю, — не партия и не секта: это

моя родина. Временное общественное устройство Франции — дело французского государства. Уж об этом-то позаботятся Англия и Соединенные Штаты. Наша задача — нажимать на гашетку пулемета, а потому не будем беспокоиться о вопросах, которые предстоит решить потом. Истинный наш вождь — Франция, обреченная на молчание. Будь прокляты все партийные, клановые и прочие розни!

Мы желаем теперь только одного (и мы вправе высказать это желание, поскольку оно всех нас объединяет) — подчиняться не политическим вождям, а военным, потому что честь, отдаваемая солдатом солдату, возвеличивает не того солдата, кому отдали честь, не партию, а Народ. Мы знаем, что такое власть для генерала де Голля и генерала Жиро: для них это служение. Они первые из тех, кто служит. И этого нам достаточно, потому что все распри, которые еще вчера могли нас остановить, сегодня потеряли значение или вовсе исчезли.

Вот, по-моему, итог, к которому мы пришли. Необходимо, чтобы наши друзья в Соединенных Штатах увидели истинное лицо Франции. Сейчас она представляется всему свету каким-то осиным гнездом. Это несправедливо. Слышно одних спорщиков. Молчуны не делают много шума...

Я предлагаю всем французам, молчавшим до сих пор, засвидетельствовать г-ну Корделлу Хэлу\* наше истинное настроение; для этого мы должны один-единственный раз нарушить молчание и отправить ему — каждый от своего имени — такую телеграмму:

*«Просим оказать нам честь, предоставив любую возможность служить. Желаем военной мобилизации всех французов, находящихся в Соединенных Штатах. Заранее согласны на любую организацию, которая будет признана целесообразной. Поскольку всякий раскол среди французов нам ненавистен, мы хотим, чтобы эта организация оставалась вообще вне политики».*

Они там в государственном департаменте будут поражены тем, как много французов выскажется за единство. Что бы о нас ни думали, большинство из нас в глубине души питает лишь любовь к нашей цивилизации и к нашей родине.

Отричем все раздоры, французы. Когда мы на борту бомбардировщика заспорим с пятью или шестью «мессершмиттами», наши бывшие споры покажутся нам смехотворными. Когда в 1940 году я возвращался с задания в изрешеченном пулями самолете, я с наслаждением пил превосходное перно в баре нашей эскадрильи. И выигрывал в кости рюмку перно то у товарища-роялиста, то у товарища-социалиста, то у лейтенанта Израэля\*, еврея, который был отважнее нас всех. И мы пили вместе, чувствуя, как бесконечно дороги друг другу.

## ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ

[Нью-Йорк, 8 декабря 1942 г.]

Я знаю, почему я ненавижу нацизм. Прежде всего потому, что он разрушает надежность человеческих отношений. ... Я прожил годы в пустыне, среди лишений, но там я был счастлив: у меня были верные товарищи. (...)

В наши дни мир необъяснимым образом отказывается от того, что составляет его величие... Нацисты объявили евреев символом низости, продажности, предательства, наживания на чужом труде и своекорыстия; их возмущали попытки заступиться за евреев. Они обвиняли заступников в том, что они, мол, желают сохранить в мире продажность, предательство и своекорыстие. Это возвращает нас в эпоху дикарских тотемов.

А я отвергаю эти стадные чувства, отвергаю эту мнимую простоту в духе Корана, отвергаю поиски козлов отпущения. Я отвергаю высшие цели святейшей инквизиции. Я отвергаю пустые слова, из-за которых бесполезно проливаются реки людской крови (...).

Я недорого ценю физическую смелость; жизнь научила меня, что такое истинное мужество: это способность противостоять осуждению среды. Я знаю, что, когда я фотографировал с воздуха Майнц или Эссен\*, от меня требовалось иное мужество, чем то, которое заставило меня вынести два года оскорблений и клеветы\*, но не свернуть с пути, подсказанного совестью. (...)

1943

## ПИСЬМО ЗАЛОЖНИКУ \*

### I

В декабре 1940 года, по дороге в Америку, я проезжал через Португалию, и Лиссабон показался мне каким-то грустным и светлым раем. В ту пору там было много разговоров о неминуемом вторжении, и Португалия судорожно цеплялась за свое призрачное счастье. В Лиссабоне устроили великолепную, невиданной прелести выставку, и столица улыбалась через силу — так улыбается мать, когда нет вестей от сына с войны, стараясь его спасти своей верой: «Мой сын жив, ведь я улыбаюсь...» Вот и столица Португалии словно говорила: «Смотрите, я так безмятежна, я такая мирная и светлая...» Весь материк нависал над Португалией, словно угрюмая гора, где рыщут орды хищников, а праздничная столица бросала Европе вызов: «Разве можно на меня напасть, ведь я так стараюсь не прятаться! Ведь я так незащищена!..»

У меня на родине города по ночам были серые, как пепел. Я отвык там от света, и при виде сияющего огнями Лиссабона беспокойно и смутно становилось у меня на душе. Когда предместье окутано тьмой, бриллианты в чересчур ярко освещенной витрине привлекают грабителей. Чувствуешь, как они подбираются ближе. Я чувствовал — над Лиссабоном нависает ночь Европы и в ночи кружат стаи бомбардировщиков, точно они издали почуяли драгоценную добычу.

Но Португалия силилась не замечать алчного чудовища. Она не хотела верить зловещим знамениям. Вверяясь самообману отчаяния, она говорила только об искусстве. Неужели ее посмеют раздавить — ее, служительницу искусства? Она извлек-



да на свет все свои чудеса—неужели ее посмеют раздавить среди таких чудес? Она выставила напоказ своих великих людей. Пусть у нее нет армии, нет пушек—от железа и стали захватчика она заслонила часовыми из камня: своими поэтами, своими землепроходцами и первооткрывателями. Пусть у нее нет армии, нет пушек—захватчику преградит дорогу ее прошлое. Неужели ее посмеют раздавить—ее, наследницу столь славного прошлого?

Каждый вечер я в невеселом раздумье бродил по этой прекрасной выставке; то был образец тончайшего вкуса, все здесь было на грани совершенства, даже музыка—неброская, выбранная с таким тактом, она струилась среди садов мягко, скромно, будто бесхитростная песня родника. Неужели погубят это удивительное чувство гармонии?

И через силу улыбающийся Лиссабон казался мне еще грустней моих погасших городов.

Я знал—быть может, знали и вы—немного странные семьи, где за столом сохраняют место умершего. Здесь отвергают непоправимое. Но мне кажется, этот вызов судьбе не утешает. Надо признать, что мертвые—мертвы. И тогда мы вновь, хоть и по-иному, ощущаем их присутствие. А в таких семьях им мешают возвратиться. Из умерших делают вечных изгнанников, гостей, которые навсегда опоздали к трапезе. Траур здесь променяли на ожидание, лишенное смысла. Мне казалась, такие дома поражены неисцелимым недугом, который душит сильнее, чем горе. О господи, смирился же я и надел траур, когда потерял Гийоме, последнего моего друга (он разбился со своим почтовым самолетом). Гийоме уже не переменится. Никогда больше он меня не навестит, но и не покинет меня никогда. Я пожертвовал бесполезной ловушкой—его прибором за моим столом—и в умершем вновь обрел настоящего друга.

А Португалия пыталась верить в счастье, сохраняла его прибор за столом, его праздничные фонарики, его музыку. Лиссабон прикидывался счастливым в надежде, что и господь бог поверит в это счастье.

Самый воздух Лиссабона казался еще тягостней из-за иных беженцев. Я говорю не об изгнанниках, которые искали здесь убежища. Не о переселенцах, искавших землю, которую они могли бы возделывать своими руками. Я говорю о тех, кто покинул родину, оставил в беде соотечественников, лишь бы спасти свой кошелек.

Мне не удалось поселиться в самом Лиссабоне, и я жил в Эшториле\*, подле казино. Я попал сюда прямо из пекла: девять месяцев подряд моя авиагруппа непрерывно летала над Германией и только за время немецкого наступления потеряла три четверти летного состава. Потом я возвратился на родину, ощутил угрюмую тяжесть неволи и угрозу голода. Я изведal непроглядную ночь, которая придавила наши города. А теперь

в двух шагах от меня казино Эшторила каждый вечер наполняли привидения. Неслышные «кадиллаки», притворяясь, будто им есть куда спешить, подкатывали по мельчайшему песку и высаживали их у подъезда. Привидения красовались в вечерних туалетах, совсем как в былые времена. Они щеголяли крахмальными манишками или жемчугами. Они приглашали друг друга на обеды и ужины, но то было застолье статистов: им не о чем было говорить.

Потом они играли в рулетку или в баккара, смотря по деньгам. Иногда я заходил на них взглянуть. Глядел не с возмущением и не с насмешкой, но со смутной тревогой. Так тревожно бывает глядеть в зоологическом саду на последних потомков какой-нибудь вымершей породы. Они рассаживались вокруг столов. Теснились поближе к бесстрастному крупье и лезли вон из кожи, лишь бы ощутить надежду и отчаяние, испуг, зависть и ликование. Как будто они живые. Играли на состояния, которые в эту самую минуту, быть может, обращались в пустой звук. Расплачивались монетой, быть может уже обесцененной. Акции, запертые в их сейфах, обеспечивались заводами, которые, может быть, уже конфисковали оккупанты или вот-вот разнесет в пыль авиабомба. Эти люди выдавали векселя на Сириус. Цеплялись за прошлое, словно в последние месяцы ничто в мире не рушилось, и пытались верить, будто они вправе предаваться игорной лихорадке, будто чеки их надежно обеспечены и договоры заключены навечно. Это было как во сне. Какой-то кукольный театр. И это было грустно.

Конечно же, они ничего не способны были ощутить. Я уходил от них. Шел на взморье глотнуть свежего воздуха. И мне казалось, что море Эшторила, курортное прирученное море, тоже участвует в их игре. Оно влачило по заливу одну-единственную вялую волну, и волна сверкала под луной, как шлейф бального платья, совсем не к месту и не ко времени.

На борту парохода я опять их встретил, этих беженцев. И пароход тоже вызывал неясную тревогу. Он переправлял их—растения без корней—с одного материка на другой. Я говорил себе: «Хочу быть путешественником, не хочу быть эмигрантом. На родине я научился многому, что будет бесполезно в чужих краях». Но вот эмигранты достают из карманов записные книжки—последние приметы их былой причастности к подлинному миру. Они еще притворяются живыми. Из всех сил стараются придать себе вес.

— Знаете, я такой-то,—говорят они.—Я из такого-то города... Друг такого-то... знакомы вы с таким-то?

И рассказывают про какого-нибудь приятеля, или про какие-то свои обязательства, или какой-то промах—про что угодно, лишь бы эта история помогла им хоть с чем-нибудь установить связь. Но все связи с прошлым распались, ибо эти

люди покинули родину. Прошлое еще дышит теплом, оно еще так свежо, так живо—таким бывает вначале воспоминание о любви. Собираешь в пачку письма, полные нежности. Присоединяешь к ним милые сердцу памятки. Заботливо все это перевязываешь. И на первых порах такая святыня источает грустное очарование. А потом пройдет мимо светловолосая девушка с голубыми глазами—и святыня умирает. Ибо и старый приятель, и старые обязательства, и родной город, и память о доме—все выцветает, если ничему больше не служит.

И эмигранты это чувствовали. Как Лиссабон прикидывался безмятежным, так они прикидывались, будто верят в скорое возвращение. До чего безобиден уход блудного сына! Уход этот мнимый, ведь позади остался отчий дом. Уходишь ли в другую комнату или на другую сторону планеты, разница не так уж велика. Присутствие друга, который где-то далеко, подчас ощутимей, чем его присутствие во плоти. Такое чувство рождает молитва. Никогда я так не любил родной дом, как в пору, когда очутился в Сахаре. Никогда ни один жених не был ближе к своей нареченной, чем бретонские моряки, что в XVI веке огибали мыс Горн и отдавали свою молодость борьбе со встречным ветром. Едва они уходили в плаванье, для них уже начинался обратный путь. Загрубелыми руками поднимая паруса, они готовили свое возвращение. Самая короткая дорога из бретонской гавани к дому невесты вела вокруг мыса Горн. А вот эмигранты мне казались бретонскими моряками, у которых отняли оставленных в Бретани невест. Любимая уже не засветит для них в окне скромный огонек. Они отнюдь не блудные сыны. У этих блудных детей нет дома, куда можно было бы возвратиться. Вот тут-то и начинаются подлинныя скитания—скитания вне собственной души.

Как создать себя заново? Как распутать тяжелый клубок воспоминаний? Этот призрачный корабль, словно некое чистилище, нес на себе груз еще не родившихся душ\*. Живыми и подлинными, столь подлинными, что хотелось их коснуться, оставались только те, кто был неотделим от парохода, облагорожен настоящим делом,—кто разносил подносы с едой, драил медяшку, чистил обувь и с чуть заметным презрением обслуживал мертвецов. Команда смотрела на эмигрантов немного свысока вовсе не потому, что те были бедны. Им недоставало не денег, но весомости. Эмигрант уже не был членом такой-то семьи, другом такого-то, человеком с такими-то обязательствами. Каждый еще играл свою роль, но все это была неправда. Никто в них больше не нуждался, никто не ждал от них помощи. Какое чудо—телеграмма, которая переполошит тебя, глубокой ночью поднимет с постели, погонит на вокзал: «Приезжай! Ты мне нужен!» Друзья, готовые нам помочь, находятся быстро. Куда труднее заслужить друзей, которые ждут помощи от нас. Да, конечно, эти призраки не будили ничьей ненависти и зависти, никто им не докучал. Но никто и

не любил их по-настоящему. Я говорил себе: едва они сойдут на берег, их в знак сочувствия засыпят приглашениями на коктейли, на званые обеды. Но кто станет стучаться к ним в дверь, кто потребует: «Открой! Это я!» Долго надо молоком вскармливать младенца, прежде чем он сам начнет требовать грудь. Долго надо взращивать дружбу, прежде чем друг предъявит на тебя права. Поколение за поколением должно разориться, поддерживая обветшалый замок, который вот-вот рухнет, — тогда лишь научишься его любить.

## II

И я говорил себе: «Главное — чтобы где-то сохранялось все, чем ты жил прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный воспоминаний. Главное — жить для того, чтобы вернуться...» Я чувствовал: самая суть моя в опасности, оттого что так хрупки далекие магнитные полюсы, без которых я — ничто. Мне грозила опасность узнать доподлинную пустыню, и я начал постигать тайну, которая давно уже меня занимала.

Когда-то я прожил три года в Сахаре. И я, как многие другие, пытался постичь, чем же она завораживает и покоряет. Казалось бы, там только и есть, что одиночество и лишения, — но всякий, кому случилось побывать в пустыне, тоскует по тем временам, как по самой счастливой поре своей жизни. «Тоска по бескрайним пескам, тоска по одиночеству, тоска по простору» — все это лишь слова, литературные штампы, и ничего они не объясняют. А вот здесь, на борту парохода, битком набитого пассажирами, я, кажется, понял, что же такое пустыня.

Да, конечно, в Сахаре, сколько хватает глаз, видишь все тот же песок, вернее, обкатанную временем гальку (песчаные дюны там редкость). Там ты вечно погружен в неизменное однообразие скуки. И однако, незримые божества создают вокруг тебя сеть притяжений, путей и примет — потаенную живую мускулатуру. И уже нет однообразия. Явственно определяются знаки и вехи. И даже тишина всякий раз иная.

Бывает тишина мирная, когда утихает вражда племен и вечер приносит прохладу, и кажется — ты остановился в безмятежной гавани и спустил паруса. Бывает полуденная тишина, когда под давящим солнцем — ни мысли, ни движения. Бывает тишина обманчивая, когда замирает северный ветер, когда мотыльки и стрекозы — цветочная пыльца, взметенная из глубинных оазисов; — предвещают песчаную бурю с востока. И тишина недобрая, когда узнаешь, что в шатрах дальнего племени зреет заговор. И тишина загадочная, когда между арабами завязываются тайные переговоры. И напряженная тишина, когда ждешь гонца, а он все не возвращается. И пронзительная ночная тишина, в которую вслушиваешься затаив дыхание. И тишина, полная грусти, когда вспоминаешь тех, кого любишь.

Все тяготеет к полюсам. Каждая звезда указывает верный путь. Все они — звезды волхвов. Каждая служит своему богу. Вон та указывает путь к далекому, почти недостижимому роднику. И даль, что отделяет тебя от того родника, гнетет, точно крепостной вал. А эта указывает на родник, который давно иссяк. И сама эта звезда кажется иссохшей. И в пространстве, отделяющем тебя от пересохшего родника, дороги нет. А вон та звезда привела бы к неведомому оазису, который восхваляли кочевники, но дорога туда заказана: ее преграждают непокорные племена. И пески между тобою и тем оазисом — как заколдованная лужайка из сказки. Еще одна звезда ведет на юг, в белый город, он точно сладостный плод, так и тянет его отвесть. А та ведет к морю.

И наконец, магнитное поле пустыни порождает безмерно далекие, почти неправдоподобные полюсы: дом твоего детства, который и сегодня живет в памяти; друг, о котором только и знаешь, что он есть.

И ощущаешь себя в силовом поле: есть силы пронизывающие и животворные, они тебя притягивают или отталкивают, льнут к тебе или сопротивляются. И стоишь на земле твердо, уверенно и надежно, в самом средоточии важнейших путей и направлений.

Пустыня не дарит осязаемых богатств, здесь ничего не видно и не слышно, а меж тем внутренняя жизнь не слабеет, напротив, становится еще насыщенной, и волей-неволей убеждаешься, что человеком движут прежде всего побуждения, которых глазами не увидишь. Человека ведет дух. В пустыне я стою ровно столько, сколько стоят мои божества.

Так вот, если на борту того печального корабля я чувствовал, что богат и еще не утратил живительных связей, и еще не вымерла моя планета, — то лишь потому, что далеко позади, затерянные в ночи, окутавшей Францию, у меня остались друзья, и я начал понимать: без них я не существую.

Конечно же, Франция была для меня не бесплотным божеством и не историческим понятием, но живой плотью и опорой моей, сетью связей, которые направляли мою жизнь, системой магнитных полюсов, к которым тяготело мое сердце. И мне необходимо было чувствовать: они защищенной и долговечней, чем я, — те, кто мне нужен, как путеводная звезда, чтобы не сбиться с дороги. Чтобы знать, куда возвратиться. Чтобы не сгинуть.

В этих-то людях и умещалась сполна и через них жила во мне моя родина. Так для мореплавателя суша воплощена всего лишь в свете нескольких маяков. По маяку не измеришь расстояния. Просто его свет стоит перед глазами. И в этой путеводной звезде — все чудеса далекой суши.

И вот сегодня, когда Франция, теперь уже полностью

захваченная врагом, затерялась в безмолвии со всем своим грузом, словно корабль, на котором погашены все огни и неизвестно, уцелеет ли он среди бурь,—сегодня судьба тех, кого я люблю, терзает меня куда сильнее, чем любой одолевающий меня недуг. Оказывается, само бытие мое в опасности оттого, что мои любимые так беззащитны.

Тому, о ком так тревожно сегодня ночью твердит мне память, пятьдесят лет. Он болен. И он еврей. Уцелеет ли он среди ужасов немецкой оккупации? Чтобы представить себе, что он еще дышит, мне надо верить: захватчики о нем не подозревают, его укрыла надежная крепость—молчание крестьян приютившей его деревни. Тогда лишь я верю—он еще жив. Тогда лишь, далекий скиталец в необъятных владениях его дружбы, я могу чувствовать себя не эмигрантом, но путешественником. Ибо пустыня совсем не там, где кажется. В Сахаре несравнимо больше жизни, чем в столице, и людный город, полный суеты,—та же пустыня, если утратили силу магнитные полюсы жизни.

### III

Как же творит жизнь то силовое поле, которым мы живы? Откуда она, сила тяготения, которая влечет меня к дому друга? В какие решающие мгновения стал он одним из полюсов, без которых я себя не мыслю? Из каких неуловимых событий сплетаются узы вот такой неповторимой нежности и через нее—любовь к родной стране?

Нет, подлинные чудеса не шумны. И самые важные события очень просты. Случай, о котором я хочу рассказать, так неприметен, что мне надо вновь пережить его в воображении, надо говорить с тобою, друг мой.

Тот день, незадолго до войны, мы провели на берегу Соны, возле Турню. Позавтракать решили в ресторанчике, дощатая веранда его выступала над рекой. Мы уселись за простой деревянный стол, изрезанный ножами посетителей, и спросили два перно. Врач запретил тебе спиртное, но в особых случаях ты плутовал. А это, конечно, был случай особый. Мы сами не знали почему, но так уж оно было. Мы радовались чему-то столь же неосязаемому, как плоть светового луча. И ты решился выпить праздничный стаканчик перно. А в нескольких шагах от нас два матроса разгружали барку, и мы предложили им выпить с нами. Мы окликнули их сверху, с веранды. И они пришли. Просто взяли и пришли. Так естественно было их позвать—наверно, как раз потому, что в душе у нас, неизвестно отчего, был праздник. Конечно же, они не могли не отозваться. Итак, мы чокнулись!

Пригревало солнце. Теплым медом оно омывало тополя на

другом берегу и равнину до самого небосклона. Нам становилось все веселей, а почему—бог весть. Но так надежно, без обмана светило солнце и текла река, и трапеза наша была настоящей трапезой, и матросы пришли на зов, и служанка подавала нам так весело, приветливо, словно возглавляла празднество, которому не будет конца. Ничто не нарушало наш покой, от хаоса и смятения нас защищали прочные устои цивилизации. Мы вкусили некоего блаженства, казалось—все мечты сбылись и не осталось желаний, которые можно бы поверять друг другу. Мы чувствовали себя чистыми, прямодушными, мудрыми и снисходительными. Мы бы не сумели объяснить, что за истина открывалась нам во всей своей очевидности. Но нами владела необычайная уверенность. Уверенность почти гордая.

Так сама Вселенная через нас являла свою добрую волю. Уплотнялись звездные туманности, отвердевали планеты, зарождались первые амебы, исполинский труд жизни вел от амебы к человеку—и все так счастливо сошлось, чтобы через нас завершиться этой удивительной радостью. Право же, это настоящая удача.

Так мы наслаждались, мы без слов понимали друг друга, и наш пир походил на священнодействие. Служанка, будто жрица, скользила взад и вперед, ее движения убаюкивали нас, мы чокались с матросами, точно исповедовали одну и ту же веру, хоть и не сумели бы ее назвать. Один из матросов был голландец. Другой—немец. Когда-то он бежал от нацизма, в Германии его преследовали за то, что он был коммунист, а может быть, троцкист, или католик, или еврей (уже не помню, какой ярлык стал поводом для травли). Но в тот час матроса не определял никакой ярлык. Важна была сущность. Тесто, из которого слеплен человек. Он был просто друг. И всех нас соединило дружеское согласие. Ты был в согласии с нами со всеми. И я тоже. И матросы, и служанка. О чем мы думали так согласно? О стакане перно? О смысле жизни? О том, какой славный выдался день? Мы бы и это не сумели высказать словами. Но согласие наше было столь полным, столь прочным и глубоким, покоилось на законах столь очевидных в своей сути, хоть их и не вместить в слова, что мы готовы были бы обратить этот деревянный домишко в крепость, и выдержать в нем осаду, и умереть у пулемета, лишь бы спасти эту суть.

Какую же суть?.. Вот это как раз и трудно объяснить! Боюсь, что я сумею уловить не главное, а только отблески. Нередко слова бессильны, и, пожалуй, истина ускользнет. Не знаю, поймут ли меня, скажу одно: мы бы охотно пошли в бой, лишь бы спасти нечто в улыбке матросов, и твоей, и моей, и в улыбке служанки, спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет,—и победным завершением его трудов стала эта наша совсем особенная улыбка.

Самое важное чаще всего невесомо. Здесь как будто всего

важней была улыбка. Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благодарят. Улыбкой вознаграждают. Улыбкой дарят тебе жизнь. И есть улыбка, ради которой пойдешь на смерть. Эта особенная улыбка освобождала от гнетущей тоски наших дней, оделяла уверенностью, надеждой и покоем — вот почему, чтобы верней выразить мою мысль, я не могу не рассказать еще об одной улыбке.

#### IV

Это случилось в Испании, я там был корреспондентом в дни гражданской войны\*. Часа в три ночи я опрометчиво явился безо всякого разрешения на товарную станцию посмотреть, как грузят секретное оружие. В полутьме, в суете погрузки, моя дерзость, пожалуй, осталась бы незамеченной. Но я вызвал подозрения у ополченцев-анархистов.

Все вышло очень просто. Я и не слышал, как они, мягко, бесшумно ступая, окружили меня и вот уже обступили вплотную, будто сжалась осторожная рука. Дуло карабина легонько уперлось мне в живот, и молчание показалось мне торжественным. Наконец я догадался поднять руки.

Я заметил, что они пристально смотрят не в лицо мне, а на мой галстук (мода анархистского предместья не одобряла подобных украшений). И невольно съезжился. Я ждал выстрела — в те времена суд был скорый. Но выстрела не последовало. Несколько мгновений совершенной пустоты, все замерло, только грузчики двигались словно в каком-то неправдоподобном танце, где-то в ином мире... а затем мне кивком велели идти вперед, и мы не спеша зашагали через рельсы сортировочной станции. Меня захватили в полном безмолвии, без единого лишнего движения. Так действуют обитатели морских глубин.

Вскоре я очутился в подвале, где размещался теперь сторожевой пост. При чахлом свете убогой керосиновой лампы сидели еще ополченцы и дремали, зажав между колен карабины. Они равнодушно, вполголоса перекинулись несколькими словами с моими провожатыми. Один из них меня обыскал.

Я говорю по-испански, но каталанского не знаю. Все же я понял, что у меня спрашивают документы. А я забыл их в гостинице. Я ответил: «Гостиница... Журналист...» — но совсем не был уверен, что меня понимают. Из рук в руки переходила улика — мой фотоаппарат. Кое-кто из ополченцев, которые прежде зевали, устало обмякнув на колченогих стульях, теперь скучливо поднялся и прислонился к стене.

Да, всего отчетливей здесь ощущалась скука. Скука и сопливость. У этих людей словно уже не осталось сил хоть к чему-то отнестись со вниманием. Пусть бы уж они смотрели враждебно, все же и это — подобие человеческих отношений. Но меня не удостаивали ни малейшим знаком гнева или хотя бы



неодобрения. Несколько раз я по-испански пытался протестовать. Все протесты канули в пустоту. Слова мои не вызвали никакого отклика, на меня смотрели, как на рыбешку за стеклом аквариума.

Они ждали. Чего они ждали? Возвращения кого-то из своих? Рассвета? Я говорил себе: «Может быть, они ждут, когда захочется есть...»

И еще я говорил себе: «Экая будет глупость! Это же просто нелепо!..» Куда сильней тревоги было во мне другое чувство — отвращение к бессмыслице. Я говорил себе: «Сейчас они очнутся, захотят действовать, и меня пристрелят!»

Грозил ли мне и вправду опасность? Вправду ли они все еще не понимали, что я не диверсант и не шпион, а журналист? Что документы мои остались в гостинице? Решили они уже, как со мной поступить? Что они решили?

Я знал о них только одно: они ставят к стенке без особых угрызений совести. Застрельщики любых переворотов, к какой бы они партии ни принадлежали, преследуют не людей (человек сам по себе в их глазах ровно ничего не значит) — они ищут симптомы. Истина, не согласная с их собственной, представляется им заразной болезнью. Заметив подозрительный симптом, носителя заразы отправляют в карантин. На кладбище. Оттого таким зловещим казался мне этот допрос — опять и опять мне бросали односложные непонятные слова, и я не знал, о чем они. Шла игра вслепую, и ставкой была моя шкура. И еще от этого мне неодолимо захотелось доказать им, что я живой, настоящий, крикнуть что-то о себе, подтвердить подлинность моей судьбы какой-то весомой приметой. Хотя бы — сколько мне лет. Возраст — это не шутка! Он вмещает всю твою жизнь. Зрелости достигаешь так медленно, постепенно. Пока ее достигнешь, приходится одолеть столько преград, излечиться от столько недугов, сколько превозмочь горя, столько победить отчаяния, столько опасностей избежать, — а львиную долю их ты даже и не заметил. Зрелость рождается из столько желаний и надежд, из столько сожалений, забвения и любви. Твой возраст — какой же это груз опыта и воспоминаний! Наперекор всем препонам, ухабам и рытвинам, худо ли, хорошо ли, с грехом пополам движешься вперед, словно надежный воз. И вот благодаря сцеплению многих счастливых случайностей ты чего-то достиг. Тебе уже тридцать семь. И даст бог, надежный воз повлечет груз воспоминаний еще дальше. Итак, я говорил себе: «Вот к чему я пришел. Мне тридцать семь...» Хотелось обременить моих судей столь весомым признанием... Но меня больше ни о чем не спрашивали.

И тогда свершилось чудо. То было чудо очень скромное. Я не захватил с собой сигарет. И когда один из моих стражей закурил, я, сам не знаю отчего, слегка улыбнулся и знаком попросил у него сигарету. Сперва он потянулся, медленно провел рукой по лбу, поднял глаза, посмотрел уже не на мой

галстук, а мне в лицо—и, к моему немалому изумлению, тоже чуть улыбнулся. Это было как первый луч рассвета.

Чудо это не стало развязкой драмы, оно просто рассеяло ее—так свет рассеивает тьму. И драмы как не бывало. С виду ничто не переменилось. Убогая керосиновая лампа, бумаги, раскиданные на столе, прислонившиеся к стене люди, краски, запахи—все оставалось прежним. И однако, все преобразилось в самой своей сути. Эта улыбка дала мне свободу. Это был знак столь же несомненный, столь же ясно предвещал он череду событий и столь же был необратим, как восход солнца. Он открывал новую эру. Все оставалось по-старому—и все стало иным. Стол с беспорядочно раскиданными бумагами ожил. Ожила керосиновая лампа. Ожили стены. Будто некое волшебство развеяло скуку, которую источала в этом подземелье каждая мелочь. словно сызнова потекла по жилам незримая кровь, связуя все здесь воедино и всему возвращая смысл.

И те, кто был в комнате, не шелохнулись, но еще мгновенье назад они мне казались непостижимо далекими, словно допотопные чудища,—и вот возрождались к жизни близкой и понятной. С необыкновенной остротой я ощутил: все мы люди! Все мы живые! И я им сродни.

Юноша, который мне улыбнулся, только что был всего лишь исполнителем, орудием, частицей какого-то чудовищного муравейника—и вот, оказывается, он немного неловок, почти застенчив, и застенчивость эта полна обаяния. Едва ли этот террорист был менее груб, чем любой другой. Но в нем проснулся человек—и сразу стало ясно, что где-то в душе он беззащитно мягок! Мы, люди, так часто напускаем на себя неколебимую суровость, но втайне каждый изведal и колебания, и сомнения, и скорбь...

Ничего еще не было сказано. И однако, все было решено. Анархист протянул мне сигарету, а я благодарно положил руку ему на плечо. И теперь, когда лед был сломан, другие ополченцы тоже снова стали людьми, и я вступил в круг их улыбок, точно в раскрывшуюся передо мной привольную страну.

Я погружался в их улыбки, как когда-то—в улыбки наших спасителей в Сахаре. Товарищи искали нас несколько дней и наконец отыскали, приземлились как можно ближе, и шли к нам широким шагом, и размахивали руками, чтобы мы издали увидели: они несут нам бурдюки с водой. Улыбка спасителей, когда я терпел аварию, улыбка потерпевших аварию, которых спасал я, тоже вспоминается мне словно родина, где я был безмерно счастлив. Подлинная радость—это радость разделенная. И спасая людей, находишь эту радость. Вода обретает чудодейственную силу, лишь когда она—дар сердца.

Заботы, которыми окружают больного, убежище, дарованное изгнаннику, даже прощение вины только тогда и прекрасны, когда праздник этот озаряет улыбка. Улыбка соединяет нас

наперекор различиям языков, каст и партий. У меня свои обычаи, у другого свои, но мы исповедуем одну и ту же веру.

## V

И разве эта совсем особенная радость — не самый драгоценный плод нашей культуры? Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не насытишь благополучием и комфортом. Воспитанные в духе уважения к человеку, мы превыше всего ценим простые встречи, что превращаются порой в чудесные празднества...

Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот он, пробный камень! Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только себя. Он отвергает противоречия — основу созидания, а стало быть, разрушает всякую надежду на движение к совершенству и взамен человека на тысячу лет утверждает муравейник роботов. Порядок ради порядка оскотливляет человека, отнимает у него важнейший дар — преображать и мир, и самого себя. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает.

А нам, напротив, кажется, что движение наше к совершенству еще не закончено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками и преодоление противоречий — единственно плодородная почва, на которой возможен наш рост. Мы признаем своими и тех, кто с нами не схож. Но какое это своеобразное родство! Его основа — не прошлое, но будущее. Не происхождение, но цель. Друг для друга мы — паломники и долгими разными и трудными путями стремимся к месту встречи.

Но вот сегодня уважение к человеку — условие, без которого нет для нас движения вперед, — оказалось в опасности. Катастрофы, сотрясающие ныне мир, погрузили нас во тьму. Перед нами запутанные задачи, и решения их противоречивы. Истина вчерашняя мертва, истину завтрашнего дня надо еще создать. Единого решения, приемлемого для всех, пока не видно, в руках у каждого из нас лишь малая толика истины. Политические верования, которым недостает явной для всех правоты, чтобы утвердиться, прибегают к насилию. Так мы расходимся в выборе средств — и рискуем забыть, что стремимся мы к одной и той же цели.

Если путник, взбираясь в гору, слишком занят каждым шагом и забывает сверяться с путеводной звездой, он рискует ее потерять и сбиться с пути. Если он просто переставляет ноги, лишь бы не застыть на месте, он никуда не придет. Прислужница в храме, чересчур озабоченная сбором платы за стулья, рискует позабыть, что она служит богу. Так и я, увлекшись политическими разногласиями, рискую забыть, что политика лишь тогда имеет смысл, когда она помогает раскрыть духовную

сущность человека. В счастливые наши часы мы извели чудо подлинно человеческих отношений — и в них наша истина.

Сколь бы жизненно необходимыми ни казались нам наши действия, мы не вправе забывать, во имя чего действуем, иначе действия наши останутся бесплодными. Мы хотим утвердить уважение к человеку. Мы в одном стане — зачем же нам ненавидеть друг друга? Никто из нас не вправе себе одному приписать чистоту помыслов. Во имя пути, который я избрал, я могу отвергнуть путь, избранный другим. Я могу оспаривать ход его мысли. Ход мысли не всегда верен. Но если человек стремится к той же звезде, мой долг — его уважать, ибо мы братья по Духу.

Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если в сердцах людей заложено уважение к человеку, люди в конце концов создадут такой общественный, политический или экономический строй, который вознесет это уважение превыше всего. Основа всякой культуры прежде всего — в самом человеке. Прежде всего это — присущая человеку слепая, неодолимая жажда тепла. А затем, ошибаясь снова и снова, человек находит дорогу к огню.

## VI

Вот потому-то, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Мне, как глоток воды, необходим товарищ, который, поднимаясь над спорами, рожденными рассудком, уважает во мне паломника, идущего к этому огню. Мне так нужно хоть изредка заранее вкусить обещанного тепла, немного подняться над собой и отдохнуть на высотах, где мы непременно встретимся.

Я так устал от словесных распрей, от нетерпимости, от фанатизма! К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, не подчиняясь заповедям какого бы то ни было Корана, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать; с тобой я обретаю душевный мир, как тогда в Турню. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто Человека. Ты чтишь во мне посланца тех верований, привычек и пристрастий, которых, может быть, и не разделяешь. Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю. Ты расспрашиваешь меня, словно путешественника.

Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли, в тебе я чувствую себя чистым — и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть, вовсе не по моим рассуждениям и поступкам. Нет, ты принимаешь меня таким, какой я есть, и потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть. Зачем мне друг, который меня судит? Если меня навестил друг и если он

хромает, я сажаю его за стол, а не требую, чтобы он пустился в пляс.

Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, где вольно дышится! Мне нужно еще раз сесть с тобою рядом на щелястой деревянной веранде скромной гостиницы на берегу Соны, и позвать к нашему столу двух матросов, и чокнуться с ними в мирном свете улыбки, подобной восходу солнца.

Если я еще смогу вернуться в строй, я буду сражаться и за тебя. Ты мне нужен, чтобы тверже верилось: он еще настанет, час той улыбки. Мне нужно помогать тебе жить. Я вижу тебя—ты так слаб, тебе грозит столько опасностей, нелегко тебе в пятьдесят лет, дрожа от холода в изношенном пальтишке, долгие часы стоять в очереди у какой-нибудь убогой лавчонки, чтобы кое-как протянуть еще день. Ты француз до мозга костей, и я знаю, смерть грозит тебе вдвойне: за то, что ты француз, и за то, что ты еврей. Я знаю цену общности, которая отвергает распри. Все мы—Франция, мы ветви одного дерева, и я буду служить твоей истине, как ты служил бы моей. Мы, французы, которые оказались вне Франции, призваны в этой войне освободить из-под ледяной толщи посевы, стынувшие под гнетом немецкого нашествия. Мы призваны помочь вам, оставшимся во Франции. Призваны возвратить вам свободу на французской земле, ибо здесь ваши корни, и ваше неотъемлемое право—здесь оставаться. Вас сорок миллионов, и все вы—заложники. Новые истины всегда вызревают под гнетом во мраке подземелий: там, во Франции, в сознании сорока миллионов заложников рождается сейчас новая истина. И мы заранее покоряемся этой истине.

Ибо вы укажете нам путь. Не нам нести духовное пламя тем, кто, словно воск свечи, уже питает это пламя всем своим существом. Быть может, вы не станете читать наши книги. Быть может, не станете слушать наши речи. Быть может, отвергнете наши мысли. Сейчас не мы создаем Францию. Мы только можем ей служить. Что бы мы ни делали, мы не вправе ждать благодарности. Не измерить одной мерой свободу битвы и гнет во тьме порабощения. Не измерить одной мерой ремесло солдата и ремесло заложника. Вы—святые.

## ПИСЬМО ЖЕНЕ, КОНСУЭЛО

[середина апреля 1943 г.]

Консуэло, пойми, мне сорок два. Я пережил кучу аварий. Теперь я не в состоянии даже прыгать с парашютом. Два дня из трех у меня болит печень, через день—морская болезнь. После гватемальского перелома у меня днем и ночью шумит в ухе.

Чудовищные затруднения с деньгами. Бессонные ночи, истраченные на работу, и беспощадная тревога, из-за которой мне легче, кажется, гору сдвинуть, чем справиться с этой работой. Я так устал, так устал!

И все-таки я еду\*, хотя у меня столько причин остаться, хотя у меня наберется добрый десяток статей для увольнения с военной службы, тем более что я уже побывал на войне, да еще в каких переделках. Я еду (...) Это мой долг. Еду на войну. Для меня невыносимо оставаться в стороне, когда другие голодают; я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью: этот способ — не уклоняться от страдания. Искать страданий самому, и чем больше, тем лучше. В этом мне отказа не будет: я ведь физически страдаю от двухкилограммовой ноши, и когда встаю с кровати, и когда поднимаю с пола платок. (...) Я иду на войну не для того, чтобы погибнуть. Я иду за страданием, чтобы через страдание обрести связь с ближними (...) Я не хочу быть убитым, но с готовностью приму именно такой конец.

Антуан

### ПИСЬМО Ж. ПЕЛИСЬЕ\*

[Уджда\*, 8 июня 1943 г.]

Дорогой доктор,

Пишу вам это письмо потому, что понятия не имею, когда вернусь. Как радостно было бы получить от вас длинное послание и узнать из него, что нового в мире! Я здесь в абсолютной пустыне. Лагерь. Комната на троих (для меня это стадное житье — тягчайшее из лишений). В столовую гуськом, у каждого в руках котелок, получаешь порцию и ешь стоя. Я как-то выключен из жизни, словно в подземельях вокзала Сен-Лазар. Как вы знаете, я ничего иного и не желаю. Я упрямо делаю то, что считаю своим долгом, что бы ни думала об этом Х.

По правде сказать, мой старый друг, чувствую я себя очень скверно, и это печально, потому что из-за недомоганий любое дело дается мне труднее, чем восхождение на Гималаи, а такая дополнительная жертва — это уже несправедливо. Любая мелочь оборачивается лишней пыткой. Хожу, брожу на солнышке по огромному лагерю и уже так устал, что временами хочется уткнуться в какое-нибудь дерево и заплакать от злости.

И все же насколько это лучше, чем губительная атмосфера споров и склок! Хочу только одного — покоя, пусть даже вечного. (...)

Я не должен ввязываться в бесконечные дискуссии о собственной персоне. У меня уже сил нет все объяснять, я ни перед кем не обязан отчитываться: кто меня не знает, тот мне чужой. Мне уже не перемениться: слишком я устал, слишком измучен. У меня нет недостатка во врагах, которые меня

поучают; мне нужны друзья, которые стали бы для меня садами вдохновения.

У меня нет больше сил, старина. Это печально, хотелось бы хоть немного любить жизнь, а я ее совсем разлюбил. Когда на днях я подумал, что меня вот-вот ошиплют на лету, я ни о чем не пожалел.

Напишите мне о коллизии Жиро — де Голль\*: судьба нашей страны меня ужасает. Пишите мне что угодно и о чем угодно (вымарано цензурой).

И знаете, я бесконечно благодарен вам за вашу дружбу, за то, как вы меня принимали, и за тепло, которым я был окружен в вашем доме. Передайте Северине\* и ее приятельнице: я стораю от стыда, что забыл их подарок... Я торопился, поскольку мне еще нужно было завернуть в Летний дворец\*, но я больше не буду таким забывчивым.

Обнимаю вас.

Сент-Экс

### НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО ГЕНЕРАЛУ Х. (ГЕНЕРАЛУ ШАМБУ\*)

[Уджда, июнь 1943 г.]

Дорогой генерал,

Не так давно я совершил несколько полетов на «П-38»\*. Машина замечательная. В двадцать лет я был бы счастлив получить ее в подарок на день рождения. С болью в сердце вынужден сознаться, что теперь, когда мне уже сорок три и я, как-никак, налетал шесть с половиной тысяч часов на всех широтах, эти игры уже не приносят мне особой радости. Самолет — всего лишь средство передвижения, в нашем случае — военное, и когда я в возрасте более чем почтенном для этой профессии ставлю себя в зависимость от скорости и высоты, к этому меня побуждает скорее желание не упустить ни одной из неприятностей, отпущенных на долю нашего поколения, чем надежда вновь обрести утехи былых лет. Наверное, это все хандра, но, может быть, она здесь и ни при чем. В двадцать лет — вот когда я ошибался. В октябре 1940 года, когда я вернулся из Северной Африки, куда перебазировалась группа 2/33, мой истерзаный самолет задвинули в какой-то пыльный сарай, и я открыл для себя двуколку, запряженную лошадью. А заодно — и траву, что растет по обочинам, и овец, и оливковые деревья. Эти деревья нужны были совсем не для того, чтобы проноситься мимо окон со скоростью сто тридцать километров в час. Я видел их в их истинном ритме, в неторопливом ритме вызревания оливок. И овцы не преследовали больше одну-единственную цель — снизить мне среднюю скорость. Они снова становились живыми. Они оставляли за

собой настоящий помет и отращивали настоящую шерсть. И трава тоже имела смысл, потому что они ее щипали.

И я почувствовал, что оживаю в этом единственном на земле уголке, где пыль — и та ароматна (нет, я несправедлив: в Греции пыль такая же, как в Провансе). И мне показалось, что всю прошлую жизнь я был дурак-дураком. (...)

Рассказываю все это, так как хочу объяснить вам, что в этом стадном существовании на американской базе, в обедах, которые мы поедаем стоя, за десять минут, в хождении взад и вперед между одноместными самолетами с моторами по две тысячи шестьсот лошадиных сил, в неопределенного вида здании, где нас рассовали по трое в каждую комнату, короче, во всей этой страшной человеческой пустыне нет ничего, что согревало бы мне сердце. Это что-то вроде тех вылетов в июне 1939 года, когда мы и пользы не видели, и вернуться не надеялись\*; это как болезнь, которой приходится переболеть. Я «болен», и срок выздоровления неизвестен. Но я считаю себя не вправе быть избавленным от этой болезни. Вот и все.

Между тем я погрузился в страшное уныние, и погрузился довольно глубоко. Мне больно за мое поколение, из которого вылучена вся человеческая суть. Которое не знало иных форм духовной жизни, кроме баров, математики и машин «Бугатти»\*, а теперь вдруг оказывается втянутым в чисто стадную затею. Которое стало уже совершенно бесцветным. Все разучились различать цвета. Возьмите такое явление, как война сто лет назад. Посмотрите, сколько прилагалось усилий, чтобы утолить в людях жажду духовности, поэзии, да и просто человечности. Сегодня нам, высушенным, как кирпичи, смешны подобные глупости. Мундиры, флаги, песни, музыка, победы (в наши дни побед уже не бывает и не происходит ничего, что по поэтической насыщенности сравнилось бы с Аустерлицем\*. Есть только пищеварение — быстрое или медленное). Всякая лирика смешна. Люди не хотят, чтобы их пробудили к какой бы то ни было духовной жизни. Они и на войне похожи на добросовестных рабочих у конвейера. Как говорит американская молодежь, «мы добросовестно делаем эту грязную работу». А пропаганда во всем мире безнадежно разводит руками. Ее недуг вовсе не в том, что нет больше ярких дарований, а в том, что во избежание банальности ей воспрещено обращаться к великим мифам, несущим обновление. Человечество клонится к упадку: от греческой трагедии оно скатилось к пьесам господина Луи Вернейля\* (ниже падать уже некуда). Век рекламы, системы Бедо\*, тоталитарных режимов, век армий, отказавшихся от знамен, труб, отпевания мертвых. Я всеми силами ненавижу свою эпоху. В наши дни человек умирает от жажды.

Ах, генерал, весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Омыть их слух чем-нибудь вроде григорианского псалма\*. Если бы я был верующим, то, пережив



эпоху «грязной, но необходимой работы», непременно ушел бы в Содем\*, не в силах вынести ничего другого. Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо. Невыносимо жить без поэзии, без красок, без любви. Да стоит только послушать деревенские песни XV века, чтобы измерить глубину нашего падения! Все, что нам осталось,—это голос, которым вещает робот пропаганды (простите на слове!). Два миллиарда ничего не слышат, кроме робота, ничего не понимают, кроме робота. И сами превращаются в роботов. Все потрясения трех последних десятилетий происходят по двум причинам. Тупик, в который зашла экономическая система XIX века. И духовное отчаяние. Что, как не жажда, увлекло Мермоза вслед за тем его дураком полковником\*? Люди попробовали проверить картезианские ценности\*, и ни в чем, кроме естественных наук, эти ценности себя не оправдали. Есть только одна проблема, одна-единственная, состоящая в том, чтобы вновь открыть жизнь духа, которая выше всего, в том числе и жизни разума. Открыть единственное, что может принести человеку удовлетворение. Это шире, чем проблема религиозной жизни, являющейся лишь одной из форм жизни духовной (хотя, быть может, религиозная жизнь непременно вытекает из духовной). А жизнь духа начинается там, где «видимое» бытие рождается из чего-то, что выше составляющих его элементов. Любовь к дому—любовь, неведомая в Соединенных Штатах,—это тоже духовная жизнь. И крестьянский праздник. И культ умерших. (Я упоминаю об этом, потому что после моего приезда здесь разбилось двое или трое парашютистов. Их быстренько упрятали в землю: ведь служить они больше не могут. И Америка тут ни при чем, это веяние времени: смысл теряет человек как таковой.) Поэтому совершенно необходимо говорить с людьми...

Нужно говорить с людьми, потому что они готовы примкнуть к кому угодно. Я жалею, что на днях так неудачно выразил свои мысли в разговоре с генералом Жиро\*. Кажется, мое вмешательство пришлось ему не по душе и было истолковано как отсутствие у меня вкуса, или такта, или дисциплинированности. Я, конечно, сам во всем виноват: легко ли подступить к столь сложной проблеме, когда перескакиваешь с пятого на десятое? Меня сгубила спешка. И все же генерал поступил несправедливо, столь бесповоротно осудив меня: я ведь преследовал только одну цель—расширение того движения и тех идей, которые представляет он сам. Но военная иерархия автоматически лишала мои аргументы убедительности. Будь я половчее, генерал выслушал бы меня более доброжелательно. Но как бы то ни было, я говорил то, что чувствовал нутром, и преследовал при этом только одну цель: быть полезным ему, а тем самым родине. Потому что мне представляется спорным, вправе ли командир воинского соединения подменять подробный отчет очевидца своим толкованием

событий. Не заглянув в официальный отчет, он неспособен подбодрить подчиненного, который утратил веру в себя, потому что некая политическая акция, предпринятая лишь для достижения точности и простоты в отчетах, уязвила его порядочность, патриотизм и честь. А генерал Ж[иро] — хранитель чести своих солдат.

Не знаю, кстати, не из тех ли сомнений, которыми я с ним поделился, почерпнул генерал Жиро отдельные темы своей нашумевшей речи, которую мы позавчера прочли в газетах? Абзац, где говорится о незримом сопротивлении и о спасении Северной Африки, — именно то, чего все жаждали. Это подтверждается теми замечаниями, которые я слышал от людей. Если мое вмешательство сыграло тут какую-то роль — пусть генерал сердится на меня, я все равно счастлив, что принес пользу. Дело совсем не во мне. Так или иначе, эта речь была необходима: она оказалась необыкновенно удачной. Признаться, милый генерал, если не считать этих последних строчек, касающихся моего визита, от которого у меня остался неприятный осадок, я вообще не знаю, зачем утомляю вас этим письмом, таким длинным, неразборчивым (я повредил кисть правой руки \*, и писать разборчивей мне больно) и бесполезным. Но на душе у меня мрачно, и мне нужен друг.

Ах, милый генерал, какой нынче странный вечер! Какой странный климат! Из моей комнаты видно, как освещаются окна этих безликих строений. Я слышу, как множество радиоприемников начинают изрыгать дурацкую музыку на радость толпе праздных людей, приехавших сюда из-за моря и незнакомых даже с ностальгией. Их готовность смиренно принять все, что угодно, легко спутать с жертвенностью и нравственным величием. Но это было бы ошибкой. Узы любви, связывающие человека с другими существами и предметами, не отличаются в наши дни ни задушевностью, ни прочностью, поэтому человек уже не воспринимает разлуку так, как прежде. Это напоминает мне одно нагоняющее тоску словцо из еврейской побасенки: «Так ты уезжаешь? Как же ты будешь далеко!» — «Далеко откуда?» Это покинутое ими «откуда» было, в сущности, не более чем бесформенной кучей привычек. В нашу эпоху, эпоху разводов, мы так же легко разводимся и с вещами. Холодильники взаимозаменяемы. Дома тоже: они ведь теперь сборные. Можно сменить жену. Или религию. Или партию. Даже измена становится невозможной: кому изменять? Если далеко, то откуда, а если измена, то кому? Пустыня человеческая. И какое же оно послушное, мирное, это человеческое стадо! Мне вспоминаются бретонские моряки былых времен, сошедшие на берег Магелланова пролива, иностранный легион \*, обрушивающийся на город, все это сложное переплетение чудовищных appetitов и невыносимой ностальгии, неизменно возникающее там, где мужчины оказываются в более или менее суровой изоляции от мира. Чтобы их обуздать, всегда были необходимы

либо могучие жандармы, либо могучие принципы, либо могучая вера. Но никто из них не отказал бы в уважении крестьянке, пасущей гусей. Человека, в зависимости от того, к какой среде он принадлежит, в наши дни можно обуздать игрой в белот или бридж. Мы все на удивление надежно выхолащены. Благодаря этому мы наконец оказываемся на свободе. Нам отрезали руки-ноги, а потом разрешили разгуливать где угодно. Я ненавижу нашу эпоху, когда человек под гнетом «всеобщего тоталитаризма» превращается в ласковое, послушное и кроткое животное. Нас уверяют, что это и есть моральный прогресс!.. Я ненавижу нацизм за то, что он по самой своей природе тоталитарен. Рурских рабочих проводят мимо полотен Ван Гога, Сезанна и лубочных картинок. Рабочие, разумеется, голосуют за лубочные картинки. Вот она, народная правда! Кандидатов в Сезанны и Ван Гоги, словом, всех нонконформистов надежно упрятывают в концентрационный лагерь, а покорную скотинку кормят лубочными картинками. Но куда в нашу эпоху всеобщей бюрократизации идут Соединенные Штаты, куда идем мы? Человек-робот, человек-термит: сначала работа у конвейера по системе Бедо, потом игра в белот. Человек, из которого выхолащена всякая способность к творчеству, который в своей деревенской глуши не в силах создать ни единой песни, ни единого танца. Человек, которого под видом культуры пичкают стандартной продукцией серийного производства, словно вола сеном. Вот это и есть нынешний человек.

А я думаю, что каких-нибудь триста лет назад люди писали «Принцессу Клевскую»\*, на всю жизнь уходили в монастырь от несчастной любви—так они умели любить. Разумеется, в наше время иные кончают самоубийством, но их страдание сродни невыносимой зубной боли, от которой лезут на стену. С любовью оно ничего общего не имеет.

Конечно, сейчас мы еще на первом этапе. Для меня нестерпима мысль, что целые поколения французских детей будут брошены в чрево немецкого Молоха\*. Угроза нависла над самим существованием. Но когда оно будет спасено, перед нами встанет основной вопрос нашего времени. Вопрос о назначении человека. Никаким готовым ответом мы не располагаем, и мне кажется, что мы движемся навстречу самым беспросветным временам истории.

Мне безразлично, убьют меня на войне или нет. Что уцелеет из того, что я любил? Я имею в виду не только людей, но и обычаи, и невозстановимые оттенки, и некий духовный свет. И завтрак под оливами на провансальской ферме, и Генделя. Мне наплевать на вещи, которые уцелеют. Для меня важен только определенный порядок их расположения. Цивилизация—это невидимая связь между вещами, потому что она распространяется не столько на сами вещи, сколько на невидимые отношения, существующие между ними. Такие, а не другие. В результате массового производства мы можем получить сколько угодно

превосходных музыкальных инструментов, но где взять музыкантов?

Плывать мне, если меня убьют на войне или на меня обрушится ярость этих летучих торпед, не имеющих уже никакого отношения к настоящему полету, этих махин, чьи кнопки да циферблаты превращают летчика в какого-то бухгалтера. (А ведь полет—это тоже своего рода связи.) Но если я вернусь живым с «грязной, но необходимой работы», передо мной встанет только один вопрос: что можно и что должно сказать людям?

Я все меньше и меньше понимаю, зачем рассказываю вам все это. Разумеется, только затем, чтобы с кем-нибудь поделиться, ведь вообще говоря, об этом я не вправе говорить. Нужно беречь покой окружающих, а не наводить тень на ясный день. Быть бухгалтерами за штурвалами наших боевых самолетов—вот лучшее, на что мы сегодня способны.

Пока я писал, оба моих товарища по комнате уже уснули. Надо и мне лечь: боюсь, свет им мешает (как мне не хватает своего собственного угла!). Эти мои товарищи—в своем роде прекрасные люди. Прямые, благородные, чистые, верные. И я сам не понимаю, почему, глядя на них, спящих, испытываю какую-то бессильную жалость. Они не ведают о снедающем их беспокойстве, а я-то его хорошо чувствую. Да, прямые, благородные, чистые, верные. Но и невообразимо обездоленные. Им так нужен какой-нибудь бог.

Милый генерал, простите меня, если скверная электрическая лампочка, которую я сейчас погашу, помешала также и вашему сну. И верьте в мою дружбу.

Сент-Экзюпери

## ПИСЬМО ГЕНЕРАЛУ ШАМБУ

Алжир [3 июля 1943 г.]

Дорогой генерал,

Я получил «Военного летчика»; благодарю вас, что выслали мне мой единственный экземпляр\*. Не знаю, в результате каких размышлений возникло у вас желание прочесть эту книгу, не знаю, изменил ли свое мнение о ней тот офицер, что так энергично нападал на меня во время завтрака и так мне понравился. Я был поражен не столько его враждебностью, сколько тем, что он говорил искренне, и мне очень хотелось, чтобы он прочел эту книжку.

Поскольку вы не передаете мне его мнения, я заключаю, что он меня не понял. Мне кажется очень странным, что атмосфера полемики может исказить столь простой текст даже в глазах столь прямодушного человека. Мне совершенно безразлично, что там лепечут алжирские тыловики, разоблачая мои тайные

умыслы. То, что они мне приписывают, так же похоже на меня, я на Грету Гарбо\*. Мне в высшей степени наплевать на их даже если оно приведет к запрету на мою книгу в Северной Африке. Я не книготорговец. А вот то, как извращает мои мысли ваш друг, для меня, как ни странно, нестерпимо. Потому, наверное, что я его уважаю. Я ведь обращался к нему и к таким, как он, а не к политикам. Почему же мои несколько страничек предстали перед ним в ложном свете, почему он принял их за политическую программу? Вообразите, что я Монтень и опубликовал в одной из алжирских газет свои «Опыты», а все точно сговорились трактовать их с точки зрения перемирия. Какие только макиавеллиевские уловки не обнаружатся в моем произведении!

Да, я говорил об ответственности. Но, черт побери, у меня же все ясно сказано! Я ни одной строчки не написал в защиту чудовищного тезиса о том, что ответственность за поражение ложится на Францию. Я недвусмысленно сказал американцам: «Ответственность за поражение лежит на вас. Нас было сорок миллионов крестьян против восьмидесяти миллионов обитателей промышленной страны. Один человек против двух, один станок против пяти. Даже если какому-нибудь Даладье удалось бы обратить весь французский народ в рабство, он все равно не в силах был бы вытянуть из каждого по сто часов работы в день. В сутках только двадцать четыре часа. Как бы ни управляли Францией, гонка вооружений все равно должна была бы развиваться из расчета один человек против двух и одна пушка против пяти. Мы согласились воевать из расчета один к двум, мы готовы были идти на смерть. Но чтобы умереть с пользой, нам нужно было получить от вас недостающие четыре танка, четыре пушки, четыре самолета. Вы хотели, чтобы мы спасли вас от нацистской угрозы, а сами производили исключительно «паккарды»\* да холодильники для своих уик-эндов. Вот единственная причина нашего поражения. И все-таки наше поражение спасет мир. Разгром, на который мы сознательно шли, станет отправной точкой сопротивления нацизму». Я говорил им (они тогда еще не вступили в войну): «Настанет день, когда из нашей жертвы, как из семени, вырастет дерево Сопротивления!» Возьмем этот первый кусок книги: в чем, черт бы меня побрал, мнения вашего друга расходятся с моими? Чудо, что американцы прочли эту книгу и что она стала у них бестселлером. Чудо, что за ней последовали сотни статей, в которых сами американцы говорили: «Сент-Экс прав, не нам винить Францию. На нас лежит часть ответственности за ее поражение». Если бы французы, живущие в Соединенных Штатах, больше ко мне прислушивались, а не спешили бы объяснять все гниlostью Франции, наши отношения с Соединенными Штатами были бы сейчас совсем другими. И в этом меня никто никогда не разубедит.

Но есть в моей книжке второй, главный кусок, и там я

действительно говорю: «Мы ответственные». Но речь идет вовсе не о поражении. Речь идет о самом явлении фашизма или нацизма. Я говорю (что тут может быть непонятного? Я так старался выражаться яснее!), итак, я говорю: западная христианская цивилизация ответственна за нависшую над ней угрозу. Что она сделала за последние восемьдесят лет, чтобы оживить в человеческом сердце свои ценности? В качестве новой этики было предложено: «Обогащайтесь!» Гизо\* да американский комфорт. Чем было восхищаться молодому человеку после 1918 года? Мое поколение играло на бирже, спорило в барах о достоинствах автомобильных моторов и кузовов или занималось пакостной спекуляцией остатками военных запасов. Вместо опыта монашеского самоотречения, вроде того, к которому я приобщался на авиалиниях, где человек вырастал, потому что к нему предъявлялись огромные требования,—сколько людей увязало в трясине перно и игры в белот или —смотря по тому, к какому слою общества они относились,—коктейлей и бриджа! В двадцать лет меня тошнило от пьес г-на Бернштейна\* (этого великого патриота) и от пошлости г-на Луи Вернейля. Но больше всего —от всяческого изоляционизма. Каждый за себя! «Планету людей» я писал самозабвенно, я хотел сказать своему поколению: «Вы все обитатели одной и той же планеты, пассажиры одного и того же корабля!» Но эти жирные прелаты, которые, между прочим, превратились сейчас в коллаборационистов, эти чиновники Государственного совета — разве они годились в хранители христианской цивилизации с ее культом вселенского? Вы томились жаждой жажды, и ничто на континенте не утоляло ее. Как по-вашему, не потому ли я проникся к вам такой пылкой дружбой, что признал в вас человека той же породы, что и я? Я умирал от жажды. И — вот оно, чудо! — утолить эту жажду можно было только в пустыне. Или превозмогая ночь в нелегкие часы на авиалинии. Мне, как и вам, невыносимо было читать «Канар аншене» и «Пари-суар». Я терпеть не мог Луи Вернейля. Почему ваша книжка\* показалась мне такой близкой? Мне нужен был именно этот звук. Я люблю тех, кто дает мне утолить жажду. Меня тошнит от того, во что превратили человека Луи Филипп\*, и г-н Гизо, и г-н Гувер\*. Если женщины, сдающие напрокат стулья в соборе, подверглись нападению варваров\*, кто в этом виноват в первую очередь? Вечная история оседлых и кочевых племен. Спасение цивилизации — дело постоянное. В хорошо вам знакомом Парагвае девственные леса проглядывают в каждой щелочке между булыжниками, которыми вымощена столица. Они, эти леса, притворяются простыми травинками, но дай им волю — и они пожрут город. Нужно постоянно загонять девственные леса обратно под землю.

Что же в предвоенной этике могло заслужить одобрение вашего друга, которого, как мне кажется, я немного знаю? А если он, как мы, чувствовал, что умирает от жажды, тогда

какого дьявола он негодует, что я упрекаю эту эпоху в духовном убожестве? Почему он вкладывает в мою книгу превратный смысл, которого я вовсе не имел в виду? Когда я пишу, что каждый отвечает за все, то продолжаю тем самым великую традицию блаженного Августина\*. Равно как и ваш друг, когда он воюет. Через него в войне участвует и бретонская крестьянка, и сельский почтальон из Монтобана\*. Если страна — живое существо, то он — кулак этого существа. Его руками сражается и сельский почтальон. А он руками этого почтальона служит обществу по-другому. Нельзя делить живое существо.

Какое отношение имеет тема, которую я исследовал, к идиотским иеремиадам против политики Леона Блюма\*? Какая строчка в моей книге дает вашему другу право думать, что слова «я ответствен» имеют малейшее отношение к униженному «*mea culpa*»<sup>1</sup>? Слова эти — девиз каждого гордого человека. Это вера в действии. Более того, это доказательство собственного существования. Пускай себе конторские мокрицы ищут в моей книге политическую подоплеку, я над этим разве что снисходительно усмехнусь: хоть мне уже сорок четыре, я каждую неделю, как-никак, вылетал на задания во Францию, один на борту «Лайтнинга П-38», в составе группы 2/33, а неделю назад, когда я возвращался, на хвосте у меня повисли вражеские истребители, а четыре дня назад над Анси у меня отказал один из двигателей\*! Плевать мне на них. Но вашему другу, такому благородному, я решительно отказываю в праве на подобную интерпретацию. Я пишу «для» него. Я пишу о нем. И если сегодня совсем невозможно быть правильно понятым даже чистыми душами, пусть меня перечитают через десять лет.

## ПИСЬМО X. (НЕОТПРАВЛЕННОЕ)

*Умирают не за идеи  
Умирают за суть  
Умирают за Бытие*

Дорогой X.

Ты вновь заставил меня пережить мою старую драму и вверг меня в самое безысходное отчаяние. Ты достаточно меня знаешь (ты вообще единственный, кто меня знает, не то, что эта болтающая обо мне стая крабов), чтобы представить себе, что эти два года я прожил не в безмятежном покое, на который ты намекаешь в полемическом запале, а раздираемый такими внутренними противоречиями, какие не дай бог тебе испытать. Я не эксгибиционист и почти никому их не поверял. Мое молчание в самом деле могло обмануть стороннего наблюдателя.

Каждый из нас таков, каков он есть. Некоторые обретают полное душевное равновесие, стоит им примкнуть к какому-

<sup>1</sup> Моя вина (лат.).

нибу делу. Им тут же все становится ясно. Я и сам наслаждался безмятежным счастьем, летая маршрутами компании «Аэропосталь», пока твой друг Серр\*, видя, что его благие намерения терпят крах, не избавил дело от духа жертвенности; я был счастлив в тридцать девятом и сороковом, выполняя военные задания, как обычную работу; и совсем еще недавно — на борту «Лайтнингов П-38»\*. Мне наплевать на собственную шкуру, и в духовном смысле мне лучше всего подходит тот климат, в котором я ею рискую.

Вернее было бы сказать, не в духовном смысле, а в эмоциональном. Потому что это именно тот случай, когда духовное во мне спорит с эмоциональным. Иначе я стал бы анархистом. Ту же атмосферу, что царила в экипажах компании «Аэропосталь», я встретил у барселонских анархистов во время войны в Испании. То же самопожертвование, ту же готовность к риску, ту же взаимопомощь. Тот же высокий образ человека. Они могли мне сказать: «Ты думаешь так же, как мы», но, когда они спрашивали: «Почему же тогда ты не с нами?» — я не знал, как им ответить, чтобы они поняли. Они ведь жили чувствами, а в плане чувств мне нечего было им возразить. Точно так же мне нечего возразить коммунистам, и Мермозу\*, и любому из тех, кто готов пожертвовать собственной шкурой и предпочитает делить кусок хлеба с товарищами, чем пользоваться всеми благами жизни. Однако при всем том, что я верю в человека, рожденного коммунизмом, все же я не в силах верить, что предтеча его — каталонский анархист. Величие анархиста в том, что он потерпел поражение. Если он восторжествует, из его суповой миски вырвется на волю лишь призрак тщеславия, который мне неинтересен (и я готов объяснить почему). Так неужели ради того, чтобы испробовать одурманивающее действие чувства, как пробуют наркотик, я добровольно разрушу свою духовную цель? Это было бы подло. Духовное начало должно возобладать над доводами чувства. Проще говоря, ты следуешь этой точке зрения, когда наказываешь собственного сына...

Тебе эта проблема представляется простой, потому что для тебя она сводится исключительно к сфере чувства. Я люблю, потому что люблю, и ненавижу, потому что ненавижу. Этого достаточно. Для такого, как я, все решается гораздо сложнее. Я знаю, что во Франции ты рисковал головой, участвуя в Сопротивлении. Это был твой долг. И я поступил бы так же. Но за границей я почувствовал, как на меня, помимо моего желания, легло чудовищное бремя ответственности. Чудовищное не с точки зрения своей силы — я был всего лишь каплей в море, — а с точки зрения цели. И без всякого риска для меня. (Точнее, без такого риска, о котором стоило бы говорить. Я-то смеюсь над риском. Не признаю добровольного риска, на который идут, чтобы отпустить себе грехи. Моя награда в том, что я знаю: бывает смелость, куда более достойная восхищения,



чем смелость перед лицом смерти. Страх смерти легко превозмочь. Особенно горяча.)

Лично я был против перемирия\*. Я угнал из Бордо самолет\*. Набил в него четыре десятка молодых летчиков, которых на вербовал прямо на улице (у меня был четырехмоторный «Фарман»), и увез их в Северную Африку продолжать борьбу. Ладно. Попытка не удалась. В Северной Африке тоже признали перемирие. Поэтому я превратился в безработного.

Но с этой минуты у меня появилась возможность действовать словом. Я в меру своих скромных сил отчасти принял на себя ответственность за будущее французского народа. Историю нельзя пересочинить. Ты можешь внести в анналы реальные бедствия прошлого, но не можешь ни доказать, ни опровергнуть реальность тех предполагаемых бедствий и успехов, которые ждали бы нас при вымышленном ходе событий. Однако тот, у кого была возможность в меру своих слабых сил содействовать нарушению или соблюдению условий перемирия (в конце концов все сводилось именно к этому), не мог не предвидеть серьезных последствий своего решения.

1. С 1940 года всех взрослых мужчин на территории Франции, подлежащих призыву в армию, отправляли на верную смерть в немецкие лагеря. В законном порядке. Шесть миллионов пленных вместо двух.

2. Северная Африка была блокирована Германией. Мне хорошо известно, что официальная точка зрения обязывает нас отрицать этот факт. (Утверждают даже, что Германия, истощенная военными действиями во Франции, была неспособна на новый рывок!) Я думаю, что Германия, еще не поколебленная в то время (ведь ее сила не была подорвана ни американским превосходством в оружии, ни грозной мощью русских, ни десятками миллионами убитых немецких солдат), была в состоянии за две недели захватить Северную Африку через Испанию или Сицилию (Франко не стал бы противиться). А здесь были двести тысяч безоружных людей. Даже если предположить, что масса современных танков, самолетов и автоматов, обращенных против простых винтовок, не влияет на соотношение потерь с обеих сторон, то и в этом случае достаточно было бы Германии пожертвовать ста девяноста девятью тысячами девятьюстами девяноста девятью своими солдатами, которых бы убили или взяли в плен, чтобы против нее остался всего один солдат. Скорее всего, это оказался бы даже генерал. Притом безоружный. (А я еще не беру в расчет арабскую проблему\*.)

3. Немецкий шантаж был всеобъемлющ. Жить ли городам — это зависело исключительно от того, будут ли железнодорожные вагоны. А вагоны — от смазки для букс. А смазка — от нефти из Гамбурга или Румынии. наших офицеров в Висбадене постоянно шантажировали\*. День за днем.

4. Нельзя забывать, что в одной Варшаве три миллиона поляков были отправлены в газовые камеры\*. Насколько мне

известно, в «Майн кампф» угрозы по адресу французов ничуть не меньше, чем по адресу поляков.

5. В то время как Бельгия уже предоставила Германии два миллиона рабочих, Франция экспортировала еще не более ста двадцати тысяч. Эти два миллиона дополнительных узников можно было бы уже тогда добавить к двум миллионам военнопленных.

6. А угроза депортации населения?

7. А проблема евреев? Ты можешь ненавидеть Пейрутона за все, в чем он уступил\*. А все-таки он был для тебя мощным заслоном. Двести тысяч евреев из неоккупированной зоны ни за что не уцелели бы при нацистах, с которых тогда еще никто не успел сбить спесь. Что ни говори, а Леон Верт жил, передвигался, писал.

8. А проблема американского присутствия? (Я к ней еще вернусь.)

Режим Виши был, разумеется, омерзителен. Но всякому организму необходимо отверстие для выделения экскрементов. Канализационные рабочие, как правило, равнодушны к тонким ароматам. Тюремщики редко бывают столь же отзывчивы, как сестры милосердия. Разумеется, того, кто кланится у победителя смазку для букс, не должно, образно выражаясь, мутить от навоза. Ведь навоз — это просто отправления организма. (Что до полиции, то она, разумеется, как и все полиции нашего времени, отличается подлостью.)

Во Франции я бы, возможно, поставил перед собой задачу убить Пюше\*. В Штатах передо мной стояла другая задача.

Когда накануне перемирия я покидал Францию, кругом было невесело. Помню езду в машине, ночь, дождь. Темно — хоть глаз выколи. Я включил фары. На дороге был затор, я остановился, и тут внезапно вокруг меня вспыхнул сущий бунт. Солдаты осаждали мою машину, грозя мне расправой. За что? Дело было в фарах. В этом месиве дождя и грязи, под потолком облаков в сто двадцать метров вышиной я, видите ли, навлекал на них небесный гнев гитлеровских бомбардировщиков. Один из этих героев навел на меня свой электрический фонарь, и в течение десяти секунд они кляли на чем свет стоит мои нашивки. Я олицетворял войну торговцев пушками и капиталистов. Меня охватило безграничное отвращение, и я почти желал, чтобы эти сволочи меня растерзали. Ты только представь себе: грубые голоса, похабная ругань, причем от всех так и разило страхом. Я чувствовал, как страх продирает их до самого нутра. Лица, голоса, позы — все было мерзко. Я испытывал неопишуемый стыд.

Ну, а гражданские! Во время отступления мы квартировали поочередно в одиннадцати деревнях. Хорошенький же прием устраивали нам, умиравшим за них! Ни единого слова о сопротивлении! Ни единого свежего веяния! Вялые животные, одуревшие и забитые! Всеобщий эгоизм. Разрыв всех уз.

Где была живая Франция? Я верил, что в один прекрасный день она проснется. Но этот образ народной Франции, яростной, ненавидящей власть, обрекшую ее на позор перемирия... Ах, какая все это ложь! С приходом немцев это стадо испустило чудовищный вздох облегчения.

Разумеется, было множество всяких исключений из правила. Во-первых, мы! Мы барахтались в этом дерьме, а в промежутках отправлялись на боевые задания и без колебаний шли на смерть. Были, конечно, и Мандель\*, и какие-то крестьяне, и какие-то солдаты, но в конечном счете перемирие было заключено не правительством, а Францией\*. Это бросалось в глаза. И пошла на это перемирие не только Франция капитала и военщины. Не Жан Пруво\*, не Петен. Вся Франция целиком. И они вместе с ней. Я-то был против, но в утешение говорил себе: эта огромная волна страха, эта капитуляция, быть может, тоже объяснима. Моя ошибка в том, что я рассматривал происходящее в упор, во всем его безобразии. Если смотреть в упор, все кажется безобразным: если разглядывать любимую женщину в микроскоп, увидишь сплошные бугорки да пятна. Малые отрезки времени тоже обезображивают. Что нам даст моментальная фотография Пастера, который сморкается или делает еще что-нибудь в том же роде? Это не показательно. Человека и народ следует изучать с некоторого расстояния. В пространстве, во времени. Когда наблюдаешь человека вблизи—видишь внутренности. Когда наблюдаешь его несколько мгновений—видишь функции этих внутренностей. Все это не выражает бытия. Но игра была нечестная. Мы воевали без оружия. Наше дело было гиблое. Мы потеряли бы два миллиона человек ради того, чтобы задержать наступление немцев на двадцать часов. Сама человеческая сущность возмущается против такого бессмысленного кровопролития. Два миллиона убитых. Шесть миллионов пленных. Три-четыре миллиона депортированных, и в довершение—призрак депортации всего населения (...). А в результате—женщины, дети и старики, кланчащие у завоевателей смазку для железнодорожных вагонов ради того, чтобы выжить, что, впрочем, почти невероятно... Ты сам рассказывал мне, как это было в России. Вот уже сколько времени ее народ, видя, как поднимается волна немецкого нашествия, призывает все страны солидаризироваться с ним или помочь ему поставить заслон этой волне, и вот уже сколько времени на русских продолжают смотреть как на возмутителей мирового порядка и предоставляют им в одиночку воевать против пикирующих бомбардировщиков и танков. Кому русские этим обязаны? Во имя какого божества, которое даже ни малейшей пользы от этого не получит, нужно толкать лучшую часть народа в бездну, откуда нет возврата?

Что до меня лично, у меня одно дело—настаивать на продолжении борьбы. Точно так же в 1918 году Германия спаслась от оккупации благодаря перемирию, которое, конечно,

несколько лет разлагало народ, оказавшийся под властью штреземановских педерастов\*, но потом способствовало созданию условий — сперва, конечно, незримых — для подъема страны, ее усиления, ее гордыни; но когда Германия подписала перемирие, то, разумеется, делом и даже духовным долгом немецкого Деруледа\* было возмущаться таким позором. Германия сдалась раньше, чем была окончательно истощена. Германия сдалась перед самой своей гибелью. Но погибла ли при этом глубинная совесть нации, отказавшейся продолжать борьбу с той самой минуты, как над лучшей частью народа нависла угроза неизбежной и бессмысленной гибели? Разве у нас не писали об этом преждевременном перемирии, которое спасло Германию? Разумеется, внешне это выразилось в отказе от борьбы, в жажде благ, зачастую презренных (перемирие было для немцев бóльшим праздником, чем для нас!), и в анархии. И в эгоизме. И в угодничанье перед победителем (большим, чем у нас!). Разумеется, в нашем перемирии много безобразного, и оно вызывает к жизни немало безобразий. (...) Тот, кто погибает, храбрее того, кто капитулирует. Победа или смерть — великие слова. Но (...) здесь мы впадаем в антропоморфизм. Ведь то, что годится для отдельной личности, теряет смысл на уровне народа. Точно так же, что справедливо для одной клетки, не годится для целого организма. Когда человек ищет смерти на баррикадах, это прекрасно. Тут речь идет о самопожертвовании. Но самоубийство народа — где тут величие? Ты сам не желал бы этого. Ты осудишь человека, который из страха смерти пойдет так или иначе служить врагу. Но не будешь же ты упрекать все рабочее население Бийанкура\* за то, что сотни тысяч людей не покончили с собой все разом, лишь бы не работать на оккупантов. Ты даже признаешь этих людей самоотверженными, потому что они потребуют, чтобы британские самолеты бомбили заводы Рено. И при этом они будут продолжать работу на оккупантов. Здесь нет никакого противоречия. Пускай единицы гибнут во имя общего блага. Это их долг. Но всеобщее самоубийство — бессмыслица. Если ты избран Францией, ты погибнешь во имя спасения Франции. Ты умрешь, чтобы спасти то, что больше, чем ты сам. Но ты не убьешь то, что больше, чем ты сам, и что ты обожествил, чтобы спасти. Если бы рабочее население Бийанкура все разом сделало себе харакири, оно бы не знало, во имя чего идет на эту жертву. И оно от этой жертвы отказалось. Оно работает на заводах и при этом желает, чтобы их разбомбили, пусть даже людей ждет гибель. Потому что в этом случае те, что погибли, погибли ради других.

Это настолько очевидно, что нью-йоркским спорщикам\* пришлось поломать себе голову, во имя чего следует принести Францию в жертву. Причем речь шла не о согласии Франции пойти на частичные жертвы, а о полном и безусловном уничтожении Франции. Ею следовало пожертвовать во имя еще

большей общности, во имя союзников. Фогель\* заявил: «Лучше гибель всех французских детей, чем разгром Англии». Одна бездетная дура сказала мне: «Если бы мои дети были во Франции и я знала, что они умирают с голоду, я гордилась бы этим». Но если гибнут дети, значит, гибнет и Франция. Во имя чего? Во имя других. Но это отчужденный взгляд эмигранта. Эти слова так же легко срываются с языка, как «передайте мне горчицу» или «сегодня жарко». На самом-то деле «союзники» — понятие временное. В настоящее время твой голлизм готовит войну против американцев или, при случае, против англичан\*. (...) Народ думает медленнее, основательнее. Новое божество не было для него чем-то осязаемым, что могло бы подвигнуть на жертву. Спасать надо было Францию, уже разрушенную, которой из-за ваших раздоров грозило полное уничтожение. Даже это нелегко было постигнуть. А уж еще более широкое понятие «союзники» вообще не укладывалось в голове.

Моя главная мысль, которая для меня важнее всех состязаний в красноречии, заключается в том, что народ — это не французская палата депутатов, не американский сенат, не фашистский совет; народ ценен тем, что в нем лучшего. Народ — это Трефуэль\*, это Паскаль, это Давид Вейль\*, это безмолвная мать у постели больного ребенка, это взаимовыручка и самопожертвование бастующих рабочих, это доброта, которая не поддается доводам рассудка, подчиняет себе доводы рассудка и переживает любые политические перетасовки, как мощный дуб переживает смену времен года. Наследство передается не по формуляру политика.

Политика не требует жертв. Жертвы требуются только самому бытию народа и лучшему, что есть в народе, либо тому, что связано с этим лучшим. Я пожертвую собой ради свободы моих братьев. Я пожертвую собой ради отдельного человека, ради свободы Греции или Италии. Но я не пожертвую ради этого своим народом. Потому что все мы — борцы за нечто высшее. Если понадобится, я пожертвую своим народом во имя возвышения человека. Но и тогда о достоинстве человека я стану судить не по политическому формуляру, а единственно по его сути. Крестовый поход, (обескровливающий) народ, может быть посвящен только богу. (...)

Настало время честных раздумий, время наполнить смыслом слова, потерявшие всякую рыночную стоимость, потому что перед нами встают новые проблемы, запутанные и противоречивые. В том числе проблема чести и бесчестья. (...)

## ПИСЬМО X.

[Алжир, конец 1943 г., середина ноября?]

(...) Я в постели, в неподвижности\*... Лестница, ведущая в прихожую. Шесть мраморных ступенек, полное затемнение. Так

вот. Я весьма бодро иду на обед, во время которого должен увидаться со Шнейдером\* и друзьями. Забываю про дыру. Проваливаюсь, лечу в пустоте. Недолго. И со всей высоты собственного роста (и лестницы) грохаюсь прямо на спину. Копчиком о край одной ступеньки, пятым поясничным позвонком — о край другой. Чтобы погасить инерцию моего тела, двух точек, да еще таких угловатых, явно недостаточно. Копчик-то выдержал. А вот позвонок — нет.

По позвоночнику удар, само собой, передался черепу, и пять минут я провалился на лестнице почти без сознания. Затем принялся ставить сам себе диагноз. Я сказал себе: такого удара ни один позвончик не выдержит. Он сломан. Тут я проверил собственные ноги: они двигались. Значит, решил я, сломан позвонок, который не содержит спинного мозга, следовательно, несъедобный. Так оно и оказалось. Я все же не дурак. В пятом поясничном спинного мозга нет.

Затем я стал подниматься. Мне удалось встать на ноги. Крошечными шажками я добрался до трамвая и явился к обеду. Мне было очень больно, и это подтверждало мои догадки. Я сказал: «Прошу прощения, что опоздал, но я только что сломал себе позвонок». Все расхохотались. Я тоже. О моем позвонке так никто и не спросил.

Вернувшись домой, я подсунил под дверь Пелисье записку: «Я сломал себе позвонок у вас на лестнице, когда шел обедать. Будьте добры, осмотрите меня завтра утром». Ночь я провел мерзко, от удара у меня голова шла кругом. Заснул около восьми. А он прочел мою записку и ушел себе в госпиталь. Ему было некогда. Так сказала Северина.

Я оказался в тупике. Я был приглашен на один более или менее официальный завтрак и оправдаться мог только серьезным диагнозом. И все-таки я пошел на этот завтрак, очень, очень медленно. На обратном пути, часа в четыре, мне стало совсем уж худо. Тогда я через Северину воззвал к Пелисье с просьбой о консультации (он был у себя в кабинете). Он пощупал мой позвонок и сказал что-то вроде:

— Вы же видите, он не смещается.

Я ответил:

— И все-таки он сломан!

Он рассмеялся.

Я понимал, что из-за всей этой истории с позвонком попал в дурацкое положение. И смиренно спросил:

— Но что же делать, ведь мне больно?

Он очень, очень понятно разъяснил мне причину моих болей и посоветовал заняться гимнастикой. Чтобы окончательно рассеять мои сомнения, он прибавил, что перевидал уйму людей, которые попадали в катастрофы, даже под колеса поезда, и не ломали себе при этом ни единого позвонка. Господи боже мой, поезд — он такой большой. И тяжелый. И едет быстро. Рядом с ним мои шесть ступенек — детские игрушки.

Тогда я отправился на другой обед. Еще медленней. Я превозмогал боль. Я уговаривал себя, что ходьба — прекрасная гимнастика, но в глубине души не очень-то в это верил.

На другой день Советы давали большой прием\*. Мне очень хотелось посмотреть, как все будет. Я был приглашен. И я пошел.

Праздник был устроен на покрытой цветами лужайке перед каким-то дворцом. В высшей степени элегантно. Но ничего, кроме оранжада.

По лужайке бродили все министры, все генералы и все христиане Алжира. Ждали львов. Все спрашивали: «Где же они?» Львы были тут же, но внешне походили на банкиров. И потчевали всех оранжадом. Это подействовало на христиан весьма успокоительно.

Но со мной на этой лужайке, где не было ни единого стула, приключилось несчастье: я стоял и не мог сделать ни единого шага. Когда мимо проходил кто-нибудь знакомый, я обращался к нему: «Вы на машине? Нет? Тогда хотя бы побудьте со мной пять минут! А то я торчу тут один и выгляжу дурак дураком». Между прочим, так оно и было.

Но я был начеку и каждый раз, когда мне удавалось обмануть боль, делал шаг по направлению к выходу. Путь грозил затянуться, но тут наконец появился адмирал Обуано\* и помог мне репатриироваться.

Потом, когда я принялся докучать Пелисье рассказами о своем несчастье, он сказал:

— Да, ушибы бывают очень болезненные! Ну, ладно. Раз уж вам необходимо, чтобы вас успокоили, сходите к такому-то рентгенологу, он прекрасный специалист.

Мне и впрямь надо было, чтобы меня успокоили. Рентгенолог взглянул на снимок и сказал:

— Да вы с ума сошли! Почему вы не в постели? У вас поперечный перелом пятого поясничного позвонка: легкое вертикальное смещение и трещина в кости. К тому же весь позвонок на несколько миллиметров смещен влево!

— Вот как!

— Перелом позвонка — дело серьезное! Три месяца постельного режима, иначе останетесь калекой на всю жизнь.

— Вот как!

— Черт побери, вы что, сами не чувствуете, что у вас сломан позвонок?

— Еще как чувствую!

С этим я вернулся к Пелисье. По дороге я сам себе представлялся чем-то вроде треснувшей вазы. Я ступал с немислимыми предосторожностями. Я объявил доктору Пелисье:

— У меня перелом, завтра будут снимки.

— Перелом? Откуда вы знаете?

— Врач сказал.

— Болван ваш врач. Вечно эти рентгенологи вмешиваются в диагностирование! Пускай занимаются рентгеном, остальное — не их забота.

— Кушать подано! — Это пришла Северина.

— Где... я буду... завтракать?

Я уже свыкся с представлениями о треснувшей вазе, и мне хотелось прилечь, чтобы не разлететься на куски. Кроме того, мне было больно.

Но я тут же понял, что Северина старенькая, а рентгенолог болван. И взгромоздился на стул.

Наутро были готовы снимки. В течение пяти минут Пелисье видел, что это перелом, а потом опомнился.

— Это у вас врожденное.

— Но почему?

— Потому.

— Вот как.



Я чувствовал, что со всеми своими предосторожностями выгляжу посмешищем. А между тем мне делалось все больнее и больнее.

— И все-таки... Я так сильно ударился...

Это его возмутило. Он ведь объяснял мне насчет поезда, а я ничего не понял.

— Да я видел людей, которые падали с шестого этажа — и ни единой царапины!

Ну что ж. Я попросил одного знакомого зайти к рентгенологу. Рентгенолог считает, что случай ясный. У меня боли — это тоже ясно. В конце концов, в этом позвонке нет спинного мозга. Ну да ладно, как-нибудь все утрясется. Или растрясется.

## II

Продолжаю письмо. Акт второй. Поскольку я не мог передвигаться, пришлось подключить военных врачей\*.

Они пришли. Посмотрели снимки. Сказали, что это перелом. Из чистой вежливости я попросил Пелисье зайти с ними поздороваться. Он им сказал:

— Этот рентгенолог — зазнайка и невежда, сделайте больному рентген еще раз у себя в госпитале.

Он любезно отвез меня в госпиталь и сказал военному рентгенологу, конкуренту предыдущего, штатского:

— Доктор Б. большой чудак. Перелом выглядел бы так-то и так-то.

Новый рентгенолог сделал снимки. Они вышли неудачно. Он сделал повторные. Получилось уже лучше. Точь-в-точь



утренние туманы на японском пейзаже. Очень было красиво.

Сквозь утренние туманы виднелось нечто похожее не то на холм, не то на позвонок. Рентгенолог-конкурент вздохнул. Потом изрек:

— Я не согласен с мнением доктора Б.

Потом он стал придумывать, в чем именно он не согласен.

И придумал. Ткнув на заострение, которое вчера было объявлено врожденным, он сказал:

— Это просто-напросто проекция крестцовой кости.

— Не правда ли? — откликнулся Пелисье.

Поскольку переломом это быть не могло, необходимо было как-нибудь это обозвать. Пусть будет врожденная проекция.

Дома Пелисье сказал:

— Вы же слышали, я его за язык не тянул.

— Разумеется.

Итак, военные врачи тоже не пожелали признать у меня перелом. Тогда я стал ходить на прогулки, чтобы поскорей выздороветь. Однако до сих пор еще не выздоровел.

### III

Сегодня уже прошла неделя. Мне не лучше и не хуже. Но Пелисье уверяет, что ушибы не проходят по три месяца, так что боль — в порядке вещей. Как бы то ни было, я изрядно устал.

Поскольку Пелисье думает, что я до сих пор сомневаюсь, он притащил мне сегодня рентгеновский снимок настоящего перелома. Еёспорного перелома.

— Вот как выглядит перелом.

Правда, я мог бы и сам поставить диагноз. Вместо позвонка какая-то блямба, а вокруг ореол осколков, каждый размером с зуб. Я сказал:

— Да, явный перелом.

И при этом подумал: «Поезд тут ни при чем, шестиэтажный дом тоже, следовательно, виновата торпеда. Судя по причиненным повреждениям, все это натворила именно торпеда».

Потом я робко осведомился:

— Это все, что осталось от того господина?

— Что «это»?

— Этот позвонок?

Тогда он отнял у меня снимок.

Теперь я в сомнениях. Мой рогатый позвонок, по всей видимости, не ядовит. Но на душе у меня скверно, потому что он, как это ни странно, продолжает болеть. Я предпочел бы знать, в чем тут дело, и пусть бы уж это оказался простой костный перелом. Мне как-то неловко, что я продолжаю ходить. Но раз у меня ничего не находят, то оставаться в постели было бы еще более неловко. Что же дальше?

Да... Что же дальше-то? Хотелось бы наконец обрести хоть какую-то судьбу. А то я словно в поезде, который застрял перед семафором. Не воюю и не делаю свою собственную работу, не здоров и не болен, не понят и не расстрелян, не блаженствую и не страдаю. И вконец утратил всякую надежду.

Странная штука безнадежность.

Чувствую, что мне нужно родиться заново. Я понял, что радовался бы, если бы меня заставили годами лежать в растяжку привязанным к доске. Это была бы судьба духа. Точно так же я радовался бы, если бы меня опять пустили за штурвал «Лайтнинга» и позволили воевать дальше: это была бы судьба солдата. Или влюбиться бы мне безнадежно: был бы рад и этому. Лишь бы навсегда. Это была бы судьба сердца.

Безнадежно влюбиться — не значит потерять надежду. Это значит, что соединишься с любимой лишь в бесконечности. А по пути — негаснущая звезда. И можно отдавать, отдавать, отдавать. Как странно, что я не могу обрести веру. Можно безнадежно любить бога: это как раз по мне. Содем и григорианский псалом.

Церковное пение — совсем не то, что мирское. В нем есть что-то морское. Я часто об этом думал. В сороковом году, перед отъездом из Лиона, я как-то в воскресенье пошел в Фурвьер\*, поднялся на холм. Шла (вечерня?). Было холодно. В церкви безлюдно, один только хор. И я в самом деле почувствовал, что я внутри корабля.

Хор — это был экипаж, а я — пассажир. Да, прячущийся ото всех пассажир-заяц. Мне казалось, что я прокрался туда незаконно, обманом. И право же, я был восхищен.

Восхищен чем-то несомненным, чего мне никогда не удается удержать.

Мне бесконечно жаль людей: пока они спят, они все пропускают. Я только не знаю что. (...)

Почему мне так нехорошо? Вы не представляете себе, до чего мне страшно. О, я вовсе не позвонок имею в виду. Он мне, в сущности, даже полезен. (...) Встряска была великолепная (для головы тоже) и... у меня немного прояснились мысли. Занятно. Нервы тоже пришли в порядок. Я был как-то весь напряжен, так напряжен — физически не мог написать больше двух страниц. У меня руку сводило. Меня в буквальном смысле невозможно было читать. (...) А мои письма двух последних месяцев! На второй же странице почерк совершенно менялся. (...) И вот встряска все это сняла. То, что было во мне разлажено, снова встало на место.

Странно. (...)

Вот еще записка для мамы. Боже, как все это печально! Найти себя... это, наверно, невозможно. Где то, в чем можно

себя найти,—где дом, обычаи, верования? Вот почему в наше время так невыносимо трудно и горько жить.

Пытаюсь работать, но работа идет с трудом. Эта безжалостная Северная Африка разъедает душу: я уже больше не могу. Это могила. Как легко было вылетать на «Лайтнинге» на боевые задания! Эти болваны американцы решили, что я слишком стар, и поставили передо мной заслон\*. Д. ничем не может мне помочь—да и чем тут поможешь? Я, признаться, боюсь за свою работу—боюсь даже в чисто материальном плане.

Я готов ко всему. (...) Во всем, что касается лично меня, я утратил малейшую надежду. Немного грущу о себе самом. Грущу обо всех. Когда я слышу, какие надо мной изрекают приговоры, мне делаются ненавистны все приговоры вообще. Главное, люди теряют надежду, им не хватает солнца. А что, если я люблю в других именно то, в чем могу помочь им сделаться лучше? Люблю тех, кому могу дать больше, чем получить? В сущности, я так одинок. Что, если я люблю помогать тем, кто тонет, держать голову над водой? Заставлять человеческий голос звучать по-особенному, вызывать на человеческом лице особенную улыбку.

Что, если меня волнуют только пленные души?

Когда мне чудом удастся хоть на три секунды приручить того, кто считался погибшим, когда в нем хоть на три секунды пробуждается доверие ко мне—видели бы вы, какое лицо он ко мне обращает! Быть может, я по призванию—искатель подземных ключей. Искатель того, что таится глубоко под землей. Я так мало нужен тем, кто совершенен.

Мне говорят: «Утопленница погрузилась глубже, чем ты думаешь...» Но я бегу. И это вовсе не безумие. Только я один знаю, что вытаскиваю на свет божий. Странно, что мне понадобилось время, чтобы это понять. Но я действительно не чувствую в себе призвания ни «составить» чье-то счастье, ни получить его от кого-либо. Если я «составляю» чье-то счастье—мне делается страшно, словно я указал путнику неверную дорогу. Что до того, чтобы получать самому—мне-то ведь так немного нужно. Вполне можно подумать, что я жесток: я не утешаю в горестях, не выполняю желаний. Пусть я жесток с плотью, с сердцем, но только не с душой. Поэтому на самом деле я никогда не был жесток. Я, пожалуй, принадлежу тем, кто выбирает меня, как дорогу. Мне совершенно безразлично, откуда они идут. Чтобы выразить то, что я хочу сказать, мне, повторяю, не найти иных слов, кроме тех, которые относятся к религии. Я понял это, перечитывая своего «Каида»\*. Смысл этого трудно облечь в слова, но не случайно возникают эти «повозка, дорога и обоз для вожатого вожатых». И ничего, ничего другого я не понимаю. Не понимаю, как это кто-то может быть «достойн» меня. Я ведь не награда. Или как это я могу быть кого-то «достойн». Я ничего не достоин. И я не умею думать по-другому.

Кстати, я уже устал сам от себя. От своих запутанных мыслей по всякому поводу. Я словно сам у себя в тюрьме. И в других отношениях я тоже заключен в символическую тюрьму. Что можно противопоставить обвалу в горах? Я совершенно пал духом. Хочу писать в полную силу, но здесь для меня чудовищно неблагоприятный климат. Из меня «жизнь уходит». Никогда еще я не испытывал подобного бесплодного изнурения. Это ужасно. Эх, всего два месяца назад так здорово было вылетать на «Лайтнинг» на задания! Эти болваны американцы сами не знают, что они со мной делают, лишая меня полетов. (...)

## ПИСЬМО ЖЕНЕ, КОНСУЭЛО

[Алжир, без даты]

Нью-Йорк, раздоры, споры, клевета, выходки А. Б.\* окончательно мне осточертели. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Но я от них устал. Все это как-то не по-человечески. Напускают туману... И в них во всех это есть. Это не моя родина. Мне надо быть выше этого, чтобы защищать покой в Аге\*, и обеды с Лазаревым\*, и твоих уток (которых ты жарить, между прочим, неправильно, потому что корочка почти не хрустит), чтобы защищать все лучшее. Лучшее в тех вещах, что мне дороги. Верность. Простоту. Партии в шахматы с Ружмон-ном\* (вот уж славный парень), преданность, труд, согретый любовью, но только не игру с правдой, которую затевают лжецы в изгнании, вдалеке от всех человеческих понятий...

## ПИСЬМО Х.

[декабрь; получено 18 февраля 1944 г.]



Сейчас три часа ночи. (...) Больше не могу. Почему, ну почему такая тоска? Начну с новостей, не слишком интересных. Позвонок все-таки оказался сломан. Пелисье признал это через месяц скрепя сердце, когда увидел совершенно уже бесспорный снимок. А я весь этот месяц оставался на ногах, не имея морального права лечь в постель. (П. принял бы это за оскорбление.) Для меня это была сущая китайская пытка. Надо сказать, что ходьба при переломах подобного типа, к счастью,

не представляет большой опасности (так что я из многих зол выбрал меньшее). Сейчас мне по-прежнему больно, вечерами я просто инвалид, но в общем все налаживается. Все непременно пойдет на лад. А вот настроение... Тут все неладно.

Для меня нестерпима эта эпоха. Я больше не могу. (...) Все как-то обострилось. В голове мрак, на сердце холод.

Кругом посредственность. Кругом уродство. У меня к этим людям один существенный упрек\*. Они не пробуждают ни в ком бодрости. Они никого не вдохновляют на жертвы. Они ничего не могут извлечь из человека. Унылые надзиратели в дурном коллеже. Вот их ампула.

Они мешают мне, как болезнь. (...) Вот ведь странно. Я еще никогда, никогда не был так одинок на земле. Меня словно гнетет безутешное горе.

Не знаю, найду ли в себе силы излечиться от этого. И некому мне помочь.

А люди в этой стране — ну и убожество! Отбросы всех континентов. Запасной путь, на котором приходят в негодность все составы. Замшелая провинциальная жандармерия. Смехотворная напыщенность классных наставников, чувствующих себя хозяевами положения. Видели бы вы их «ассамблею»\* — вот уж убогое зрелище! А как они из кожи лезут, чтобы уберечь от осмеяния то, что и в самом деле смешно! Смешно настолько, что страх берет.

А канцелярщина, которую они разводят в ожидании, пока им позволят открыть стрельбу! Клянусь тебе, у них нет никакого чувства юмора.

И столько вопиющих несправедливостей!

И все это медленно нарастает по мере того, как набирает силу глупость.

Глупо настолько, что страх берет.

Безобразно настолько, что страх берет.

Я сыт по горло.

Эта разобщенность с эпохой задевает меня больше всего на свете. Мне уж так хочется расстаться со всеми этими олухами! Что мне делать здесь, на этой планете? Со мной не хотят иметь дела? Какое удачное совпадение: я с ними тоже не хочу иметь ничего общего! Я с удовольствием попросил бы уволить меня с должности их современника. Среди них нет ни одного, кто мог бы сказать мне хоть что-нибудь интересное. Они меня ненавидят? Это утомляет меня больше всего, я хотел бы отдохнуть. Быть бы мне садовником, окруженным плодами. Или умереть.

Боже мой, я ведь все-таки несколько раз в жизни был счастлив — правда, всегда ненадолго. Так почему у меня нет



больше права на одно-единственное безоблачное утро? И грустно, грустно, что надеяться больше не на что.

О нет, грусть моя — не от хвори. Я-то прекрасно знаю, что для меня нестерпима социальная неприкаянность. Я весь наполнен гулом, как раковина. Не умею быть счастливым в одиночку. Как бодро, весело было, когда я работал в «Аэропосталь»! А какое это было великое дело! Не могу я больше в этом убожестве. Не могу.

Жизнь в одиночном заключении, без веры. Эта дурацкая комната<sup>1</sup>. И никакого завтрашнего дня. Не могу больше в этом гробу.

Да, вот еще: так, мелочь.

Встречаю сегодня утром генерала Р. (бывший начальник разведотдела).

— А, здравствуйте, Сент-Экс. Между прочим, будьте начеку...

— А что такое?

— Дорогой мой, берегитесь того, берегитесь сего...

— Что вы имеете в виду?

— Предостеречь друга — наш долг. Будьте же осторожны...

— Ладно.

Так я больше ничего из него и не вытянул. Здесь, в Межсоюзническом комитете, натываюсь на Ложье\*.

Ничтожество, ректор Академии. Восседает среди верховных жрецов режима. Изволил меня заметить.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

И тут он, окруженный верховными жрецами, на меня обрушивается:

— Здравствуйте, уважаемый член Национального совета Петена!\*

---

<sup>1</sup> Доктор Пелисье отвел Сент-Экзюпери маленькую, узкую комнату, похожую на кладовку: по одну сторону от окна — бельевые шкафы, по другую, вдоль стены — небольшая кровать. — Прим. фр. издателя.

— Я?

— А кто же? Да, хорош ваш Петен!

Тут вмешивается один из жрецов, состоящих в свите этого хама:

— Как! Неужели вы член Национального совета?

И Ложье ему в ответ:

— Конечно, кто же этого не знает!

Вы помните это злополучное назначение, которым я обязан какому-то мерзавцу. Вы помните, в какой я был ярости, помните, что я сразу заявил протест. Но к чему пытаться что-либо объяснять? В атмосфере страстей, вскипающих вокруг выборов, слишком сложно развеять клевету. Я отрезал:

— Вы прекрасно знаете, что ведете себя сейчас как последний мерзавец.

И все. А что мне оставалось сказать?

Говорю вам, стена становится все толще. Говорю вам, ненависть вокруг сгущается. Еще говорю вам, что я не вынесу утраты солнца. Приехав сюда, я попал в ловушку.

Мне не выдержать ни клеветы, ни оскорблений, ни этого неописуемого бездействия\*. Я не умею жить вне любви. Я всегда говорил, действовал, писал только побуждаемый любовью. Я люблю свою страну куда больше, чем все они, вместе взятые. Они любят только самих себя. До чего странная у меня судьба! Она неумолима, как лавина в горах, а я совершенно бессилен. За всю жизнь не могу упрекнуть себя ни в одном шаге, продиктованном ненавистью или местью, ни в одном корыстном поступке, ни в одной строчке, написанной ради денег.

А чувствую себя все-таки, как заживо погребенный.

Все это странно, странно, странно.

Может быть, уехать? Но я уже по колено увяз в этихzybучих песках. Вытащить из них ноги было бы невероятным чудом. Завтра я завязну до пояса. Все идет к тому, что я окажусь в тюрьме. Но там-то и проявится их слабость: ведь если мне больше нравится спать, кто может мне в этом помешать?

Я подумываю, не сжечь ли мою книгу\*? Если у меня украдут Рукописи — не хочу, чтобы они валялись на их грязных кухнях.

Горе мое выше моих сил. (...)

Вы видите: я не понимаю жизни. Ночами на меня наваливается тоска. По родным. По родине. По всему, что я люблю.

Не могу забыть, какой чудесный покой нисшел на меня в последнюю ночь в Ливии\*. Говорите со мной, заставляйте меня любить жизнь. Когда я показываю карточные фокусы\*, я выгляжу веселым, но не могу же я показывать фокусы себе самому, и на сердце у меня смертельный холод.

Тут затевается новый журнал «Арш», который намерен перепечатать «Письмо заложнику» \*. Я к этому не стремился. У меня нет ни малейшей охоты снова привлекать к себе внимание, слушать, что говорят обо мне, или говорить самому. Один тип из окружения Ложье сказал мне: «Я отказался сотрудничать в «Арш», потому что, по слухам, там будут печатать вас!» Вот она, нескрываемая ненависть! Нескрываемое негодование! Если этот тип меня расстреляет, ему, несомненно, будет казаться, что он спас мир. От чего? Я ненавижу — и куда сильнее, чем он, — все виды предательства. Я люблю — и намного сильнее, чем он, — все, что связано с Францией. Что до немцев, то я не раз дрался и еще буду драться с ними, рискуя головой. В отличие от него. Так в чем же дело? Нет, с меня довольно.

Скандал с Ложье... Это, по-моему, и впрямь бесподобно. Я чувствую, что окружен ненавистью. Я все чувствую. Но я гадал: «Что они могут мне сделать?»

Я рассуждал так: «Я сражался за мою страну, несмотря на возраст, я выступал против захватчика — и устно, и письменно. Я всегда ненавидел политику, и никто ни в чем не может меня упрекнуть... Я чувствую, что паровоз набирает ход, но куда он держит путь?»

И вот наконец этот подонок разрешает мое недоумение. Господи, как я был глуп! Я начисто забыл о том случае! О дурацком назначении, о котором я не был даже официально извещен. Следовательно, не был обязан официально его отклонить. Тем не менее я тут же по всей форме отказался от него через американскую прессу и радиовещание, после чего уже никто со мной об этом не заговаривал, и я был уверен, что с этой нелепостью покончено.

— Ага! Ага! Так вы до сих пор являетесь членом совета...

— Послушайте, это же чепуха! Я отказался...

И тут этот подонок перебивает:

— Несколько слов для прессы, чтобы угодить прессе, это не считается. А где ваше заявление об отставке? **ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ!**

И все это с видом жандарма, ловко припершего мошенника к стенке! Остальные качают головами и думают про себя невеста что!

А я, чтобы все разом уладить, попросту поворачиваюсь к ним спиной.

Вот куда идет паровоз! Случаю со мной дается законный ход. Он уже подлежит ведению «закона». И этот подонок скажет мне: «Бог свидетель, я вас люблю и уважаю! Но разве мы вправе делать для вас исключение? Ваш «случай» достаточно распространенный... Взять хотя бы Пейрутона! Тоже, надо думать, приличный человек, патриот (...)».

Все это тошнотворно и в то же время восхитительно. Все



идет по пути, предначертанному провидением. И надвигается на меня. Медленно так надвигается.

У меня адские боли в позвонке. Пелисье несколько озадачен моим переломом. Это как будто не такой перелом, который лишает человека способности передвигаться: сломан поперечный отросток пятого поясничного позвонка. Но мне кажется, что у меня что-то другое. Пелисье предлагает ультрафиолетовое облучение, но я и слушать не хочу. Он говорит: «Это снимет боли», но мне наплевать на боли. Они мне нужны как симптомы.

И вообще, боль—это нечто дружественное. Она неплохой компаньон. И такой преданный...

Я боюсь только тоски. Тревоги за тех, с кем нельзя больше быть рядом.

Я тревожусь за них. Старая история, вечно я рвусь в «спасатели»! Если мне не дадут к ним присоединиться—все их несчастья камнем лягут мне на сердце. Боюсь бессонных ночей, боюсь (...)

Возня вокруг моей книги меня раздражает. Но что же, по-вашему, позволить им все чернить? Или выискивать у меня то, что достойно их похвал? Найти можно все, что хочешь. Доказательством тому служит генерал Ложье, но меня от этого мутит.

Иногда мне выпадает удача испытать страдание, в котором нет ничего низкого. Это боль в позвоночнике. Но боль эта не настолько велика, чтобы по-настоящему меня утешить.

Нынче вечером мне хотелось бы вволю наплакаться. Мешает сознание того, что все это смешно. Весь этот цирк, и этот Ложье, и это жульничество!

У меня есть какое-то социальное чутье. Я никогда не ошибался. Вот уже год, как я все понимаю. Я... мне, конечно, плевать на себя, но я—это пятьсот тысяч. И я твердо знаю, что мои помыслы чисты.



Три дня спустя. Холодно. Спина ноет. У Пелисье не топят (нет камина). Зуб на зуб не попадает. Ложусь в двух пижамах, кальсонах и в халате. Ночь мне удастся превратить в нечто сносное. Но дни омерзительны.



Это, конечно, я в тюрьме. Может быть, мне нужно очутиться в тюрьме. Не кончая самоубийством. Я обязан выплатить какой-то чудовищный долг.

В истории с Ложье меня бесит бесчестье. Не люблю бесчестья. Мерзко подумать, что меня посадят в тюрьму как пособника палачей. Это полностью противоречит истинным моим убеждениям. Сесть в тюрьму за приверженность к СВОЕЙ религии, пожалуй, и не обидно. Но поплатиться тюрьмой за чужую—это уж из ряда вон.



Ну разумеется, почему бы и не тюрьма? Мне до безумия хочется покончить с собой. (Но тут уж дело в тоске, а над ней я не властен.) Вопрос в одном—сколько я выдержу. Может быть, больше, чем мне кажется. (Но я ведь уже столько вытерпел!)

Быть может, это вернет меня на путь истинный...

Один бог знает. (Да здравствует бог, как вы говорили.)



Рисунки у меня не получаются. На три тысячи—один удачный. Вот и этот не вышел.

Если я кое-как научился писать, то лишь потому, что ясно вижу свои недостатки. Ни одна неудачная фраза от меня не

ускользает. Не так уж глупо я когда-то сказал: «Я не умею писать, я умею только править».

Вкратце, что такое «голлизм»?

Группа частных лиц (это все были частные лица) сражается вне Франции, которая побеждена и должна спасти сама свое существование. И это очень хорошо. Франции следует участвовать в борьбе.

Генерал такого иностранного легиона\* мог бы в своей борьбе рассчитывать на меня. Но эта группа частных лиц выдает себя за самую Францию (а Франция—это Трефуэль, это Диди).

Эта группа хочет извлечь для себя выгоду из приносимой ею жертвы, хотя эта жертва меньше, чем жертва Франции (не говоря о том, что из истинного самопожертвования выгод не извлекают).

Из того, что она участвует в борьбе за пределами Франции, представляя собой самый обычный иностранный легион, эта группа намерена извлечь такую выгоду, как управление завтрашней Францией!

Это бессмыслица, потому что самопожертвование *по сути своей* не дает никаких прав. Вот главное.

Это бессмыслица, потому что завтрашняя Франция должна возродиться (если ей вообще суждено возродиться) из собственной плоти. Из той плоти, которая дала узников, заложников, детей, умерших с голоду. Это тоже главное.

Их ассамблея? Недурно разыграно. Но это спектакль, и этот спектакль смешон.

Они думают, что они—Франция, а должны бы понимать, что они—из Франции, а это совершенно разные вещи!

Пьер Кот, вернувшись из Соединенных Штатов, урезонивает Великого Могола\*:

— Вы заблуждаетесь, Соединенные Штаты нельзя сбрасывать со счетов... Там искренне любят Францию. Рузвельт—больше француз, чем все республиканцы, вместе взятые. В интересах страны следует его поддерживать, а не шельмовать. Необходимо взять курс на дружбу с Соединенными Штатами... Необходимо в интересах Франции...

— После того как они так со мной обошлись\*?

Он утомителен.

Личности, которые разгуливают с собственным пьедесталом под мышкой, очень утомляют зрителей.

Вы мне писали? Если писали, то о чем? Я не получил никакого ответа на свое письмо. Остерегайтесь передавать письма «с оказией», даже если доверяете гонцам. Беда в том, что люди ленивы. Приехав сюда, они, не имея в своем распоряжении автомобиля, сдают письмо на почту. А это все равно, что пропечатать его в газетах...

— Очень, очень милый человек, но придется его расстрелять...

— За что?

— Он причина того, что в Соединенных Штатах не признают генерала де Голля...

В самом деле? Как лестно! Как я горд собой!

О люди...

Этот толстый дурень С.

— В Бразилии вас хотели расстрелять!

— Вот как?

Дурнем он был всегда, а вот растолстел недавно. «Опух в опале» — недурно звучит!

Он только забыл прибавить, этот толстый дурень, что сам способствовал этому! Я еще тогда, в Соединенных Штатах, был вне себя от ярости: он в своих выступлениях цитировал «Военного летчика» в перевернутом виде! Он извлекал из моей книги аргументы в пользу своей рыхлой и тупой политики! Эта улитка С. ничуть не благороднее какого-нибудь там Анри Э\*... Что бы вы ни имели в виду, всякие мерзавцы начинают за вас цепляться и размахивать вами. Все дезертиры, все банкроты, отсиживающиеся в Южной Америке, объявили себя голлистами. Это придавало им весу. Улитки-коллаборационисты ссылались на «Военного летчика», безбожно перевирая его... А что поделаешь!

Люди!

Теперь, когда он оказался без работы, от его елейных разглагольствований об «иностранных делах» скулы сводит.

Когда он говорит мне: «Вы были нашей совестью!» — меня мутит от омерзения. Какая совесть у сиропы!

Ненависть. Все делается под знаком ненависти. Несчастливая страна! Жиро — пугало огородное и как таковое шума не боится. Это сущность его военной отваги. Но, будучи пугалом, он боится ветра.

И тот, другой, для которого сам господь бог — голлист.

И вся эта банда крабов, которые умеют только одно — ненавидеть.

Ах, страна моя...

А мой «министр», Летроке\*, которого извлекли из нафталина, эксгумировали из недр музея Гревен\*, — до чего же ему хочется, чтобы его принимали всерьез!..

Один генерал спросил: «Летроке — кто это?»

Тридцать суток заключения в крепости.

В Дакаре, в кабаке, некий командир соединения изрек, глядя на портрет Великого Могола:

— Приколите его как следует, а то вон кнопки выпали! А лучше вставьте в рамку, под стекло, по крайней мере красивее будет...

«По крайней мере»... Пятнадцать суток строгого ареста за «по крайней мере»!..

Один полковник в дакарском кабаке заметил:

— В тунисской армии\* было больше раненых, чем в армии де Голля — солдат.

(Кстати, это верно.)

Полковника стерли в порошок — поделом ему.

Снова преследуются виновные в оскорблении величества, снова имеет силу закон о святотатстве.

И это в разгар борьбы с нацизмом!

Ну как, скажите, мне все это выдержать?

«Мне так горько, что сил больше нет...»

Я сказал себе эти слова потихоньку, словно они бог знает как поэтичны: хотелось немного поплакаться. То, что я писал тогда о Ливии,— правда. Когда в последний день на рассвете парашюты оказались сухими\* и я решил, что мне конец, я минут десять лежал не двигаясь и утешался одной-единственной фразой, которая очень трогала меня: «Сердце высохло... высохло... из него не выжать ни слезинки!»

Такого же утешения я искал и сейчас; свернулся на кровати и твердил, баюкая себя: «Мне так горько, что сил больше нет...»

Но эти слова — словно китайские рыбки. Вынутые из воды, они уже ни на что не похожи. Вот так и слова, выхваченные из сна...

И все-таки это правда. Мне так горько, что сил больше нет (...)



24-12-43

Рождественская ночь.

В поместье Ла-Моль у дяди Эмманюэля\* помню изумительный вертеп: ясли с овцами, лошадьми, быком; а еще там были пастухи, и ослик, и трое царей-волхвов, каждый вдесятеро выше лошади, а главное — запах воска: он для меня неотделим от всякого праздника... Мне было пять лет.

Благодарность, возносимая миром за рождение крошечного ребенка, — как это поразительно! Две тысячи лет спустя! Род человеческий сознавал, что должен взрастить чудо, как дерево растит свои плоды; и вот он весь стеснился вокруг чуда — какая в этом поэзия!

Цари-волхвы... Легенда или история? А до чего красиво!

Как странно! Я думал о тюрьме. Лежал в постели и представлял себе. Представлял какой-нибудь неожиданный поворот событий, который позволит мне выкрутиться. Такой ход, потом еще такой — и партия выиграна!

Между тем на сей раз, если гроза грянет, мне уже не отвертеться. По крайней мере мне сейчас кажется, что я сам не захочу уклониться. Выпью эту чашу до дна. Уклонившийся утрачивает свою судьбу и словно проваливается в никуда. Это несерьезно.

Корнильон-Молинье предлагает мне в январе — феврале поехать с ним в Россию. Я согласился\*. Надо же мне куда-то деваться, а там хотя бы мой возраст не будет мне помехой на войне. Но что же тогда станет с этой алжирской помойкой?

Боли в спине все сильнее. Я по-прежнему отказываюсь от ультрафиолетовых лучей, которые навязывает мне мой гостеприимный хозяин. Облучать сломанную кость — эта глупость просто бесит меня.

Конечно, в пехоту я больше не гожусь. Но я никогда особенно не любил ходить пешком: всегда был тяжел на ногу.

В двадцать пять — ревматизм, проболел четыре года. Потом Гватемала\*. И так далее.

Вероятно, самолет был для меня своеобразной компенсацией (...)

Да, работать! Но где? И как? И зачем, если все равно придется сжечь плоды своего труда?

Может быть, ничего и не случится — но это еще не значит, что я ошибаюсь. С тех пор как вы живете там, вы должны были до некоторой степени понять, что такое эта ненависть, над

которой вы, слушая мои рассказы, подчас посмеивались. Они насыдут на меня, если из-за меня их начнут — или не начнут — ругать в Америке. Вот и все. Если бы не это...

Когда ненависть исходит от какого-нибудь Ложье — это вполне естественно. Он ненавидит меня точно так же, как я его презираю. Меня тошнит от его рассуждений, от этих махинаций с человеческими жизнями, от суетности, которое ни во что не вникает, но надо всем вершит суд, от готовности приспособиться к любой низости и тупости. Неужели он когда-то был ребенком? Быть не может. Такие, наверно, рождаются прямо в пенсне.

Но когда та же ненависть исходит от человека пусть взбалмошного, но чистого, она меня деморализует. Как неудача в любви. Невозможность найти общий язык с людьми всегда была для меня нестерпима. У меня сразу же пропадает всякая вера в то, что я не могу облечь в слова.

Мне казалось, что язык — это как любовь у черепах. Нечто не вполне завершенное. Результаты будут видны через тридцать миллионов лет. Благодать будет дарована.

Люди будут понимать друг друга с полуслова.

Чтобы найти свое место, им необходимы два лагеря.

С. тянется ко мне, потому что я не голлист. Жаль. Меня-то к С. вовсе не тянет. В свое время я не до конца раскусил этого изнеженного пастыря. Эту тепленькую улитку. Меня тошнит от такой теплоты. В Бразилии он вел себя не слишком-то благо-родно. Лужа липучего сиропа. Там он записал меня в компанию «своих» — очень жаль! Но сопротивляться этому невозможно. Паразиты все равно заведутся.

Беспокойство за других настигает меня всякий раз как гром среди ясного неба. Ни с того ни с сего сваливается на меня какая-нибудь особа, которой грозят невероятные опасности, а «у нее только и есть, что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира»<sup>1</sup>. То одна, то другая. Но не могу же я бросаться вплавь на все зовы о помощи одновременно! Тем более что я и плавать-то не умею. Но тюрьма — это, вероятно, нечто вроде монастыря. Мне, пожалуй, только тогда и бывает спокойно, когда мне приходится хуже всех. Вот почему, как ни странно, боль в позвоночнике несколько меня успокаивает. И я твердо знаю, что, если бы мне было очень больно, я совсем бы успокоился.

И я твердо знаю, что, если бы я умирал, мне казалось бы, что меня окружают заботой. Это идет из детства. Поцелуют, уложат, убаюкают.

---

<sup>1</sup> А. де Сент-Экзюпери. Избранное. Маленький принц. Лениздат, 1977, с. 476. Пер. Н. Галь. — *Прим. перев.*

Но сейчас все не так. Являются, откуда ни возьмись, одна за другой, один за другим, и все одно и то же. Как для обитателя Солема — что те люди, что эти, что грех, что добродетель, что рождение, что смерть. В мою последнюю ливийскую ночь все, что я любил, представлялось мне совершенно «осязаемо».

Очень странно.

Говорят, что меня ищут, чтобы передать письмо от вас. Попытаюсь найти этого гонца.

Я кое-что обдумал. Удивительно все же (если наблюдать откуда-нибудь с Сириуса), как может измениться душевное состояние от обычного письма. Это похоже на воздействие музыки. Вас погружают в стихию Иоганна Себастьяна Баха, и все ваши ощущения меняются. Даже смерть, если она настигнет вас в это время, приобретает совершенно иной смысл. И любой ваш поступок. И любое горе.

«Признание» всегда несет в себе ни с чем не сравнимый смысл. Это удивительно. В сущности, если Бах говорит мне что-то, значит, он меня признал. А на днях мне пришло письмо, которое меня взволновало. Тот, кто писал, «признал» меня. Этому письму и тюрьма была бы нипочем. Оно просочилось бы в любую тюрьму. А ведь его автор не так уж мне дорог, но сейчас он приобрел в моих глазах какую-то всемирную важность.

Богу угрожать, разумеется, бессмысленно. И бессмысленно то, что пишет мне мой корреспондент о Бахе: ведь он — просто бог, просто «присносуший». Потому что Бах сумел то, что сумело это письмо. Не такие уж это разные вещи. И естественно, мне кажется, что я не могу жить без той, что написала мне это письмо. Но напиши мне не она, а другая — я и без той не мог бы жить. Я сразу же сказал себе: «Вот то, чего я жажду», потому что здесь для меня был готов водопой, но встретиться мне Бах или какая-нибудь старинная песня XV века, я тоже сказал бы: «Вот то, чего я жажду...» И в конце концов жажда моя минует их всех, минует Баха и устремится к какой-то общей мере всех вещей, которая мне никак не дается.

Сюда привозят *все* выходящие в Америке книги. Кроме моих. МОИ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ ЗАПРЕЩЕНЫ.

Я представляю собой недурной документ, потому что жестоко страдаю. Недоразумение или тревога поражают меня с ходу, как бандитский нож. А некоторые слова с ходу меня исцеляют.

Я, конечно, воображаю всякий раз, что имею дело с



личностями. Мне мерещится любовь (а может примерещиться и ненависть: я всякий раз проникаюсь ненавистью к тем, кто, как Л., крутит скверную музыку), но всякий раз мне мерещится, что я проникаюсь любовью или ненавистью к какой-нибудь определенной личности. И чем дольше я живу, тем полней убеждаюсь: мерещится мне не столько любовь, сколько предмет этой любви. На самом деле существуют только пути. И всякий раз подворачивается именно такое существо, которое вступает на один из этих путей. С личностью мне сразу же становится скучно. Каждый человек — церковь, в которой можно молиться, но не целый же день напролет! Бог бывает в церкви не всегда.

Человек — это час молитвы. (Но далеко не всякий человек.)

Не считая этих озарений, я на удивление одинок.

То единственное, что занимает меня в мире, дается мне молниеносными озарениями, и я не умею это схватывать. Ожог — от музыки, от картины или от любви. Вот почему я так часто думаю о празднике, в котором как бы концентрируется смысл года. И я твердо знаю, что год должен казаться пустым. Он осмысливается только во время праздника. А об отдельных его составных частях судить не могу.

Вот почему они раздражают меня, когда вникают в булыжники на дороге. Как шагнул, да как поступил, да какое слово сказал. Все шаги, все поступки, все слова кажутся мне безобразными.

Меня упрекают, почему я не осуждаю то-то и то-то — ну разумеется, я это осуждаю. Но и другую крайность тоже. А заодно и их самих! И разумеется, Дарлана\*! Ложье — дело другое! И я категорически отказываюсь превозносить этого, чтобы угодить тому. Раз они жрут из одного корыта, значит, в обоих есть низость.

Сами того не зная, они, такие, какие они есть, служат орудием определенной судьбы. Разве я виноват, что на любом божестве заводятся паразиты? Что собор возводится из таких же камней, что и бордель? Мне плевать на причины, по которым какой-нибудь там Ложье ненавидит своих врагов. И точно так же мне плевать на причины, по которым Пейрутон ненавидит Ложье. Что они могут сквозь собственные неприятности разглядеть в происходящем? Плевать я хотел на все их распри. Меня волнует только незримое пришествие. Это, конечно, не значит, что у меня есть способности к родовспоможению. Это значит лишь, что от их уровня меня мутит.

Здесь объявился Ж. и произвел на меня изрядное впечатление, хоть я терпеть не могу эту шушеру, да и жену его тоже. Всех этих королей наркотиков, преступного мира, черного рынка. Но зримый успех клеветы, поверхностных суждений и оговора всегда очень впечатляет.

Ну как, скажите, как мне хотя бы набраться решимости объяснить ему, что я ненавижу вишистский режим, который у него с языка не сходит, куда сильнее, чем он? Куда глубже. И упорней. (...)

Я понимаю, что всякий, кто прислушивается к голосу рассудка, покончил бы с собой во время разбирательства, не дожидаясь, пока его поджарят, обезглавят и распнут. Но рассудок всегда вызывает негодование у страсти: друг друга им не понять.

Я смотрю на камни, а вижу собор; но как я покажу его другим, пока он не построен?

В сущности, мне даже убивать их не хочется. Яжимаю плечами; мне очень горько.

1944

### ПИСЬМО МАТЕРИ\*

[5 января 1944 г.]

Дорогая мамочка, Диди, Пьер, все вы, кого я так люблю, что вы поделываете, как себя чувствуете, как живете, какие у вас планы? До чего же печальна эта долгая зима!

Старенькая моя ласковая мамочка, я так надеюсь, что через несколько месяцев вы обнимете меня и я буду сидеть в вашей комнате у огня и буду рассказывать вам о своих замыслах, буду спорить с вами, но не очень... и вы будете слушать меня, вы, которая во всех случаях жизни всегда права...

Я люблю вас, мамочка.

Антуан

### ПИСЬМО Х.

[Алжир, 10 января 1944 г.]

Разговор с женщиной, доставившей письмо. Любопытно. Но я предпочел бы ограничиться знакомством с ее почерком. «Я, я, я» — это чересчур утомительно. И из всех видов «я» особенно отвратительное «я ему заявила». Она заявила президенту, королю, жандарму, полковнику, пожарнику, дворнику.

Она храбра. Такие вот заносчивые люди, как правило, храбры. Храбры из вызова. Она бросает вызов королю, президенту, жандарму, полковнику, пожарнику, дворнику. Алжир она находит невыносимым, и тут она права. Но она считает невыносимыми американцев, японцев, монакцев, беррийцев, негров, индейцев, индусов, русских, немцев, марсиан, канаков.

И притом всех их она ставила на место, всех сажала в лужу. Господи, как она бывает утомительна!

Вне всякого сомнения, она оказала Сопротивлению серьезные услуги. Люди подобного типа могут вызывающе пронести коротковолновый передатчик под носом у гестапо. А женщины вроде нее наделены чисто мужской смелостью. То, что она делает, возможно, и весьма полезно, но в ее рассказах нет ничего интересного. С горечью она распространяется об обиде, которую ей нанесли, не приняв во внимание ее информацию. Она сообщала в Англию о результатах бомбежки мостов. И вот они там прислушивались не к ней. Они, дескать, доверяют лишь тем, кто, выслуживаясь, преувеличивает и сообщает, что все разрушено, даже если все целехонько. У нее есть этому доказательства... сотни идиотских доказательств. Но существует такая штука, которая называется «аэрофотосъемка». Каждая бомбардировка сопровождается аэрофотосъемкой, и на этих фотографиях можно буквально сосчитать, сколько болтов недостачивает мост. Четкость невероятная! Это куда верней, чем отправлять пешим ходом разведчика, да к тому же и быстрее! Так что они там не слушают ни ее, ни ее соперниц, а спокойно делают стереоскопические монтажи из аэрофотоснимков.

Славная девушка? В чем-то — несомненно. Но, безусловно, утомительная. Ноль.

Нынешний вечер — сплошная черная ярость. Но завтра она превратится в уныние. А сегодняшняя ярость оттого, что все мои труды последнего месяца, как я и предполагал, кончились ничем. Генерал д'Астье де ла Вижери\* сделался моим ходатаем. Буска\* (который отнюдь не герой) согласился поставить еще раз, но уже под новым углом вопрос о моей поздке в Англию. Дело таинственным образом затянулось. И тем не менее! Все казалось таким простым, ясным, нужным.

И вот сегодня вечером мне позвонил начальник отдела заграничных миссий полковник Эскарра:

— Понимаете... в следующий раз, под другим углом... возможно...

— Что, не прошло?

— Шеф...

— Понятно. Вето?

Глухая стена. (...)

Вина моя все та же: я утверждал в Соединенных Штатах, что можно быть хорошим французом, настроенным антигермански, антинацистски, и не считать голлистскую партию будущим правительством Франции. Да, в сущности, проблема эта нелепа. Решать будет Франция. За границей можно служить Франции, но не управлять ею. Голлизм должен стать оружием в борьбе, должен поставить себя на службу Франции. Но они негодуют,

когда им говоришь это. Три года я здесь от них только и слышу о будущем правительстве Франции. Но я никогда не предаю «свою сущность». Франция—не Виши, но Франция—и не Алжир. Франция—в подполье. И если ей так хочется, пусть отдаст себя «алжирцам». «Но они не имеют на это никакого права!»

Я абсолютно уверен, что она выберет их. Из ненависти к вишистской мерзости. И по незнанию их сути. Вот бедствия времени, когда отсутствует всякая информация. Террора не избежать. И расстреливать при этом терроре будут во имя неписаного корана. Худшего из всех.

Но я не поставил на службу им «огромное влияние» (по их мнению), которым пользуюсь. Я «больше, всех ответствен» за их неудачу в Соединенных Штатах! Только «из-за меня они до сих пор не в правительстве»! Смешно до невозможности!

Ничего себе формирование политических пристрастий! Мне это безумно льстит...

Но этим и объясняется тяжесть досье, пухнувших у меня над головой. Великолепная находка для них! Тошнит.

Сюда прибыла большая партия книг из Соединенных Штатов. Только моих нет в продаже. Я зачумленный... Ну и ладно, плевать мне на это.

## ПИСЬМО Ж. ПЕЛИСЬЕ,

подсунутое ему ночью под дверь

I 1944 г.]

Старина, я ложусь поздно, потому что всегда мог работать только ночью, и, хотя мне требуется в среднем часов семь сна, мне нипочем встать в 4, 5, 6, 7, 8, 9 утра... и вообще проснуться в любое время. Нипочем мне это и по той причине, что, если по телефону ничего срочного не сообщат, я тут же засну опять.

При той нелепой жизни, какой вынуждает меня жить г-н Летроке, я, вполне естественно, предпочитаю писать по ночам (днем из-за шума и суеты я это делать не могу), а утром спать, что лучше, чем бездельничать. Тем не менее я в любое время в распоряжении каждого, кому нужен, и мне будет крайне неудобно, если обо мне пойдут слухи, будто я прошу не беспокоить меня по утрам.

Это и случилось сегодня, так как вы из дружеских чувств решили оберечь мой сон. На коленях умоляю вас не обращать внимания на то, что я сплю. (Это примерно то же, что для вас вызов в больницу.) Если вы еще не встали, я пойду звонить в кабинет или гостиную и нисколько вас не потревожу. Поймите, я предпочитаю не спать шесть ночей подряд, чем дать кому-нибудь возможность подумать (особенно имея в виду мою профессию), будто я не разрешаю тревожить себя до десяти

утра. Я из-за этого выгляжу этакой ' смешной «барынькой». Будите меня без каких бы то ни было угрызений совести, даже если я только что лег. Моя работа по ночам не касается моих корреспондентов. Заранее благодарю.

## ПИСЬМО ИВОННЕ ДЕ ЛЕТРАНЖ\*

[февраль 1944 г.]

Ивонна, дорогая, как мне тебя не хватает! Мне так много нужно тебе сказать, так много! И очень хотелось бы знать, что ты делаешь, как поживаешь, о чем думаешь в эту эпоху вавилонского столпотворения, когда все языки утратили смысл.

Может быть, там, где ты, все на удивление здорово — и направленность мыслей, и направленность чувств, но тут, где пребываю я, — стоячая лужа. И лягушки распевают оперу. Если у нас повсюду так, можно отчаяться в жизни.

У меня потребность восстановить человеческое доверие. Я ненавижу политику. Ненавижу сухие и ложные идеи. Мне так необходимо все пересмотреть заново, исходя единственно из сущности. Жить дружбой, домом, садом...

Я пытаюсь делать, как лучше. Ты это знаешь.

Обнимаю тебя изо всех сил.

Антуан

## ПОСЛАНИЕ АМЕРИКАНЦУ\*

В апреле 1943 года я покинул Соединенные Штаты, чтобы присоединиться в Северной Африке к моим боевым товарищам из «Flight to Arras»<sup>1</sup> \*. Я плыл на одном из кораблей американского конвоя. Конвой в тридцать судов вез из Соединенных Штатов в Северную Африку пятьдесят тысяч ваших солдат. Когда, проснувшись, я прохаживался по палубе, то видел вокруг настоящий плавучий город. Тридцать кораблей мощно вспарывали море. Но у меня возникало не ощущение мощи, а нечто совсем иное. Конвой рождал во мне ликующее чувство крестового похода.

Американские друзья, мне очень хотелось бы в полной мере воздать вам должное. Возможно, между нами и вами когда-нибудь возникнут более или менее серьезные трения. Каждая нация эгоистична. И каждая нация считает свой эгоизм священным. Может быть, сегодня или завтра ваша уверенность в своей материальной мощи заставит вас добиваться каких-то преимуществ, которые нам покажутся оскорбительными. Когда-нибудь между вами и нами могут возникнуть достаточно серьезные

---

<sup>1</sup> «Полет к Аррасу» (англ.)

разногласия. Войны всегда выигрываются энтузиастами, но мирные договоры зачастую диктуются деловыми людьми. Ну что ж, даже если когда-нибудь в душе я и буду порицать их решения, это все равно никогда не заставит меня позабыть те благородные цели, которые поставил перед собой в этой войне ваш народ. Я всегда буду готов признать высочайшие достоинства вашей глубинной сущности. Нет, не ради корысти американские матери послали своих сыновей на войну. Не ради корысти американские парни готовы рисковать жизнью. Я знаю и впоследствии расскажу у себя на родине, каким крестовым походом духа стала для каждого из вас эта война.

И как одно из многих доказательств я приведу два запомнившихся мне факта.

Вот первый.

Во время плавания я, естественно, находился среди ваших солдат и невольно наблюдал, как ведется среди них военная пропаганда. Пропаганде, чтобы быть действенной, должно вызывать не знаю уж к каким чувствам — благородным, обыденным или низменным. Если бы ваши солдаты участвовали в этой войне только ради защиты американских интересов, пропаганда ежедневно твердила бы им об угрозе вашим нефтяным промыслам, вашим каучуковым плантациям, вашим рынкам сбыта. Но она почти не касалась таких тем. А раз она говорила о другом, значит, ваши парни хотели понять это другое. Так о чем же рассказывали им, чтобы объяснить, почему они должны жертвовать собой? Им рассказывали о заложниках, повешенных в Польше. О заложниках, расстрелянных во Франции. Рассказывали, что новая рабовладельческая система грозит задавить чуть ли не половину человечества. То есть говорили не о них, а о других. Выработывали в них чувство солидарности со всеми людьми Земли. Пятьдесят тысяч солдат плыли на нашем конвое, чтобы спасти не только гражданина Соединенных Штатов, но и Человека, уважение к Человеку, свободу Человека, величие Человека. Благородство вашего народа придало и благородство пропаганде. И если даже когда-нибудь ваши творцы мирного договора, исходя из своих политических и материальных интересов, в чем-то ущемят Францию, они тем самым исказят ваше подлинное лицо. Как могу я позабыть, за какое великое дело сражался народ Соединенных Штатов?

Вера в вас подтвердилась и в Тунисе, где в июле 1943 года я вместе с вашими летчиками летал на «Лайтнингх». И вот второе доказательство. Как-то вечером двадцатилетний американский летчик пригласил меня и моих друзей поужинать. Его мучила моральная проблема, которая казалась ему очень серьезной. Но он был стеснителен и не решался рассказать нам о тайной драме, не дающей ему покоя. Чтобы он чуточку осмелел, пришлось слегка его подпоить. И наконец, покраснев, он признался:

«Сегодня утром у меня был двадцать пятый боевой вылет.

На Триест. Меня чуть было не перехватили «Мессершмитты-109». Завтра я опять полечу и, возможно, меня собьют. Вы знаете, за что воюете: за освобождение своей родины. Но меня ваши европейские проблемы не касаются. Наши интересы сосредоточены в Тихом океане. И если все-таки я пошел на риск быть похороненным здесь, то, как я понимаю, лишь для того, чтобы вернуть вам вашу землю. Каждый человек имеет право жить свободным в своей стране. Я чувствую себя солидарным со всеми людьми. Но когда я и мои соотечественники поможем вам освободить ваш дом... вы ведь в свою очередь можете нам в Тихом океане?»

Мы готовы были расцеловать нашего юного друга! В минуту опасности он испытывал потребность услышать от других подтверждение своей веры в человеческую солидарность. Разумеется, я прекрасно понимаю, что война неразделима и что его полет в Триест непосредственно служит американским интересам на Тихом океане. Но он-то не знал всех этих тонкостей. И все равно готов был завтра встретиться с опасностью, «чтобы вернуть нам наш дом». Как позабыть такое? Естественно, что и сегодня, вспоминая это, я испытываю волнение.

Видите ли, мои американские друзья, у меня впечатление, что на нашей планете возникает нечто небывалое. Материальный прогресс нового времени, вне всякого сомнения, соединил всех людей чем-то вроде настоящей нервной системы. Эти связи неисчислимы. Средства сообщения моментальны. В физическом смысле мы объединены, словно клетки тела. Но у этого тела пока еще нет души. Этот организм еще не осознает себя. Рука не ведает, что она связана с глазом. Именно сознание будущего единства смутно томило двадцатилетнего летчика, зарождалось в нем...

Ваши молодые люди гибнут на войне, которая, несмотря на все свои ужасы, впервые в мировой истории оказалась для них неосознанным выражением любви. Не предайте же их! Пусть, когда настанет срок, именно такие люди продиктуют условия мира! И пусть этот мир будет похож на них! Это благородная война, и их вера в Разум облагородит мир...

Я счастлив быть и со своими французскими товарищами, и с ними. После первых полетов на «Лайтнингах» обнаружился мой возраст. Сорок три года! Скандал! Американские уставы бесчеловечны. В сорок три года не полагается летать на скоростных самолетах вроде «Лайтнинга». Длинная седая борода может попасть в механизм управления и привести к аварии. И вот несколько месяцев я был не у дел...

Но как можно думать о Франции и не брать на себя доли риска? Там страдают. Там ведут жестокую борьбу за то, чтобы выжить. Там умирают. Как, сидя где-нибудь в пропагандистском ведомстве, осуждать пусть даже худших среди тех, кто каждой своей клеткой переживает там трагедию? И как любить лучших? Ведь любить—это значит соучаствовать, разделять. Наконец свершилось чудо: по великодушному решению генерала



Эйкера\* я лишился седой бороды и снова получил «Лайтнинг»...

Я снова встретил Гавуаля\*, того самого, из «Flight to Arras»,— в вашей группе дальней разведки он командует нашей французской эскадрильей, и Ошеде\*, которого некогда во «Flight to Arras» назвал святым войны и которого война в этот раз убила на «Лайтнинге». Я встретил здесь всех тех, про кого писал, что под пятою захватчика они были не побежденными, но зернами, вдавленными в безмолвие земли. После долгой зимы перемирия зерна проросли. Моя бывшая эскадрилья, подобно дереву, вновь возвратилась к жизни. Я счастлив снова участвовать в полетах на большой высоте, так похожих на погружения водолаза. Обвешанный варварскими приборами, окруженный множеством циферблатов, ты углубляешься в запретные области. Дышишь над своею родиной кислородом, произведенным в Соединенных Штатах. Ну не удивительно ли это—воздух Нью-Йорка в небе Франции? Пилотируешь стремительное чудище, именуемое «Лайтнинг П-38», на борту которого возникает ощущение, будто ты не перемещаешься, а оказываешься сразу над целым континентом. А назад привозишь фотоснимки, которые идут на стереоскопический анализ, так же как стеклышки с посевом идут под микроскоп. Дешифровщики фотоснимков работают, подобно бактериологам. Они находят на теле Франции, которой угрожает опасность, следы пожирающих ее вирусов. Вражеские доты, вражеские склады, вражеские эшелоны проявляются под окуляром, словно крохотные бациллы. От них можно погибнуть...

...И еще мучительные раздумья во время полета над Францией, такой близкой и в то же время такой далекой! Кажется, будто от нее тебя отделяют столетия. На высоте тридцати пяти тысяч футов взору открываются любовь, воспоминания, смысл жизни, озаренные солнцем и такие же недостижимые, как сокровища фараонов в витрине музея...

Антуан де Сент-Экзюпери

## ПИСЬМО ЛЬЮИСУ ГАЛАНТЬЕРУ

[май 1944 г.]

Дорогой, дорогой Льюис,

После нескольких полетов над Францией ваши соотечественники сочили меня чересчур старым, чтобы летать на большой высоте. И я сидел без дела. Однако благодаря любезности американского генерала Эйкера, согласившегося сделать для меня исключение, я вновь восстановлен в качестве пилота «Лайтнинга П-38». Скорость этого самолета превышает как-никак восемьсот километров в час. А я—вне всяких сомнений—старейший среди союзнических и неприятельских

летчиков! В сорок четыре года я все еще, как юноша, летаю со скоростью восемьсот километров в час на высоте тридцать пять тысяч футов!

Джон Филипс, репортер «Лайф», только что сделал репортаж о нашей эскадрилье. Он представил его как продолжение «Flight to Arras». Не согласитесь ли вы, так много сделавший для успеха этой книжечки, оказать мне огромную любезность и перевести не то пять, не то шесть страниц ответов на вопросы? Это доставило бы мне огромную радость.

Дорогой Льюис, в такой дали от всех вас я превращаюсь в старика. Но я тысячу раз предпочитаю свое нынешнее положение алжирской помойке. Гнуснее этого мне уже ничего не увидеть. Зато французская армия (не политика) совершенно великолепна.

Дорогой Льюис, обнимаю вас и всех, кто вокруг вас. Ваш  
Сент-Экс

### ПИСЬМО Г-ЖЕ ФРАНСУА ДЕ РОЗ \*

[май 1944 г.]

Благодарю вас, дорогая Ивонна, за многое-многое. Не могу даже сказать за что (то, что идет в счет, незримо...), и тем не менее раз мне хочется вас поблагодарить, значит, у меня есть для этого основания.

Впрочем, это все неважно. Саду не говорят спасибо. А я всегда делил человечество на две части. Есть люди-сады и люди-дома. Эти всюду таскают с собой свой дом, и ты задыхаешься в их четырех стенах. Приходится с ними болтать, чтобы разрушить молчание. Молчание в домах тягостно.

А вот в садах гуляют. Там можно молчать и дышать воздухом. Там себя чувствуешь непринужденно. И счастливые находки сами возникают перед тобой. Не надо ничего искать. Вот бабочка, вот жук, вот светлячок. О цивилизации светлячков ничего не известно. Об этом можно поразмышлять. У жука такой вид, словно он знает, куда направляется. Он очень спешит. Это поразительно, и об этом тоже можно поразмышлять. Бабочка. Когда она садится на большой цветок, говоришь себе: для нее это — словно она на качающейся террасе висячих садов Вавилона... А потом замечаешь первые звезды и — замолкаешь.

Нет, я вовсе не благодарю вас. Вы такая, какая есть. Просто мне захотелось еще раз у вас прогуляться.

И еще я подумал вот о чем. Существуют люди-шоссе и люди-тропинки. Люди-шоссе наводят на меня скуку. Мне скучны щебенка и километровые столбы. У людей-шоссе четко определенная цель. Барыш, амбиции. А вдоль тропинки вместо километровых столбов орешник. Бредешь по ней и щелкаешь орехи. Ты на ней для того, чтобы просто-напросто быть на ней.

И шагаешь для того, чтобы идти по ней, а не куда-то, куда тебе необходимо. А от километрового столба ждать совершенно нечего...

Ивонна, дорогая Ивонна, люди нашей эпохи попали в ловушку. Телефонная цивилизация невыносима. Подлинное присутствие сменилось карикатурой на присутствие. С человека на человека теперь переключаются так же, как в одну секунду поворотом ручки приемника переключаются с Иоганна Себастьяна Баха на «Пойдем-ка, цыпочка». Нынче ни на чем не сосредоточишься, человек сейчас во всем и ни в чем. Ненавижу это растворимое человечество. Если я где-то нахожусь, то я там как бы навечно. Сядь на скамейку, я желаю сидеть на ней вечность. Я имею право на своей скамейке на пять минут вечности.

Вы, разумеется, встречаетесь со слишком многими людьми. И это раздражает. Они вас обкрадывают. И вечером вы, конечно, в состоянии величайшего уныния. Во всяком случае, у вас было бы такое чувство, не мешай вам об этом думать телефон, не будь он постоянно под рукой. И тем не менее очень интересно побыть некоторое время рядом с вами. Даже секунду, если это «некоторое время» — секунда. Вы присутствуете в пожатии руки, в приветствии, даже в прощании. Вы спешите только в вещном, зримом мире. А втайне от себя самой неспешным шагом проходите по саду. И эта ваша истинная походка безмерно мне дорога.

Это, безусловно, означает, что вы нерастворимы. Но будьте все-таки настороже. Крутить слишком много ручек у приемников — изнурительно, даже если человек нерастворим. Даже если он умеет превратить одну секунду Баха в вечность. Дураки очень опасны. И еще интеллигентные люди, когда они собираются группой. Интеллигентность — это дорога. А сто дорог разом — уже рыночная площадь. Это уже теряет смысл. Приводит в отчаяние.

Я становлюсь седым стариком, который сидит и покачивает головой. словно сожалею о молодости, что прошла во времена повозок, запряженных волами. Мне бы надо быть меровингским королем\*. Однако я всю жизнь разъезжал. Даже немножко устал от разъездов. Только сейчас я по-настоящему понимаю знаменитую китайскую пословицу: «Три вещи не дают возвыситься духом. Во-первых, путешествие...» И то, что мне раз двадцать говорил Дерен\*: «Я знал лишь трех поистине великих людей. Все трое были неграмотны. Савойский пастух, рыбак и нищий. Они ни разу не уезжали из родных мест. За всю мою жизнь они единственные, кто снискал мое уважение...»

И еще очаровательные слова бедняги Жоз Лавалья\* по возвращении из Соединенных Штатов: «Ужасно рад, что вернулся. Я не дорос до небоскребов, я на уровне осла...»

У меня изжога от километровых столбов. Они никуда не ведут. Надо было родиться в другое время...

Ожидая, когда же у меня появится призвание уйти в Содем

(григорианские песнопения так прекрасны), или в тибетский монастырь, или стать садовником, я вновь выжимаю рычаги газа и со скоростью шестьсот километров в час лечу в никуда...

Именно поэтому, Ивонна, дорогая Ивонна, я совершил тихую прогулку в этом письме, в котором нет, в общем, никаких важных известий и которое, несомненно, будет трудно прочесть (я слишком стар, чтобы исправлять свой почерк). Да оно и не имеет никакого значения. Просто-напросто я пять минут вечно-сти посидел в дружеской сени.

Сент-Экзюпери

Отвечать не надо, так как я убежден, что письма никогда не дойдут до этих богом забытых мест\*, а я скоро буду в Алжире. Я вам позвоню. Самолет улетает: доверяю ему это письмецо.

### ТЕЛЕГРАММА КЕРТИСУ ХИЧКОКУ\*

6 июня 1944 г.

РАЗРЕШАЮ КОНСУЭЛО ВОЗОБНОВИТЬ ДОГОВОР СЪЕМЕ  
КВАРТИРЫ И НАДЕЮСЬ СКОРО НАПИСАТЬ ВАМ КНИГУ  
ТЧК СЧАСТЛИВ НЕСМОТРЯ ВОЗРАСТ ВНОВЬ ЛЕТАТЬ  
КАЧЕСТВЕ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА ФРАНЦУЗСКОЙ ЭС-  
КАДРИЛЬИ ВХОДЯЩЕЙ СОСТАВ АМЕРИКАНСКОЙ ГРУП-  
ПЫ АЭРОФОТОРАЗВЕДКИ ТЧК ДУМАЮ ВСЕХ ВАС СЕР-  
ДЕЧНО ВАШ АНТУАН ДЕ  
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

### ПИСЬМО Ж. ПЕЛИСЬЕ

[Тунис, 9—10 июля 1944 г. \*]

Дорогой друг,

Я здесь на два дня. Мой самолет неисправен. «Электропровода перепутались, и все перегорело: стартер, радио и пр. ...» Но когда это письмо дойдет до вас, я уже, несомненно, вернусь на свою голубятню.

Случайно узнал, что отношения между моей голубятней и Алжиром были почти что прерваны. Так что даже если меня долго не будет, не пересылайте мне мои письма. Они пропадут. И все-таки попробуйте каждый раз дублировать телеграммы. Бесконечно вам благодарен.

Возвращаюсь завтра. У меня забавное ремесло для моих лет. Следующий за мной по возрасту моложе меня лет на шесть. Но, разумеется, нынешнюю мою жизнь—завтрак в шесть утра, столовую, палатку или беленную известкой комнату, полеты на высоте десять тысяч метров в запретном для человека мире—я предпочитаю невыносимой алжирской праздности. Собраться с мыслями и работать для себя во временном чистилище я не

способен. В нем я утрачиваю общественный смысл. Но я выбрал работу на максимальный износ и, поскольку нужно всегда выжимать себя до конца, уже не пойду на попятный. Хотелось бы только, чтобы эта гнусная война кончилась прежде, чем я истаю, словно свечка в струе кислорода. У меня есть что делать и после нее.

Само собой, я восхищен моими отважными товарищами по эскадрилье. И тем не менее чудовищно страдаю из-за отсутствия человеческого общения. Все-таки, все-таки Дух — это страшно важно. Когда я ем в столовой, меня всякий раз не оставляет горестное ощущение безвозвратно потерянного времени. Я способен раствориться в любой группе, какой бы она ни была (...). Но никому и в голову не приходит, что мне может не хватать чего-то, кроме кино и женщин, как им. И однако свое «я» я по большей части затаиваю в молчании. И мне всего не хватает. (...)

## **ПАРИ МЕЖДУ СЕНТ-ЭКСОМ И ЕГО ДРУГОМ ПОЛКОВНИКОМ МАКСОМ ЖЕЛЕ\***

*15 июля 1944 г.*

Прямоугольный параллелепипед, высота которого равна диагонали основания, состоит из кубиков со стороной в 1 сантиметр. Площадь прямоугольника основания равна произведению 311 850 на некоторое неизвестное число.

Требуется определить высоту параллелепипеда.

Если полковник Желе, выпускник Политехнической школы, успеет решить мою задачу за три дня и три бессонные ночи, обязуюсь подарить ему авторучку «Паркер 51». Если же он не решит ее за трое суток, то подарит мне шесть пачек сигарет «Филип Моррис».

## **ПИСЬМО МАТЕРИ\***

*[Борго, июнь 1944 г.\*]*

Мамочка,

Мне так хочется, чтобы вы не волновались обо мне и чтобы получили это письмо. У меня все в порядке. Во всем. Грустно только, что так долго не виделся с вами. И я очень тревожусь за вас, милая моя старенькая мамочка. В какое несчастное время мы живем!

Для меня было ударом узнать, что Диди потеряла свой дом. Ах, мамочка, как бы я хотел ей помочь! Но в будущем пусть она твердо рассчитывает на меня. Когда же наконец будет возможно сказать тем, кого любишь, о своей любви к ним?

Мама, поцелуйте меня от всего сердца, как я вас целую.

Антуан

## ПИСЬМО ПЬЕРУ ДАЛЛОЗУ\*

[30 или 31 июля 1944 г.]

Полевая почта 99027

Дорогой, дорогой Даллоз, я ужасно огорчен вашим коротким письмецом! На этом континенте вы, безусловно, единственный человек, которого я почитаю таковым. Как бы мне хотелось знать, что вы думаете о нынешних временах! Я, например, предаюсь отчаянию.

Полагаю, вы считаете, что я был прав со всех точек и под любым углом зрения\*. Вот что значит добрая слава! Да наставит вас небо опровергнуть меня. Как бы я был счастлив, докажи вы это!

Я воюю, что называется, изо всех сил. Я, вне всяких сомнений,—старейшина военных летчиков всего мира. Для одноместных истребителей, на которых я летаю, установлен возрастной предел в тридцать лет. Однажды на высоте десять тысяч метров над озером Анси у меня вышел из строя один мотор, и было это как раз тогда, когда мне исполнилось... сорок четыре года! Я с черепашьей скоростью полз над Альпами, отданный на милость первого встречного немецкого истребителя, и тихонько посмеивался, вспоминая сверхпатриотов, которые запрещают мои книги в Северной Африке. Смешно.

После возвращения в эскадрилью (а вернулся я туда чудом) я испытал все, что только возможно. Аварию, обморок из-за неисправности в системе подачи кислорода, погоню истребителей, а однажды в воздухе у меня загорелся мотор. Я не считаю себя скупцом и здоров, как плотник. Это единственное мое утешение! И еще те долгие часы, когда я совсем один лечу над Францией и фотографирую. Все это странно.

Здесь я вдали от извержений ненависти, но все-таки, несмотря на благородство товарищей по эскадрилье, что-то в этом есть от нищеты человеческой. Мне совершенно не с кем поговорить. Конечно, это важно—с кем живешь. Но какое духовное одиночество!

Если меня собьют, я ни о чем не буду жалеть. Меня ужасает грядущий муравейник. Ненавижу добродетель роботов. Я был создан, чтобы стать садовником.

Обнимаю вас.

Сент-Экс

## ПИСЬМО X.

[30 июля 1944 г.]

(...) Я четырежды едва не погиб. И это мне до одури безразлично.

Фабрика ненависти, неуважения, которая у них зовется возрождением (...) \* начхать мне на нее. Осточертели они мне.

Здесь война, и я подвергаюсь опасности, самой неприкрытой, самой неприкрашенной, какая только может быть. Опасности в чистом виде. Как-то меня заметили истребители. Я все-таки удрал. Я счел это бесконечно благотворным. Не из спортивного или воинственного восторга: их я не испытываю. А потому что не воспринимаю ничего, кроме качества внутренней сущности. Мне омерзела их фразеология. Омерзела их напыщенность. Омерзела их полемика, и я ничегошеньки не понимаю в их добродетели (...)

Добродетель—это значит спасти французское духовное наследие, оставаясь хранителем библиотеки где-нибудь в Карпантра\*. Добродетель—беззащитным лететь на самолете. Обучать детей чтению. Быть простым плотником и пойти на смерть. Они—народ... а я нет. Нет, я тоже принадлежу этой стране.

Несчастливая страна! (...)

Полевая почта 99027

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ, СДЕЛАННЫЕ КАПИТАНОМ АНТУАНОМ ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ В 1940 ГОДУ

(Выписка из журнала полетов разведгруппы 2/33)

- 29 марта Экипаж: капитан де Сент-Экзюпери, пилот; капитан Моро, наблюдатель; старший сержант Багрель, стрелок-радист; на «Блок-174», № 8. Аэрофоторазведка на большой высоте. Маршрут: Орконт, Верден, Монмеди, Невшатель, Бастонь, Шалон-сюр-Марн, Орконт. Неблагоприятные атмосферные условия. Возвращение.
- 31 марта Продолжительность полета: 1 час 25 мин. Экипаж: капитан де Сент-Экзюпери, пилот; капитан Моро, наблюдатель; старший сержант Багрель, стрелок-радист; на «Блок-174», № 21. Аэрофоторазведка на большой высоте. Маршрут: Орконт, Ахен, Дюссельдорф, Кёльн, Орконт. Задание выполнено. Высота: 9000 метров. Продолжительность: 2 часа.
- 1 апреля Экипаж: капитан Желе, наблюдатель; капитан де Сент-Экзюпери, пилот; старший сержант Багрель, стрелок-радист; на «Блок-174», № 21. Аэрофоторазведка на большой высоте. Маршрут: Орконт, Кариньян, Кёльн, Реймштадт, Кобленц, Монмеди. Задание выполнено на редкость успешно. Высота: 9000 м. Продолжительность: 2 часа.
- 23 мая Экипаж: капитан де Сент-Экзюпери, пилот; лей-



тенант Дютертр, наблюдатель; сержант Мо, стрелок; на «Блок-174», № 24.

Разведка на средней высоте под прикрытием истребителей и по возможности фотосъемка. Маршрут: Орли, Мо, там соединиться с истребителями, затем Компьень, Розьер-ан-Сантер, Брюсюр-Сомм, Альбер, Аррас, Дуэ и обратно. За Мо сопровождение из 9 «Девуатен-520», время не установлено. В Компьене облачный фронт. Высота: 300 м.

Альбер: самолеты стоят перед ангарами, видны траншеи. Сразу за Альбером очень активный зенитно-пулеметный огонь. Пролетели в окрестностях Бапома. Вдали виден Аррас в огне. Не долетая до Арраса, вошли в грозовой фронт и потеряли истребители. Вышли из грозового фронта на высоте 200 метров и обнаружили большое скопление наступающих танков противника фронтом в 3 км. Юго-западнее Арраса атакуют в направлении Арраса. Очень сильный зенитный огонь. Самолет поврежден, пробит маслбак. Возвращение и приземление в Орли.

Продолжительность полета: 1 час 40 мин. на переменной высоте от 300 до 50 м.

31 мая

Экипаж: капитан де Сент-Экзюпери, пилот; лейтенант Азамбр, наблюдатель; рядовой 2-го класса Блондель, стрелок; на «Блок-174», № 22.

Аэрофоторазведка на большой высоте.

Маршрут: Орли, Тернье, Перон, Амьен, Абвиль, Орли.

Задание по аэрофоторазведке полностью выполнено, происшествий не было.

Продолжительность: 2 час. 30 мин. Высота: 9600 м.

6 июня

Экипаж: капитан де Сент-Экзюпери, пилот; лейтенант Дютертр, наблюдатель; сержант Пере, стрелок; на «Блок-174», № 53.

Аэрофоторазведка на большой высоте.

Маршрут: Суасон, Лан, Вервен, Ирсон, Ле-Като, Камбре, Перон, Руа, Мондидье.

Задание полностью выполнено. Высота: 10 000 метров.

Продолжительность: 2 час. 30 мин.

9 июня

Экипаж: капитан де Сент-Экзюпери, пилот; лейтенант Азамбр, наблюдатель; сержант Лендю, стрелок; на «Блок-174», № 53.

Аэрофоторазведка на большой высоте.

Маршрут: Шато-Тьерри, Суасон, Ла-Фер, Сен-Кантен, Гиз, Ла-Капель, Вервен, Лан, Реймс.

Полет выполнялся на высоте 9200 метров при продолжительности 2 час. 5 мин.  
Аэрофотоснимки представляют большой интерес.

## БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ НА «ЛАЙТНИНГАХ П-38» В 1943—1944 ГОДАХ

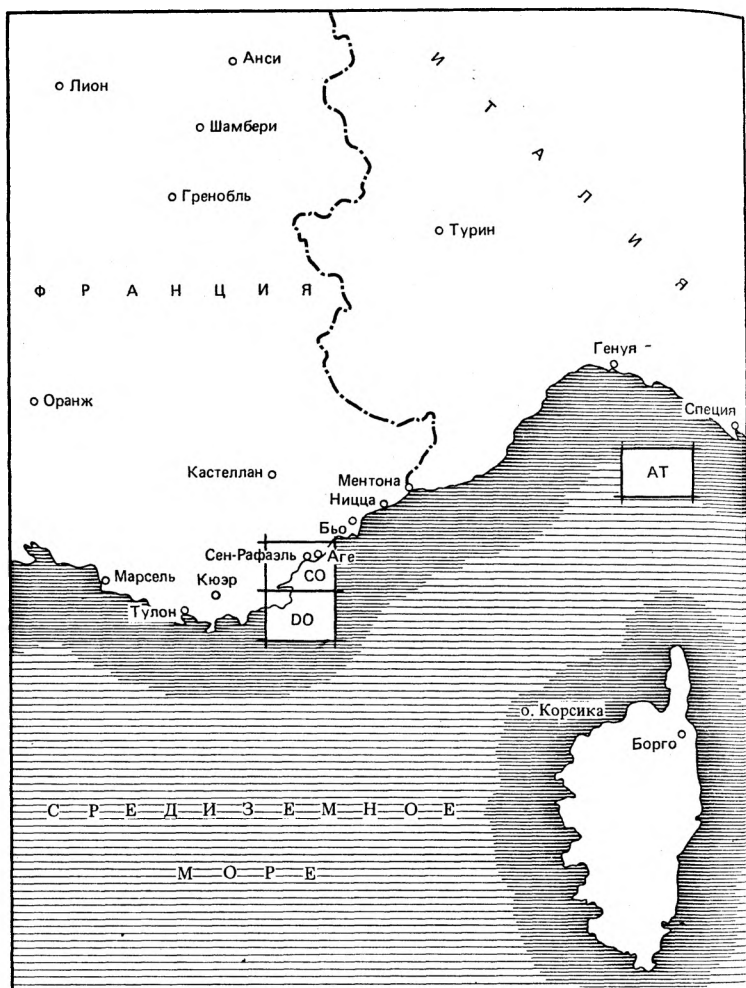
### 1943

- 21 июля *Полет Ла-Сьота — Тулон. Выполнен. Продолжительность 5 час. 50 мин.*  
Сен-Луи-дю-Рон, Арль, Авиньон, Ла-Сьота, Тулон, Иер, Авиньон.
- 1 августа После взлета неисправность в моторе. Возвращение на аэродром. При посадке самолет потерпел аварию.
- 12 августа Переведен в резерв командования. Готовится к командировке в США.  
Возвратился в Алжир.

### 1944

- 16 мая Получив назначение в эскадрилью, вместе с репортером «Лайф» Д. Филипсом вылетает из Виллачидро в Альгеро на «Б-26», пилотируемом капитаном Рузо.
- 24 мая Учебный полет на «П-38», № 63.
- 26—27 мая Направлен в качестве связного в Санта-Мария (2-я эскадрилья) на «П-38», № 80 (учебный самолет).
- 28 мая Учебная аэрофотосъемка с большой высоты на № 80.
- 31 мая — Летит в качестве связного в Алжир через Виллачидро на № 80.
- 2 июня Продолжение учебных полетов на № 80.
- 3 июня Летит в качестве связного в Виллачидро в группу 1/22 на № 80.
- 4 июня Летит в качестве связного в Виллачидро в группу 1/22 на № 80.
- 6 июня Полет на № 126 на юг Франции (Марсель). Загорелся левый мотор. Посадка, полет не состоялся. В капоте мотора большая пробоина, которая в воздухе с места пилота не видна.
- 14 июня *Первый после возвращения в эскадрилью полет над Францией (район Родеза). Задание выполнено. Продолжительность: 4 часа.*  
Гап, Карпантра, Гап, Арль, Гап, Мийо, Фижак, Эг-Морт.
- 15 июня Вылет на «П-38», № 273. Направление — район Тулузы. Возвращение (неисправность кислородной маски).

- 23 июня *Полет над Францией (Прованс) для разведки конкретных объектов. Задание выполнено. Продолжительность: 4 часа. В 9 часов над Ла-Сьота два вражеских истребителя, летевших 600 футами ниже, преследовали одну милю. Пилот сбросил баки и оторвался от преследования.*
- 29 июня *Полет на «П-38», № 292. Район Анси—Шамбери. Неисправность одного мотора. Возвращение на малой высоте 8000 футов. «Бегство над р. По». Посадка на одном моторе в Бастия-Борго. Задание выполнено отлично. Продолжительность: 4 часа. (Пролетел над долиной По от Турина до Генуи.)*
- 3—5 июля *Полет в качестве связного в Алжир на № 80.*
- 8—10 июля *Полет на № 126 в Тунис на крестины сына Гавуаля (отложены).*
- 11 июля *Полет на № 219 над районом Лион—Динь—Канн. Выполнено отлично. Продолжительность: 3 час. 5 мин.*
- 14 июля *Полет в район Динь—Анси на «П-38», № 533. Неисправность кислородной маски, кратковременный обморок. Задание выполнено. Продолжительность: 3 часа.*
- 15 июля *Полет в качестве связного в эскадру французских бомбардировщиков «Мародеры» в Виллачидро. Возвращение вечером.*
- 17 июля *Перелет на № 126 в Борго, на новую базу на Корсике.*
- 18 июля *Полет на «П-38», № 292, над Верхней Савойей. Задание выполнено. Продолжительность: 3 час. 20 мин. Участки от Диня до оз. Анси, от оз. Анси до Лиона и от Роана до Тирона.*
- 21—27 июля *Алжир—Тунис—Алжир на № 80. (Крестины Кристиана Антуана Гавуаля. Крестный отец—Сент-Экзюпери. (28.7.44).)*
- 31 июля *На «П-38», № 223. Полет в район восточнее Лиона. Вылет: 8 час. 45 мин. Не вернулся.*



31 июля 1944 г.

Латинскими буквами обозначены квадраты, где по предположениям мог потерпеть аварию самолет Сент-Экзюпери.

**ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА ДЕ ГОЛЛЯ  
МАРИ ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ,  
МАТЕРИ АНТУАНА,  
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПРИСЫЛКУ КНИГИ**

Генерал де Голль

27 декабря 1959 г.

Сударыня,

От всего сердца благодарю вас.

Ваш сын жив, он среди людей! И Франция счастлива этим!

Примите, сударыня, уверения в глубочайшем уважении и признательности.

Ш. де Голль

# Цитадель

---

## ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

### I

Ибо я слишком часто видел, как жалость оказывалась заблуждением. Но мы, повелевающие людьми, научились читать в их сердцах, чтобы даровать нашу заботу лишь тем, кто достоин уважения. Но я отказываю в жалости ранам, выставляемым напоказ и терзающим сердце женщин, и отказываю в ней умирающим и умершим. И я знаю почему.

Была в моей молодости пора, когда я испытывал жалость к нищим с их язвами. Я нанимал для них знахарей и покупал им бальзамы. Караваны привозили мне с дальнего острова приготовленные на чистом золоте мази, которые затягивают кожу на ране. Так поступал я вплоть до того дня, когда понял, что они цепляются за исходящий от них смрад, как за редкое сокровище, ибо застал их врасплох, когда они скребли свои язвы и смазывали их пометом, подобно человеку, который удобряет землю навозом, чтобы добыть из нее пурпурный цветок. Они с гордостью показывали друг другу свои гноища, чванясь добытыми пожертвованиями, ибо тот, кому их доставалось больше других, почитал себя равным верховному жрецу, выставляющему на всеобщее обозрение раскрашенного идола. Если они соглашались предстать перед моим врачом, то лишь в надежде, что их язва поразит его своим зловонием и размерами. Они размахивали культияпками, дабы играть в мире какую-то роль. И принимали заботы как дань уважения, предоставляя свои члены для омовений, каковые им льстили; но стоило недугу исчезнуть, как обнаруживалось их ничтожество и выходило, что они никого не кормят, что они бесполезны, и тогда все помыслы их устремлялись лишь к тому, чтобы вновь воскресить свою язву,

которая жила их радениями. И, облачившись опять в свой недуг, торжествующие и никчемные, шли они с плоской в руках к караванной тропе, именем нечистого своего божества вымогая у путников милостыню.

Была в моей жизни и такая пора, когда я испытывал жалость к умершим. Ибо думал, что тот, кому я приносил жертву в его пустыне, погружен в беспросветное одиночество; тогда я не знал еще, что для тех, кто умер, одиночества быть не может. Ибо я не сталкивался еще с их снисходительностью к живым. Но я видел, как себялюбца или скупца, тот самый, что так яростно выступал против всяческого расхищения,—видел, как он в последний свой час просил, чтобы к его одру созвали всех друзей дома, и, одержимый высокомерным стремлением к справедливости, он делил между ними свое достояние, как делал между детьми пустячные погремушки. Я видел, как раненый воин, человек малодушный, тот, кто в минуту мнимой опасности криком кричал бы, вызывая о помощи,—видел, как он, будучи действительно смертельно ранен, отвергал всякую помощь своих спутников, если оказывалось, что она угрожает их безопасности. Такая самоотверженность нас восхищает. Но и в ней я усматриваю замаскированный знак презрения. Я знаю того, кто готов поделиться содержимым своей фляги, когда сам он уже высыхает на солнце, поделиться коркой хлеба, когда голод достиг своего апогея. И поступает он так потому, что ему ничего уже больше не нужно, и, исполненный царственной отрешенности, он кидает ближним эту кость.

Я видел, как женщины оплакивали павших воинов. Но ведь это мы сами их обманули! Ты видел, как они возвращаются, уцелевшие в битве, кичливые и несносные, во все горло крича о своих подвигах и, как свидетельство риска, которому они себя подвергали, принося с собой смерть других, смерть, о которой они поминутно твердят, что она была страшной, потому что могла настигнуть и их самих. Да ведь и сам я в юные годы любил, чтобы чело мое сияло в ореоле сабельных ударов, получаемых не мной, а другими. Я возвращался домой, кичась гибелью своих спутников и их безысходным отчаяньем. Но тому, кого уже выбрала смерть и кто занят лишь тем, что извергает из себя кровь и удерживает выпадающие внутренности, ему одному открывается истина, которая состоит в том, что ужаса смерти не существует. Отныне собственное тело представляется ему инструментом ненужным, который не будет больше служить и который надо отбросить. Упраздненное тело, которое предстает во всей своей дряхлости. И если оно, это тело, изнывает от жажды, умирающий видит в нем только источник мучений, от которого надо скорее избавиться. И уже бесполезны все блага, которые служили тому, чтобы украшать, кормить, ублажать эту наполовину чуждую плоть, ставшую теперь лишь домашним инвентарем, наподобие привязанного к колышку осла.

Тогда наступает агония, которая есть не что иное, как раскачиванье сознания, поочередно опустошаемого и опять заполняемого волнами памяти. Они накатываются и отступают, как морской прилив и отлив, принося и унося с собой груды образов, раковины воспоминаний, отголоски когда-либо слышанных звуков. Они подступают все ближе, они вновь омывают водоросли сердца, и вот уже снова воскресла былая нежность. Но равноденствие припасает свой последний отлив, и сердце пустеет, и океан со всеми своими дарами возвращается в лоно Бога.

Конечно, я видел, как люди бегут от смерти, заранее трепеща перед встречею с ней. Но когда человек умирает, я ни разу не видел, могу вас уверить, чтобы он был напуган.

Так почему я должен жалеть их? Почему я должен тратить время на то, чтобы оплакивать их конец? Мне хорошо знакомо совершенство мертвых. Встречалось ли мне хоть раз что-нибудь более легкое, чем смерть той пленницы, которой хотели усладить мои шестнадцать лет и которая, когда ее ко мне привели, уже готовилась умереть; она дышала часто и коротко, и прятала в платок кашель, и с трудом переводила дух, будто загнанная газель, но сама она об этом не знала, потому что ей нравилось улыбаться. Но улыбка ее была как ветерок над рекой, как прикосновение мечты, как след лебедя, становящийся изо дня в день все более легким, все более неуловимым, и его все трудней и трудней удержать, и он превращается просто в чистую линию, стоит лебедю улететь.

И чем смерть моего отца. Моего отца, завершившего путь и ставшего камнем. Волосы убийцы, говорят, поседели, когда его кинжал, вместо того чтобы опустошить это бречное тело, наполнил его столь непреклонным величием. Погубителя, спрятавшегося в царских покоях, лицом к лицу не с жертвой своей, а с гранитом гигантского саркофага, и попавшегося в ловушку молчания, которому сам он явился причиной, обнаружили на рассвете, поверженного наземь самой неподвижностью мертвеца.

Так мой отец, которого царевбийство сразу переселило в вечность,—когда дыханье его прервалось, на три дня задержал дыханье других. И языки развязались, и плечи избавились от давившей их тяжести только после того, как мы предали его земле. Но он представлялся таким значительным и огромным, он, который не столько повелевал, сколько на всем оставлял печать своей личности, что, когда мы опускали его на скрипящих веревках в могилу, нам казалось, что мы не труп погребаем, а складываем в амбар зерно. Подвешенный на веревках, он был непомерно тяжел, как первая плита в основании храма. И мы не хоронили его, мы замуровывали его в землю, и он наконец становился тем, кем был всегда,—фундаментом.

Он давал мне уроки смерти и заставлял меня, когда я был юным, глядеть ей в лицо, ибо сам он никогда не опускал глаз. Мой отец был из породы орлов.



То было в проклятый год, который люди называли «Пиршеством Солнца», ибо солнце в тот год раздвинуло вширь пределы пустыни. Оно лучезарно сияло над песками среди белых костей, сухих колючек, прозрачных шкурок мертвых ящериц и превратившейся в волос верблюжьей травы. Оно, чей свет водружает стебли цветов, сожрало собственные творенья и царило над их распыленными трупами, как ребенок среди сломанных им игрушек.

Оно проникало в подземные кладовые и пило воду из редких колодцев. Оно вцеплялось в позолоту песков, и они становились такими белыми и пустыми, что мы нарекли эту местность Зеркалом. Ибо зеркало тоже ничего в себе не содержит, и картины, которыми полнится зеркало, не имеют ни веса, ни длительности. Ибо порою зеркало, как солончак, сжигает глаза.

Если погонщики верблюдов, сбившись с пути, попадают в эту ловушку, которая никогда не возвращает своей добычи, они сначала не могут ее распознать, ибо нет у нее никаких отличительных признаков, и влачат по песку, словно отбрасываемую солнцем тень, призрак своего присутствия в мире. Они уже схвачены этим светящимся клеем, но им кажется, что они идут; они погрузились уже в трясину вечности, но им кажется, что они живы. Они толкают вперед свой караван—там, где никакому усилию не одолеть неподвижность пространства. Шагая над колодцем, которого не существует, они радуются прохладе сумерек, хотя отныне она всего лишь отсрочка. Быть может, они сетуют, о наивные люди, на медлительность ночей, хотя вскоре ночи промелькнут над ними взмахом ресниц. И, перебраниваясь гортанными голосами по поводу мелких превратностей судьбы, они не знают, что их судьба уже решена.

Думаешь, их караван будет отныне спешить? Что ж, загляни сюда через двадцать столетий!

Растворившимися в толще времени и превратившимися в песок призраками, которые выпиты зеркалом,—такими увидел я их, когда мой отец, чтобы преподать мне уроки смерти, посадил меня на круп своей лошади и умчал вдаль.

«Здесь,—сказал он мне,—был когда-то колодец».

На дне одной из ям, которые так глубоки, что в них отражается только одна-единственная звезда, даже грязь стала твердой, и пойманная звезда погасла в ее глубине. А отсутствие всего лишь одной звезды достаточно для того, чтобы караван сбился с дороги,—это средство такое же верное, что и засада.

Вокруг узкого жерла, как вокруг оборванной пуповины, слиплись люди и животные, в тщетной надежде извлечь из тела змеи влагу собственной крови. Но даже бесспорные мастера своего дела тщетно скребли, спустившись на веревках до самого дна этой бездны, затвердевшую корку. Похожий на насекомое,

заживо проткнутое булавкой и в смертной дрожи осыпающее все вокруг шелком, пылью и золотом своих крыльев, караван, пригвожденный к земле всего лишь пустым колодцем, уже начинал белеть в неподвижности порванной упряжи, развороченных выюков, разбросанных, как мусор, бриллиантов и тяжелых, заносимых песком, золотых слитков.

Я смотрел на них, и отец мне сказал:

«Тебе ведомо, как выглядит свадебный пир после того, как молодые и гости ушли. В свете раннего утра проступает оставленный ими разгром. Расколотые кувшины, опрокинутые столы, погасшие угли — все хранит на себе отпечаток застывшей сумятицы. Но по этим следам, — сказал мне отец, — тебе ничего не узнать о любви».

И еще он сказал мне:

«Взвешивая на руке книгу Пророка, поворачивая ее так и этак и останавливая взгляд на очертаниях букв или на золоте миниатюр, неграмотный упускает самое главное, каковым является не этот суетный предмет, но божественная мудрость. Так же как главным в свече будет не воск, оставляющий всюду натеки, но свет».

Но поскольку я дрожал, встретив на просторе пустынного плоскогорья, схожего с древними жертвенными алтарями, эти остатки трапезы Бога, отец сказал мне еще:

«То, что действительно важно, никогда не отыщется в пепле. Больше не мешкай над трупами. Здесь нет ничего, кроме повозок, навеки застрявших за неимением возниц».

«Но тогда кто наставит меня?» — закричал я.

И отец мне ответил:

«Главное в караване предстает пред тобой, когда он расточает себя. Забудь о суетном шуме словес и гляди: если дорогу ему преградила пропасть, он обходит ее стороной, если выросла на дороге скала, он огибает ее, если песок слишком мягок, он поблизости ищет песок потверже, но при этом всегда возвращается к прежнему направлению. Если в солончаках внезапно соль захрустит под тяжестью выюков, ты увидишь, как заволнуется караван, как начнет он вытягивать из трясины животных, нащупывать твердую почву, но вскоре порядок опять восстановится и движение возобновится — все по тем же ориентирам. Если животное упадет, караван остановится, люди поднимут разбитые ящики, навьючат другое животное, затянут потуже узлы скрипящих веревок и возобновят прерванный путь. Порой умирает проводник каравана. Все его обступают. Его зарывают в песок. Принимаются спорить. Выбирают другого проводника и опять берут курс все на ту же звезду. Так неотступно идет караван в направлении, которое властвует им; так тяжким камнем катится он по невидимому склону».

Однажды в городе судьи вынесли молодой женщине, совершившей некое преступление, приговор: раздеть ее донага, привязать покрепче к колу и выставить в нежной коже ее плоти под солнце пустыни.

«Я покажу тебе,—сказал мне отец,—чего добиваются люди».

И он снова умчал меня вдаль.

Пока мы свершали свой путь, над ней успел пронестись полный день, и солнце выпило ее теплую кровь, и слюну, и пот. Выпило в ее глазах светоносную влагу. Уже опустилась, с недолгим своим милосердием, ночь, когда мы подъехали, отец мой и я, к порогу запретного плоскогорья, где, белея своей наготой у подножья скалы, более хрупкая, чем стебель цветка, впоенный росой, но отныне раздавленный тяжестью вод, хранящих в толще земли непроницаемое молчание, и заламывая руки, точно охваченная пожаром лоза, она кричала, вызывая к жалости божией.

«Слушай ее,—сказал мне отец.—Перед ней открывается главное...»

Но я был дитя и был малодушен.

«Быть может, она страдает,—отвечал я ему,—и, быть может, ей страшно...»

«Сейчас она выше страдания и страха,—сказал мне отец,—ибо страдание и страх—это слабости хлеба, недуги жалкого стада. Ей открывается истина».

И я вслушался в ее жалобы. Пленница беспредельной ночи, она звала к себе лампу, что загорается вечером в доме, звала к себе комнату, которая помогает собраться с мыслями, звала к себе дверь, чтобы та закрылась за ней. Отданная во власть вселенной, прячущей от нее лицо, она звала к себе ребенка, которого целуешь, перед тем как заснуть, и который заключает в себе весь мир. Брошенная на пустынном плоскогорье под ноги неизвестности, она славila шаги супруга, которые раздаются вечером возле порога, такие знакомые и успокаивающие шаги. Распластанная в безграничности и не обладая больше ничем, за что можно ухватиться, она умоляла вернуть ей препоны, ибо только они позволяют человеку существовать, вернуть моток шерсти, чтобы ее расчесать, миску, чтобы вымыть ее, вернуть всего только миску, и вернуть ей ребенка, чтобы его убаюкать, вернуть только его одного, и ничего больше. Она взывала к вечности дома, она вместе со всей деревней вставала на вечернюю молитву.

Когда голова осужденной поникла, упав на плечо, отец посадил меня снова на круп своей лошади. И в лицо нам зашвистел ветер.

«Нынче вечером ты услышишь,—сказал мне отец,—как они будут роптать в своих шатрах, упрекая меня в жестокости. Но я им не дам взбунтоваться, я заставляю их замолчать: я выковываю человека».

Но я догадывался, что мой отец добр.

«Я хочу,—продолжал он,—чтобы они любили чистую воду источников. И ровную поверхность зеленого ячменного поля, закрывшего летние трещины земли. Я хочу, чтобы они славили смены времен года. Я хочу, чтобы они, подобно спелым плодам, питали себя медлительностью и тишиной. Я хочу, чтобы они долго оплакивали свои несчастья и долго чтили своих мертвых, ибо наследие медленно переходит от одного поколения к другому, и я не хочу, чтобы они по дороге теряли свой мед. Я хочу, чтобы они были подобны ветке маслины. Той, которая ждет. Тогда в них начнет отзываться великое покачивание Бога, которое приходит, как дуновение, испытывая, прочна ли маслина. Оно ведет их за собой и приводит потом обратно, ведет от рассвета к ночи, от лета к зиме, от жатвы, что зреет на ниве, к жатве, что убрана в закрома, от юности к старости и от старости к новым детям.

Ибо так же, как и о дереве, ты не узнаешь ничего о человеке, если станешь раскладывать его по возрастам и разделять по различиям между этими возрастам. Дерево не есть сначала семя, потом зеленый побег, потом гибкий ствол, потом мертвый валежник. Чтобы познать дерево, не нужно его разделять. Дерево—это мощь, которая медленно сходится с небом. Так и ты, маленький мой человечек. Бог порождает тебя, велит тебе возрастать, поочередно полнит тебя желаниями, сожалениями, радостями и страданиями, приступами гнева и раскаяния, а потом опять забирает тебя к себе. Однако ты не есть ни этот школьник, ни этот супруг, ни этот ребенок, ни этот старик. Ты тот, кто осуществляет себя. И если удастся тебе осознать себя веткой маслины, что раскачивается на ветру, крепко держась за свое дерево, ты в движениях своих ощутишь вечность. И все вокруг тебя станет вечным. Вечен будет источник, который поет свою песню и который умел напоить твоих прадедов, вечен будет свет глаз, когда тебе улыбнется любимая, вечна будет прохлада ночей. Время больше не песочные часы, которые расходуют свой песок, время—жнец, который вяжет свой сноп».

## II

Так мне с вершины самой высокой башни цитадели открылось, что ни страдание, ни смерть в лоне божьем, ни сама скорбь не нуждаются в жалости. Ибо даже покойник, если люди чтят его память, оказывается среди нас более осязаемым и более могущественным, чем живой. И я понял тревогу людей, и я людей пожалел.

И я решил вылечить их.

Во мне живет жалость только к тому человеку, который просыпается в бескрайней патриархальной ночи, полагая себя в

надежном укрытии под звездами Бога, и вдруг ощущает, что он в пути.

Я запрещаю о чем-либо спрашивать его, ибо знаю, что нет такого ответа, который утолил бы жажду. Тот, кто спрашивает, пытается заглянуть в бездну.

Я осуждаю тревогу, которая толкает воров на преступление, поскольку научился читать в их сердцах и знаю, что не спасу их, пытаюсь спасти от нищеты. Ибо если они думают, что они вожделеют золото своих ближних, они заблуждаются. Но золото сверкает, точно звезда. Эта любовь, которая сама не знает себя, устремлена только к свету, которого им никогда не поймать. Они идут от отблеска к отблеску, похищая бесполезные сокровища, точно безумец, который, чтобы схватить луну, отражающуюся в источнике, черпает из него черную воду. Они идут и бросают в короткое пламя оргий тщетный пепел, похищенный ими. И снова занимают свой ночной пост, бледные, как на пороге свидания, недвижно застывшие в страхе, что придется кого-то пугать, и воображая, будто здесь наконец обретут они то, что в один прекрасный день может принести им успокоение.

Такой человек, если я сегодня освобожу его, останется верен своему культу, и моя стража, ломая ветки, уже завтра застигнет его в чужом саду, где он будет стоять с колотящимся сердцем, в надежде, что в эту ночь судьба наконец смилостивится над ним.

И конечно же, моя любовь простирается прежде всего на них, поскольку я знаю, что в них куда больше усердия, чем в преисполненных добродетели торгашах, сидящих в лавках. Но я строитель городов. Я решил заложить здесь фундамент своей цитадели. Я забочусь о том, чтобы караван всегда шел вперед. Он был лишь зернышком на ложе ветра. Ветер метет, точно ароматы цветов, кедровые семена. Я ветру противлюсь и зарываю семена в землю, чтобы во славу божью выросли кедры.

Нужно, чтобы любовь обретала предмет. Я спасаю только того, кто любит то, что есть, и кого можно насытить.

Равным образом поэтому заключаю я женщину в темницу супружества и велю побивать камнями жену, изменившую мужу. И конечно же, мне понятно обуревающее ее желание и понятна притягательность встречи, к которой она стремится. Я умею читать в ее сердце, когда вечерами, что вселяют надежду на чудо, она сидит на террасе, облокотившись о перила, со всех сторон замкнутая широким, как море, горизонтом и безжалостно отданная, словно в лапы уединившегося палача, пытке собственной нежности.

Я чувствую, как трепещет она, выброшенная на террасу, будто форель на песок, и как ждет, словно щедрости волн, всадника в синем плаще. Свой призыв обращает она к необъятности ночи. Любой, кто возникнет из этой ночи, сможет внять ее просьбам. Но тщетно будет она переходить от плаща к плащу, ибо нет на свете мужчины, который мог бы ее насытить.

Так морской берег, жаждущий прохлады, призывает волну, и волны одна за другой набегают нескончаемой чередой. И одна за другою слабеют. И ни к чему не приводит эта смена супруга: та, кто превыше всего дорожит приближеньем любви, никогда не познаёт встречи с любовью...

Я спасаю лишь ту, что способна осуществиться и свой выстроить мир вокруг внутреннего двора, так же как кедр возводит себя вокруг семечка и обретает развитие в своих сокровенных пределах. Я спасаю лишь ту, что любит не просто весну, но симметричность цветка, воплощающего весну. И любит не просто любовь, но неповторимость лица, которым любовь овладела.

Вот почему ту супругу, что растворила себя в воздухе вечера, я изгоняю—или вновь воедино ее собираю. Я, точно границами, обкладываю ее печкой, чайником, позолоченным медным подносом, чтобы ей постепенно, через эту нехитрую утварь, явилось привычное, узнаваемое лицо, явилась улыбка, здешняя и земная. И для нее это станет неторопливым явлением Бога. Ребенок тогда закричит, требуя дать ему грудь, шерсть поманит к себе ее пальцы, прося ее расчесать, и потребуют угли в печи своей доли ее дыхания. И с этой поры она будет захвачена в плен и будет готова к служенью. Ибо я тот, кто вазу возводит вокруг благовония, чтобы в ней оно сохранилось. Я—деловая сноровка, которой полнится плод. Я тот, кто женщину заставляет лицо свое находить и существовать, чтобы потом я Богу вручил не вздох ее слабый, растворившийся в ветре, а горячее рвенье, и нежность, и ни на что не похожую муку...

Так размышлял я, упорно и долго, над смыслом душевного мира. Он к нам приходит от рожденных нами детей, от убранной жатвы, от приведенного в порядок дома. Он к нам приходит от вечности, куда возвращаются все свершенные нами дела. Мир и спокойствие полных амбаров, спящих овец, выглаженного белья, мир и спокойствие совершенства, мир и спокойствие всего, что, будучи выполнено на славу, становится нашим подарком Богу.

Ибо открылось мне, что человек подобен цитадели. Он разрушает стены, чтобы добиться свободы, но с той поры он всего лишь снесенная крепость, открытая звездам. И тогда приходит тревога—тревога, что он никто. Пусть же он обретет свою истину в чаде горящих ветвей или в запахе овец, которых он должен стричь. Истину выкапывают, как колодец. Взгляд, когда он распылен и рассеян, теряет способность видеть Бога. О Боге куда больше, чем неверная супруга, что ловит посулы ночи, ведает мудрец, собравшийся с мыслями и знающий только тяжесть собранной шерсти.

Цитадель, я воздвигну тебя в человеческом сердце.

.....

.....

Цитадель! Я построил тебя, как корабль. Я тебя прочно сбил, и оснастил тебя, и выпустил в просторы времени, которое превращается для тебя в попутный ветер.

Корабль людей, без которого им не достигнуть вечности!

Но я знаю угрозы, нависающие над моим кораблем. Его постоянно терзает угрюмое море. И другие преследуют образы. Ибо всегда есть возможность разрушить храм и взять его камни для другого храма. И другой храм не будет ни более истинным, ни более ложным, ни более праведным, ни более неправедным храмом. И никому не узнать о свершившемся бедствии, ибо неведомо, что таится за молчанием груды камней.

Вот почему я желаю, чтобы люди прочно скрепили шпангоуты корабля. Дабы спасти их от поколения к поколению, ибо мне никогда не украсить храма, если ежеминутно начинать все сначала.

Мой отец говорил мне:

«Заставь их совместно выстроить башню, и ты превратишь их в братьев. Но если ты хочешь, чтоб друг друга они ненавидели, брось им зерна для посева».

И еще он мне говорил:

«Пусть сначала они принесут мне плоды своего труда. Пусть они выльют в мои закрома реку своих урожаев. Пусть они во мне возведут свои закрома. Я хочу, чтоб во славу мою они молотили зерно и разлеталась вокруг золотая полова. Ибо работа, когда она выполняется пропитания ради, перестает быть обязанностью и становится гимном. И они уже меньше нуждаются в жалости, те, у кого поясница натружена грузом тяжелых мешков, когда они несут их на мельницу. Или когда они, белые от муки, несут их обратно. Тяжесть мешка возвышает их, словно молитва. И вот они радостно смеются и поднимают свой сноп, точно остистый подсвечник, в котором сверкают колосья. Ибо цивилизация держится на том, чего она требует от людей, а не на том, чем она их снабжает. Конечно, они приходят домой разбитые усталостью, совершенно без сил, и кормятся этим хлебом. Но не в этом ведь для человека главная суть вещей. В их сердце их кормит не то, что они получают от хлеба. А то, что они сами хлебу дают.

Ибо, еще раз скажу, достойны презрения те племена, что твердят чужие поэмы и едят чужой хлеб либо приглашают к себе зодчих и платят им деньги, чтобы те возводили для них города. Я называю такие народы оседлыми. И я больше не вижу вокруг них ореола — золотистой пыли над током, когда молотят зерно.

Ибо верно говорится, что я получаю в то же самое время, что и даю, и получаю в первую очередь ради того, чтобы мог я и дальше давать. Я славлю этот обмен между дарением и отдачей, позволяющий продолжать движение вперед и снова дарить. И если отдача поддерживает мое тело, то сердце мое питается только дарением.

Я видел, как танцовщицы сочиняют свой танец. И когда танец готов и исполнен, никто, разумеется, не станет с собой уносить про запас плоды этой работы. Танец вспыхивает, словно пожар. И однако, цивилизованным я называю народ, который творит собственные танцы, хотя нет для танца ни жатвы, ни закромов. Тогда как диким я называю народ, который выстраивает у себя на полках изящнейшие предметы, созданные чужими трудами, даже если он и считает себя способным упиваться их совершенством:

Человек,— продолжал мой отец,— это прежде всего тот, кто созидает. И братья— лишь те, кто друг с другом сотрудничает. И живы лишь те, кто не обрел душевного мира в созданных им запасах».

Однажды ему возразили:

«Что называешь ты созиданьем? Ибо если речь идет о сколько-нибудь значительных изобретениях, мало кто на это способен.

Значит, ты говоришь для немногих. Но как же другие?»

Мой отец отвечал им:

«Созидать— это, быть может, и сбиться в танце с ноги. Или вкось ударить по камню резцом. Неважно, к чему приведут твои жесты. Это усилие представляется тебе бесплодным, тебе, слепцу, уткнувшемуся в него носом. Но отступи немного назад. Посмотри с расстоянья на жизнь городского квартала. Ты видишь теперь горячий порыв и золотистую пыль работы. И ты уже больше не замечаешь неудачных, неловких движений. Ибо этот народ, склонившийся над работой, хочет он этого или нет, сооружает дворцы, или водоемы, или большие висячие сады. Его творения непременно рождаются из волшебства его пальцев. И, я повторяю тебе, рождаются в равной мере от тех, чьи движения неудачны, как и от тех, кому они удались, ибо нельзя разделять человека, и, если ты будешь спасать только великих скульпторов, у тебя не будет великих скульпторов. Кто окажется настолько безумен, чтобы избрать себе ремесло, которое дает так мало шансов выжить? Великий скульптор рождается из почвы, удобренной плохими скульпторами. Они служат для него ступеньками лестницы и поднимают его. И прекрасный танец рождается из горячего стремления танцевать. А стремление танцевать требует; чтобы все танцевали— даже те, кто танцует плохо,— иначе не будет никакого стремления, будет только окаменевшее тело и зрелище, лишенное всякого смысла.

Не осуждай их ошибок на манер историка, который судит об уже завершенной эпохе. Но кто упрекнет кедр за то, что он еще



семечко, или побег, или тянущаяся вкось ветка? Дай ему расти. От ошибки к ошибке поднимется кедровый лес, который в дни великого ветра будет расточать вокруг себя фимиам птичьих песен».

И в заключение отец мой сказал:

«Я об этом уже говорил тебе. Ошибка одного, удача другого — не тревожь себя этим делением. Плодотворно только великое сотрудничество одного посредством другого. И неудачный жест служит жесту, который удастся. И жест, который удастся, делает очевидной для того, кому его жест не удался, ту цель, которую они оба преследовали. Тот, кто обретает Бога, обретает его для всех. Ибо царство мое подобно храму, и я побудил людей. Я призвал людей его выстроить. Следовательно, это их храм. И рождение храма выявляет в них самый высокий смысл. И они творят позолоту. И тот, кто ее безуспешно искал, тоже ее творит. Ибо из этого горячего стремления прежде всего и рождается новая позолота».

И еще говорил он:

«Не сотвори царства, в котором было бы все совершенно. Ибо хороший вкус — добродетель музейного сторожа. И если ты презираешь плохой вкус, у тебя не будет ни живописи, ни танца, ни дворца, ни сада. Ты станешь привередничать из боязни выпачкать руки в земле: Ты лишишься земли из-за пустоты твоего совершенства. Сотвори царство, в котором все будет просто исполнено рвения».

## Х

Мои воины были усталы, словно долго несли тяжелое бремя. Командиры моих отрядов спрашивали меня: «Когда мы вернемся домой? Женщины покоренных нами оазисов немного стоят в сравнении с нашими женами».

Один из них мне сказал:

«Повелитель, я мечтаю о той, которая создана моими досугами, моими беседами с ней. Я хотел бы вернуться и привольно раскинуть шатер. Повелитель, я больше уже не могу углублять свою истину. Дозволь мне расти в молчании моей деревни. Я ощущаю потребность подумать о том, как я жил».

И я понял, что им потребно молчание. Ибо только в молчании пускает ростки и укореняется истина каждого. Ибо счет времени поначалу идет как при вскармливании ребенка грудью. И сама материнская любовь создается поначалу вскармливанием ребенка грудью. Кому дано видеть, как в каждый отдельный миг ребенок растет? Никому. Только те, что приходят со стороны, говорят: «Ах, как он вырос!» Но ни мать, ни отец не видели, как рос их ребенок. Он проявился во времени. И в каждый отдельный миг он был тем, кем он должен был быть.

Значит, людям моим было нужно время, хотя бы ради того, чтобы понять дерево. Чтобы каждый вечер садиться на ступеньку подле порога и видеть перед собою все то же дерево все с теми же ветвями. И тогда дерево постепенно обнаруживает себя.

Ибо тот поэт однажды вечером просто рассказывал у костра в пустыне о своем дереве. И его слушали мои люди, многие из которых видели в жизни только верблюжью траву да колючие карликовые пальмы. «Ты ведь не знаешь,—говорил он,—что такое дерево. Как-то я видел одно из них—оно выросло случайно в заброшенном доме, в глухом укрытии без всяких окон, и отправилось на поиски света. Так же как человека должен омыwać воздух, а карпа вода, так дерево должен омыwać дневной свет. Ибо оно, уходящее корнями в землю, а ветвями в созвездия, представляет собою путь, по которому происходит обмен между нами и небом. И вот мое дерево, родившееся слепым, развернуло во мраке свою мощную мускулатуру и, спотыкаясь, принялось ощупью шарить по стенам, и вся эта драма запечатлелась в его перекрученном теле. Потом, разбив слуховое окно в направлении солнца, оно выплеснулось наверх, прямое, как ствол колонны, и я, подобно историку, глядящему из дали времен, присутствовал при этих порывах, приведших его к победе.

В великолепном контрасте с узлами, бугрившимися у него под корой, когда надо было вырваться из этого гроба, оно расцветало теперь в безмятежном спокойствии, широко, словно стол, за которым прислуживало солнце, раскинув свою листву, возвращенное самим небом, щедро питаемое богами.

И ежедневно я видел, как пробуждается оно на рассвете от верхушки до самого низа. Ибо оно до краев переполнено было птицами. И с рассветом начинало жить и петь, а потом, стоило солнцу показаться над горизонтом, оно, мое дерево-дом, мое дерево-замок, выпускало, как старый добродушный пастух, всю эту стаю в небо и стояло опустевшим до самого вечера...»

Так рассказывал он, и мы знали, что нужно долго глядеть на дерево, чтобы оно могло родиться и в нас. И каждый завидовал человеку, который носил в своем сердце такую громаду листьев и птиц.

«Когда же,—спрашивали они у меня,—когда же кончится эта война? Мы тоже хотели бы что-то понять. К нам приходит пора становления...»

И если кому-то из них удавалось полонить песчаную лисицу, совсем еще молодую, которую можно было кормить прямо из рук, он кормил ее—или кормил газелей, которые соизволили не умереть,—и песчаная лисица делалась ему с каждым днем все дороже, одаря его своим шелковым мехом и своими озорными проказами, а больше всего своей потребностью в корме, так властно требовавшей от сурового воина попечения и заботы. И он жил напрасной иллюзией, будто передает этому маленькому

зверьку какую-то частицу себя самого, иллюзией, будто тот вскормлен, воспитан и создан его любовью.

Потом в один прекрасный день лисица исчезала в песках, не поддаваясь зову любви, и в сердце человека мгновенно воцарялась пустота. И мне довелось однажды увидеть, как один такой воин погиб, потому что не стал защищаться, угодивши в засаду. И на память пришла мне, когда мы узнали о его смерти, таинственная фраза, которую он произнес после бегства своей лисицы, когда его сотоварищи, догадавшись, отчего он тоскует, посоветовали ему поймать другую лисицу. «Нужно слишком большое терпение,— ответил он им,— не для того, чтоб поймать ее, а чтобы ее полюбить».

Но им уже больше не хотелось возиться с лисицами и газелями, когда они поняли всю тщетность своих обменов с ними, ибо лисица, ускользнувшая от любви, не обогатит уже ими пустыню.

«У меня есть сыновья,— говорил мне другой,— и они подрастают, а я не могу их учить. Значит, я ничего не смогу в них вложить. Куда же уйду я, когда умру?»

И, окружив их молчаньем своей любви, я взирал на свою армию, которая начинала таять в песке и теряться в нем, подобно рожденным грозами рекам, которых не может спасти даже глиняная подпочва и которые умирают бесплодными, так и не превратившись вдоль своих берегов ни в деревья, ни в траву, ни в пищу для людей.

Моя армия когда-то хотела превратиться в оазис на благо царства, чтобы дворец мой украсился дальними резиденциями и чтобы, о нем говоря, люди могли сказать: «Какой прекрасный вид придают ему с юга эти пальмы, эти новые пальмовые рощи, эти деревни с резьбой по слоновой кости...»

Но мы сражались, не постигая этого смысла, и каждый мечтал вернуться домой. И образ царства в них разрушался, как память о милом лице, на которое нет больше возможности взглянуть, и оно теряется в хаосе мира.

«Какое нам дело до безвестного этого оазиса? — говорили они. — Что он нам прибавит? Чем он обогатит нас, когда мы вернемся домой и замкнемся в своей деревне? Он пойдет на пользу лишь тому, кто станет в нем жить, или собирать финики с его пальм, или стирать свое белье в живой воде его рек...»

## XI

Они заблуждались, но что я мог с этим поделать? Когда вера гаснет, это значит, что Бог умирает и что он отныне не нужен. Когда их рвение исчерпало себя, это означает, что разваливается само царство, ибо оно держится на их рвении. Не то чтобы здесь был чей-то намеренный обман. Но если я называю

поместьем некий ряд оливковых деревьев и хижину, в которой можно укрыться в непогоду, и если тот, кто их созерцает, испытывает к ним любовь и объединяет их в своем сердце, а потом вдруг начинает видеть в этом пейзаже лишь отдельные оливковые деревья, такие же, как все прочие оливковые деревья в мире, да затерявшуюся среди них хижину, которая хороша только тем, что она может служить укрытием от дождя, то кто же тогда спасет поместье, если его захотят разделить и продать? Ведь от этой продажи ровным счетом ничто не изменится, ни для хижины, ни для оливковых деревьев!

Посмотрите на владельца поместий, когда он шагает по утренней росе вдоль дороги, в полном одиночестве и не имея при себе ничего из принадлежащих ему богатств. И никак не пользуясь своими прибылями. Идет, словно лишенный всех своих благ, поскольку они никак не служат ему в данный момент, и вынужденный, если недавно прошел дождь, шлепать по грязи, как шлепает по ней любой батрак, и раздвигать палкой мокрые кусты ежевики, как последний бродяга. И который со дна ложбины не может даже взглядом объять свои владения, но просто знает, что он здесь полновластный хозяин.

И однако, если ты повстречаешься с ним и он поглядит на тебя, ты сразу поймешь, что он—это он, и никто другой. Спокойный и уверенный в себе, он опирается на всю глыбу своего капитала, который в данный момент ему вовсе не служит. Он не пользуется ничем, но и нет у него ни в чем недостатка. Он уверенно опирается на фундамент принадлежащих ему пастбищ, засеянных ячменем полей и плантаций финиковых пальм. Поля отдыхают под паром. Риги еще спят. Над молотильщиками еще не витает золотое облачко. Но все они вместились у него в сердце. Здесь не первый встречный идет, здесь хозяин неторопливо прогуливается среди своей люцерны...

Слеп тот, кто видит человека только в его непосредственных действиях и поступках, кто считает, что только поступок человека, только его конкретно осязаемый опыт, только реальное использование им своих преимуществ могут выявить его сущность. Для человека важно вовсе не то, чем обладает он в данный момент, ибо мой прогуливающийся в полях незнакомец обладает разве что несколькими колосками, которые он сминает в горсти, да еще, может быть, фиником, который он мимоходом сорвал. Тот, кто сопровождает меня на войне, полон воспоминаний о своей любимой, которую он не может увидеть, к которой не может прикоснуться, которую не может стиснуть в объятиях и о которой даже не думает, поскольку в этот рассветный час, когда вдалеке от родного дома он вдыхает запах пространства и чувствует, как его приковывает к ложу какой-то груз,—ее словно и нет среди живых. Она будто отсутствует, будто умерла. Она будто заснула. И однако, человек этот преисполнен сознания, что она существует, он преисполнен

нежности, с которой ему совершенно нечего делать и которая спит, забыв сама о себе, как спит сложенное в закромах зерно; он преисполнен родных ароматов, которых он не вдыхает, преисполнен журчания воды в фонтане, которое является сердцем его дома и которого он не слышит; он преисполнен бремени царства, того особого бремени, которое делает его непохожим на других людей.

Или друг, с которым ты повстречался и который несет в себе заболевшего малыша. Заболевшего вдалеке. На чей пылающий лоб он не может положить руку и чьих стонов не слышит. И от болезни которого в настоящий момент ничего не меняется в его жизни. И однако, он предстанет перед тобой точно раздавленный тяжестью больного ребенка, которого он несет в своем сердце.

То же самое присходит и с тем, кто несет в себе царство и не может, однако, ни охватить его взглядом, ни вкусить его благ, ни получить хоть малую выгоду от него, но кто благодаря своей причастности к царству просветлен и возвышен сердцем, подобно хозяину поместья, или отцу больного ребенка, или тому, кого делает богаче любовь, хотя возлюбленная его не только живет в далекой дали, но и представляется ему как будто уснувшей. Единственное, что имеет значение для человека,— это смысл вещей.

Разумеется, мне он знаком, кузнец из моей деревни, который приходит ко мне и говорит:

«Для меня совершенно неважно все то, что не затрагивает меня лично. Если у меня есть чай и сахар, если мой осел накормлен как следует и моя жена рядом со мной, если дети мои подрастают и научаются мужеству, тогда я полностью счастлив и ничего другого мне больше не надо. К чему тогда все эти страдания?»

Но разве был бы он счастлив, останься он в целом свете один со всем своим домом? И если б он жил со своею семьей под шатром, затерянным среди пустыни? И я заставляю его внести в свои рассуждения поправку:

«Если вечером ты под другими шатрами обретаешь других друзей, и если у них есть о чем тебе рассказать, и они с тобой делятся новостями пустыни...»

Ибо я ведь вас видел, не забывайте! Видел, как вы сидели вокруг ночных костров, обжаривая на огне баранину или козлятину, и слышал, как звучали в ночи ваши голоса. Медленным шагом, в молчании своей любви, я к вам приближался. Разумеется, вы толковали о своих сыновьях, и кто из них вырос, и кто заболел; разумеется, вы говорили о родном своем доме, но ваша беседа не была оживленной. И оживлялись вы только тогда, когда к вашему костру подсаживался путешественник, прибывший со своим караваном из дальних краев, и разворачи-

вал перед вами вереницу чудес, среди которых мелькали и белые слоны какого-то князя, и пышная свадьба красавицы, которая живет за тридевять земель и имени которой вы до того даже слыхом не слыхивали. Или когда он рассказывал о переполохе в стане врагов. Или о новой комете, или о чьей-то обиде, или о чьей-то любви, или о чем-либо мужестве перед лицом смерти, или о чьей-либо ненависти к вам, или о чьей-то великой заботе. Тогда ваша грудь наполнялась пространством и вы ощущали свою связь с бесчисленным сонмом вещей, тогда обретал свое истинное значение ваш любимый и ненавидимый, угрожаемый и защищенный шатер. Тогда вы становились пленниками волшебной сети, которая делала самих вас просторней и шире, чем были вы прежде...

Ибо вам нужен простор, и только язык дает вам доступ к простору.

Я вспоминаю о том, что произошло с тремя тысячами беженцев-берберов, которых отец мой разместил в лагере к северу от города. Он не хотел, чтобы они смешивались с нашими людьми. Поскольку он был человеком добрым, он их кормил и обеспечивал одеждой, сахаром и чаем. Но он не требовал от них никакой работы в обмен на дары своей щедрости. Так что им больше не надо было заботиться о том, чтобы добывать себе средства к существованию, и каждый из них мог бы сказать: «Для меня совершенно неважно все то, что не затрагивает меня лично. Если у меня есть чай и сахар, и если мой осел накормлен как следует, и моя жена рядом со мной, и если дети мои подрастают и научаются мужеству, тогда я полностью счастлив и ничего другого мне больше не надо...»

Но кто мог бы поверить в то, что они счастливы? Иногда мы их навещали, когда отцу хотелось преподать мне урок.

«Взгляни,—говорил он,—они превращаются в скот и начинают постепенно разлагаться... разлагаться не плотью своей, но своим сердцем».

Ибо все утрачивало для них значение. Если ты не рискуешь своим состоянием и не играешь на него в кости, кости все равно в твоих снах означают поместья, стада, слитки золота и бриллианты, которыми ты не владеешь. И которые из другого мира. Но наступает час, когда за костями уже больше ничего не стоит. И любая игра уже невозможна.

Так вот и людям, которым мы покровительствовали, больше нечего было друг другу сказать. Ибо они исчерпали семейные истории, которые все были схожи между собой. Перестали рассказывать один другому про свой шатер, ибо шатры их были все на одно лицо. Перестали бояться, и надеяться, и сочинять. Они еще продолжали использовать язык, но только в самых элементарных целях. «Одолжи мне свою жаровню»,—мог сказать один. «Где мой сын?»—мог сказать другой. Человеческое сообщество, лежащее на своих подстилках, возле своих кормушек,—чего могло оно пожелать? Во имя чего оно бы стало

сражаться? Ради хлеба? Хлеб оно получало. Ради свободы? Но в пределах своего мирка все они были бесконечно свободны. Они были затоплены той безграничной свободой, которая делает бессердечными богачей. Ради того, чтобы восторжествовать над врагами? Но у них не было больше врагов!

Отец мне сказал:

«Ты можешь явиться сюда с кнутом, и один пойти через лагерь, и хлестать всех по лицу,—ты вызовешь в них возмущения не больше, чем в своре собак, которая пятится, и рычит, и рада была бы тебя искушать. Но никто не решится принести себя в жертву, и тебя никто не укусит. И ты встанешь перед ними, скрестив на груди руки. И будешь их презирать...»

И еще он сказал мне:

«Все это лишь видимость людей. Людей больше здесь нет. Они могут тебя убить—трусливо, из-за спины, ибо воровской мир иногда бывает опасен. Но им не выдержать твоего взгляда».

Однако распря поразила их, точно болезнь. Нелепая, бессмысленная распря, которая даже не разделила их на два лагеря, но натравила всех против каждого, ибо тот, кто съедал свою долю запасов, тем самым грабил их всех. Они постоянно друг за другом следили, точно собаки, которые кружатся вокруг корыта с едой, и вот во имя своей справедливости они уже совершали убийства, ибо справедливость для них заключалась в равенстве. И всякий, кто хоть чем-нибудь выделялся из толпы, бывал ею тут же подавлен.

«Толпа,—говорил мне отец,—ненавидит человеческий образ, ибо толпа всегда непоследовательна, она тычется во всех направлениях сразу и сводит на нет всякое творческое усилие. Разумеется, плохо, когда человек подавляет толпу. Но вовсе не здесь надо искать полное порабощение; оно проявляется только тогда, когда толпа подавляет человека».

Так, во имя каких-то таинственных прав кинжалы дырявили животы и еженощно множились трупы. И, точно опорожня ящики с мусором, на рассвете люди оттаскивали эти трупы на край лагеря, где потом их с регулярностью дорожной службы забирали наши повозки. И я вспоминал слова моего отца: «Если ты хочешь, чтоб они были братьями, заставь их выстроить башню. Но если ты хочешь, чтоб друг друга они ненавидели, брось им зерна для посева».

И на наших глазах они понемногу утрачивали привычку пользоваться словами, ибо слова для них были уже ни на что не пригодны. И мой отец водил меня среди этих существ, которые глядели на нас не узнавая, и лица у них были отсутствующие и тупые. Они ничего не могли сказать и только глухо рычали, требуя корма. Они прозябали, не ведая ни желаний, ни сожалений, ни ненависти, ни любви. Вскоре они перестали мыться и уничтожать на себе паразитов. И паразиты расплодились на них. И начали появляться язвы. И от лагеря уже

поднимался в воздухе смрад. Мой отец боялся, что может начаться чума. И конечно же, он размышлял о человеческом жребии в этом мире.

«Я должен решиться и пробудить архангела, который спит, задавленный их нечистотами. Ибо я почитаю не их, но через них почитаю Бога...»

## XII

«Ибо вот она,— говорил мне отец,— великая тайна человека. Они теряют главное и даже не ведают, что же они потеряли. Как не ведают этого оседлые жители оазисов, сидящие на своих запасах. В самом деле, то, что они потеряли, невозможно подметить в каких-либо прочных, не подверженных изменению материалах. И люди всегда видят перед собой все ту же кучу баранов, коз, жилищ и гор, которая не составляет поместья...

Если они утрачивают смысл царства, им не понять, что они черствеют, и лишаются своей сути, и отнимают цену у многих вещей. Вещи сохраняют свою прежнюю видимость, но что представляет собой жемчужина или бриллиант, если никто их не вожделеет? Это всего лишь обточенные стекляшки. И ребенок, которого ты укачиваешь в зыбке, утратил какую-то долю своего существа, если он уже больше не будет подарком для царства. Но этого ты поначалу не знаешь, ибо улыбка его не изменилась.

Они не видят своего оскудения, ибо предметы, которыми они пользуются для своих нужд, остаются теми же, какими были прежде. Но что значит пользоваться бриллиантом? И что означает драгоценное украшение, если нет праздника? И что такое ребенок, если нет царства и если ты не мечтаешь, что этот ребенок станет воином, или властителем, или зодчим? Если его роль сведется только к тому, чтобы оставаться комочком плоти? Они ничего не знают о тех невидимых сосцах, которые денно и нощно их вскармливали, ибо царство питает твое сердце, как своей любовью питает тебя и изменяет для тебя смысл вещей возлюбленная, которая заснула вдали от тебя и покоится, будто умершая. Там, в далекой дали, существует лишь слабое дыханье, и ты его даже не можешь вобрать в свою грудь, но мир для тебя все равно превращается в чудо. Так владелец поместья, гуляя по утренней росе, несет в своем сердце все, чем богата его земля, вплоть до сна арендаторов.

Но загадкой в человеке, который приходит в отчаянье, если возлюбленная покидает его, или он сам перестает любить, или больше не чтит в душе своей царство, является то, что он даже не подозревает о своем оскудении. Он просто говорит себе: «Она была менее прекрасна — или менее любезна, — чем возлюбленная моей мечты...» — и, вполне довольный собою, отправляется восвояси. Но мир для него уже больше не чудо. И рассвет уже не рассвет возвращения и не рассвет пробуждения в ее



объятыях. Ночь уже больше не великий алтарь любви. Ночь уже больше не тот огромный пастушеский плащ, каким была она прежде благодаря дыханию любимой во сне. Все потускнело. Все заостенело. А человек, который и ведать не ведает, какое бедствие его постигло, даже не оплакивает утраченной полноты бытия. Он доволен своей свободой, которая всего лишь свобода больше не существовать.

Также и тот, в ком умерло царство, убеждает себя: «Мое рвение было глупостью и слепотой». И он, разумеется, прав. Вне его существует лишь разношерстная смесь коз, баранов, жилищ и гор. Царство было творением его сердца.

А красота женщины — куда поместишь ты ее, если рядом не будет мужчины, которого может она взволновать? А очарованье бриллианта, если никто не желает владеть им? А царство, если больше уж нет служителей царства?

Ибо если тот, кто умеет постигнуть значение образа, и кто несет его в сердце, и кто связан с ним и живет им, как малый ребенок, что связан с материнскою грудью, — если тот, для кого этот образ представляет собою краугольный камень, представляет собою смысл, и значенье, и проявление величия, пространство и полноту бытия, — если человек этот будет отрезан от своего источника, он окажется расчлененным, разбитым на части, и он умрет от удушья, как дерево, у которого обрублены корни. И он уже больше не сможет себя обрести. И однако, в то время как образ, гибнущий в нем, ведет самого его к гибели, он ничуть не страдает, он привыкает к своей посредственности, не догадываясь о ней.

Вот почему надлежит постоянно поддерживать в человеке все, что возвышенно в нем и велико, и всегда убеждать его в том, что он велик.

Ибо духовную пищу доставляют ему не вещи, а узы, которыми связаны вещи. Не бриллиант, но какие-то отношения между людьми и бриллиантом могут его напитать. И не песок, а какие-то отношения, которые устанавливаются между песком и племенами. Не слова в книге, но какие-то отношения, существующие в книге между словами и представляющие собою любовь, поэму и мудрость господню.

И если я призываю вас совместно работать, и быть всегда вместе, и составить единый лик, который делает каждого богаче, и происходит от всех, и является порождением царства, и если я замыкаю вас в круг своей любви, разве это вас не возвысит и разве вы будете в силах противиться этой любви? Красота лица существует лишь благодаря отголоску каждой его части во всех прочих частях. И оно предстает перед вами и вас потрясает. То же происходит с поэмой, исторгающей слезы из ваших глаз. Я взял звезды, фонтаны и сожаления. Ведь ничего больше в ней, кроме этого, нет. Но я замесил их и вылепил по

прихоти моего таланта, и послужили они пьедесталом для божества, которое возвышается над ними и не содержится ни в одном из них, в отдельности взятом».

И отец мой послал певца в это гниющее стадо людское. Под вечер певец сел на площади и начал петь. Он воспевал вещи, которые, точно эхо, перекликаются друг с другом. Он воспевал волшебную княжну, которую можно увидеть лишь после двухсотдневного перехода через пески, без колодцев, под солнцем пустыни. И отсутствие колодцев становится жертвой, приносимой любви, и опьянением своей любовью. И вода в бурдюках становится молитвой, ибо она ведет вас к любимой. Он пел: «Я мечтал о пальмовой роще и о ласке дождя... но больше всего мечтал я о той, что улыбкою встретит меня... И уж не различал я, где озноб лихорадки, а где лихорадка любви...»

И проснулась в них жажда жажды, и они закричали отцу моему, грозя ему кулаками: «Злодей! Ты нас жажды лишил, которая есть упоение собственной жертвой, приносимой во имя любви!»

Он пел об угрозе, воцаряющейся в пустыне с первых мгновений войны. Когда песок превращается в скопище змей. И каждая дюна становится выше из-за власти над жизнью и смертью. И проснулась в них жажда смертельного риска, одушевляющего пески. Пел он о грозной славе врага, когда его появления можно ждать откуда угодно, ибо он перекачивается за горизонтом от одного его края к другому, как солнце, о котором уж и не знаешь, в каком оно месте взойдет! И проснулась в них жажда врага, который бы мог окружить их с безоглядной щедростью моря.

И проснулась в них жажда любви, приоткрывшейся вдруг, как лицо, и из ножен взметнулись кинжалы. И они стали плакать от радости, ласково поглаживая клинки! Оружие забытое, заржавелое, обесцененное, оно возникало теперь перед ними, как ушедшее мужество, ибо только оружие позволяет мужчине ковать его мир. То был сигнал к мятежу, прекрасному, как пожар!

И все они умерли достойно, как мужчины!

## XXII

Но самым важным мне представляется то, что имеет касательство к наследству людей, к наследству, которое люди друг другу передают из поколения в поколение, ибо если, в молчанье своей любви, я шагаю неторопливо по городу и вижу невесту, которая что-то говорит своему жениху и улыбается ему с нежной тревогой, или вижу супругу, которая ждет возвращения мужа с войны, или вижу, как женщина ругает свою служанку, или вижу того, кто учит людей праведности и смирению, или

того, кто, раздвигая толпу и не боясь ее гнева, берет слабого под защиту, или просто того, кто вырезает из слоновой кости фигурку и возвращается к ней опять и опять, шаг за шагом приближаясь к тому совершенству, чей образ живет в его сердце; если я гляжу на мой город в час, когда начинает он засыпать и окутан негромким шумом, что медленно тает, как голос цимбал, в которые кто-то ударил недавно, и они продолжают звенеть, а потом затихают, и кажется, будто их звук родился оттого, что до них дотронулось солнце, как дотрагивается оно до роя пчел, а потом наступает вечер, наливающий усталостью пчелиные крылья и возвращающий в лоно цветов все цветочные запахи, и они не ведут уже пчел по дорогам ветров; когда вижу, как гаснут в жилищах огни, и костры начинают дремать под золой, после того как люди вернут все добро свое на места и устроят его на ночлег—кто урожай в закромах, кто детей, играющих на пороге, кто собаку свою, кто осла, кто свой табурет стариковский,—и когда город мой наконец отдыхает, расположившись покойно, точно костер под золой, и все размышления, все молитвы, все планы, порывы, тревоги и страхи, все движения сердца, нужные нам для того, чтобы что-то постигнуть или что-то отринуть, и все затруднения, которые надо уладить, и все злобы и ненависти, которые уже никого не убьют до прихода нового дня, и все честолюбия, которым теперь ничего уж не выведать вплоть до рассвета, и все молитвы, которые связывали человека с Богом, а теперь отставлены в сторону, теперь не нужны, как по ночам в лавке торговца стремянка,—когда это все на время отложено и даже как будто мертво, но до конца не угасло, поскольку гигантское это достоянье отцов, в этот миг ни на что не пригодное, отнюдь не погребло, а лишь приберегается, и которое солнце, прикоснувшись к пчелиному рою, утром снова к жизни вернет, как возвращают детям наследство, и каждый опять обратится к своим устремлениям, к своей радости или к беде, к своей ненависти или к своим притязаниям, и пчелы мои вернуться опять к своим лилиям и чертополохам,—тогда я спрашиваю себя: «Что же станет с этим вместилищем образов?»

И мне представляется очевидным, что если передо мной человеческое сообщество, в которое только еще предстоит вдохнуть жизнь, и если мне нужно его воспитать, просветить и наполнить бесчисленным множеством душевных движений, то посредничеством языка мне, конечно же, не обойтись.

Да, разумеется, мы общаемся между собою, но слова наших книг отнюдь не вмещают родового достояния предков. И если беру я детей, и их перемешиваю, и каждого обучаю какому-то делу, произвольно мной выбранному, я, несомненно, теряю важную долю наследства. То же произойдет с моим войском, если не установится в нем преемственность связей, которая делает из него непрерывающуюся династию. Да, разумеется, они будут проходить обучение у своих капралов. Да, разумеет-

ся, они будут служить под началом своих капитанов. Но слова, которыми располагают и капралы и капитаны,—это вместилища, совершенно недостаточные для того, чтобы передавать от одних к другим все богатство знаний и опыта, ибо опыт и знания не поддаются простому перечислению и не могут быть выражены формулами. И их невозможно передать ни с помощью слова, ни с помощью книги. Ибо дело идет о внутренних отношениях, о частных точках зрения, о стойкости, о порывах, о принципах связи между мыслями и вещами... И когда я хочу их объяснить или изложить, я непременно что-то в них искажаю, и ничего от них не остается. То же будет и со сферой, которая зовется любовью и о которой я ничего не сумею сказать, если буду рассказывать о козах, баранах, горах и жилищах, и чья великая внутренняя ценность передается не словами, а преемственностью любви. И от любви к любви люди передают друг другу это наследство. Но стоит один только раз прервать эту связь, идущую от поколения к поколению, и любовь умирает. И стоит один только раз прервать связь между старшими и младшими в вашем войске, и ваше войско тогда всего лишь фасад опустевшего дома, который обрушится после первого же удара, и стоит вам прервать связь между мельником и его сыном, и вы утратите самое драгоценное, что есть в мельнице, утратите дух ее, и рвение, и тысячи жестов, которые невозможно выразить словами, и тысячи телодвижений и поз, не оправдываемых рассудком, но тем не менее существующих,—ибо в самих вещах, таких, каковы они есть, таится гораздо больше ума, чем в словах,—но вы требуете от людей перестраивать мир, опираясь только на чтение книжек, в которых они ничего не найдут, кроме разрозненных отблесков, пустых и бесплодных, большого человеческого опыта. И вы превращаете человека в примитивное, голое существо, забывая, что человечество развивается, словно дерево, которое растет и продолжает себя в других деревьях и чья мощь сохраняется и передается в узлах и извивах ствола и в разделенье ветвей. Но ведь я имею дело с огромнейшим организмом, и мне непонятно, что значит смерть, когда с высоты старого города я оглядываю пространство и вижу, как там и сям опадают листья, там и сям рождаются почки, а могучий ствол здравствует и живет. И отдельными хворями и недугами не задето ничто существенное, и ты видишь, как он, этот храм, по-прежнему строится, и по-прежнему житница, опорожняясь, наполняется снова, и поэма становится с каждым разом все краше, и все ослепительнее сверкает изящный изгиб фонтанной струи. Но если ты станешь разделять поколения, получится то же самое, как если бы ты захотел воссоздать такого-то человека точно таким, каким он был в расцвете своей жизни, и при этом стер бы в нем все, что он знал, ощущал, понимал, желал и боялся, и всю эту сумму знаний, ставшую его плотью, заменил худосочными формулами, заимствованными из книг, уничтожив живые соки, поднимавши-

еся по стволу, и передав потомкам лишь то, что поддается кодификации. И поскольку слова, вместо того, чтобы постигать, искажают, и вместо того, чтобы наставлять, упрощают, и вместо того, чтобы нести в себе смысл, убивают его, люди перестают получать свою пищу от жизни.

.....

## XXV

Я пригласил к себе воспитателей и сказал им:

«Вам в обязанности не вменяется убивать человека в маленьких человечках или превращать их в муравьев, пригодных на то, чтобы обитать в муравейнике. Ибо мне совершенно неважно, плотно или неплотно набит человек сведениями. Мне важно одно: чтобы он был человеком. Я спрашиваю не о том, будет ли человек счастлив или не будет, но о том, какой человек будет счастлив. И меня мало заботит, в довольстве ли живут оседлые племена, пресыщенные, точно скотина в хлеву.

Вам надлежит наполнять людей не формулами, которые суть пустота, но образами, уносящими прочь всякие схемы.

Вам не следует загружать их мертвыми знаниями. Но выковывать стиль, помогающий постижению.

Вы не должны судить об их способностях лишь по видимой склонности каждого к тому или иному занятию. Ибо продвинется дальше других и добьется успеха лишь тот, кто упорно трудился вопреки своим склонностям. И прежде всего в расчет принимайте любовь.

Вам должно заботиться не о создании навыка, но о создании человека, чтобы ваш ученик, строгающий доску, исполнился духом чести и верности, и он отстругает ее много лучше.

Вам должно приучать ребенка к почтительности, ибо ирония есть утеха невежд и забвение лиц.

Вам надо препятствовать связи людей и материальных благ. И воспитывать человека в маленьком человечке, приучая его к обмену духовными ценностями, ибо вне такого обмена есть только черствость души.

Вам должно учить размышлению и молитве, ибо душа становится шире от них. И упражняйте души в любви. Ибо что заменит ее? Любовь же к себе есть противоположность любви.

Вы должны сурово карать доноительство и ложь, хотя на первый взгляд может казаться, что они служат человеку — и даже городу — на пользу. Но одна только верность творит сильных духом. Ибо не может человек хранить в одних случаях верность и быть неверным в других. Тот, кто поистине верен, тот верен во всем и всегда. Но нельзя считать верным того, кто предаст сотоварища по труду. Я же нуждаюсь в городе прочном, и опорой для прочности этой не может служить разложение людей.

Вы должны воспитывать вкус к совершенству, ибо каждое дело есть приближение к Богу, и завершение свое обрести это дело может лишь в смерти.

Вам не должно учить всепрощению и милосердию. Ибо качества эти могут быть поняты превратно и стать почитаньем ущерба и язвы. Но вам должно учить удивительному сотрудничеству всех со всеми через сотрудничество каждого с каждым. И тогда хирург поспешит через пустыню, чтобы вправить колено простому чернорабочему. Ибо и тот и другой в равной мере возникшие одной колесницы».

## XXVI

Ибо вначале я пристально вглядывался в великое чудо превращения и изменения человека. Ибо в городе был прокаженный.

«Вот она бездна»,—сказал мне отец.

И он привел меня в предместье, на край жалкого грязного поля. Оно обнесено было изгородью, а в центре его виднелся низенький дом, где, отрезанный от людей, жил прокаженный.

«Ты думаешь,—сказал мне отец,—он будет выть от отчаянья? Подожди, пока он выйдет из дома, и ты увидишь, как ему скучно.

Так же как скучно тому, в ком умерла любовь. Так же как скучно тому, кто удручен изгнанием. Ибо я говорю тебе: изгнание не столько терзает мучительной болью, сколько изнашивает человека. Он уже кормится только лишь грезами и мечет кости в игре, которую заведомо нельзя выиграть. Он может даже быть богат, но это неважно. Он всего лишь король в королевстве теней.

В необходимости действовать,—сказал мне отец,—вот в чем спасение. Ты не можешь метать кости с необозначенными на них очками. Ты не можешь быть сыт своею мечтой—по одной той причине, что мечта не оказывает сопротивления. И обманчиво войско, что устремляется в битву в досужих грезах подростка. Полезно лишь то, что проявляет свою неподатливость. И бедой прокаженного оказалось не то, что он заживо загнивает, а то, что он ни в чем не встречает сопротивления. И он взаперти сиднем сидит на своих запасах».

Горожане порой приходили поглазеть на него. Они собирались вокруг этого клочка земли подобно тем, кто, совершив восхождение на гору, наклоняется вниз и заглядывает в кратер вулкана. И бледнеет, ощутив у себя под ногами, что земной шар собирается отпрыгнуть. И они оцепенело стояли вокруг поля, где жил прокаженный, точно была здесь какая-то тайна. Но тайны здесь не было.

«Не заблуждайся,—говорил мне отец.—Не воображай, буд-

то он ночами не спит, и в отчаянии заламывает свои изуродованные руки, и гневается на Бога, или на себя самого, или на людей. Ибо в нем нет ничего, кроме великой пустоты. Что может быть общего у него с людьми? У него вытекают глаза и отпадают руки, как мертвые ветки. И город теперь для него — только шум далекой повозки. Жизнь ничем, кроме зыбкого зрелища, не питает его. Но зрелище — оно ведь ничто. Жить можно лишь тем, что ты сам же и преобразашь. Ты не можешь прожить только тем, что в тебя складывают, как в амбар. Прокаженный жил бы, если б мог нахлестывать лошадь, и перевозить камни, и помогать возведению храма. Но он все получает готовым».

Между тем установился обычай. Растроганные его несчастьем, горожане каждый день приходили к нему и бросали свои подаяния через колья, которыми щетинился этот рубеж. И прокаженный был всем доволен, был одет и украшен, как идол. Накормлен лучшими блюдами. По праздничным дням услажден даже музыкой. Но он нуждался во всех, в нем же никто не нуждался. Обладая всеми возможными благами, он, однако, лишен был тех благ, которые можно дарить другим.

«Так же как с деревянными идолами,—сказал мне отец,—которых увешивают подарками. И пылают перед ними лампы, возженные верующими. И курятся ароматы приносимых им жертв. И шевелюра их украшена драгоценностями. Но я говорю тебе, что толпа, которая бросает идолам золотые браслеты и драгоценные камни, возвеличивает этим только себя, а деревянный идол так и остается деревянным. Ибо он ничего не преобразает. Но для живого дерева жить означает брать из земли соки и делать из них цветы».

И я вижу, как прокаженный, выбравшись из своего логова наружу, обводит нас мертвым взглядом. Для всего этого столпотворения — которое и затевалось-то лишь ради того, чтобы ему угодить, — он более недосыгаем, чем для морских волн. Отделен от всех нас и отныне недосыгаем. И если кто-нибудь из толпы выражал ему свою жалость, прокаженный глядел на него со смутным презреньем... Он с нами ничем не связан. Исполнен отвращения к игре, в которой не может быть выигрыша. Ибо чего стоит жалость, которая не прижимает тебя к груди, чтобы успокоить тебя и утешить? Но, с другой стороны, и для нас — если в нем пробуждался свойственный всему живому протест, порождая в нем гнев, оттого что он стал посмешищем для ярмарочных ротозеев, гнев, говоря честно, не слишком глубокий, ибо мы больше не принадлежали к его миру, подобно детям, что сгрудились у бассейна, где медленно кружится один-единственный карп, — с другой стороны, и для

нас его гнев не имел никакого значения, ибо чего стоит гнев, который не может тебя ударить и лишь извергает пустые слова, которые подхватывает и уносит ветер? Таким он предстал предо мной, обобранный дочиста своим же достатком. И я вспомнил других прокаженных, которые жили на юге и которые, используя изданный по поводу проказы закон, бессовестно вымогали с оазисов дань, сидя все время на своих лошадях, сойти с которых они не имели права. Плошку для сбора пожертвований держали они на конце своей палки. И глядели сурово и словно не видя тебя, ибо счастливые люди были для них лишь территорией для охоты. Да и с чего было бы им раздражаться при виде счастья людского, столь же чуждого им, как безмолвные игры зверят на поляне? Глядели, стало быть, холодно и будто не видя тебя. Потом медленно двигались перед лавкой торговца и сверху, со спины своей лошади, опускали на веревке корзину. И с терпением ждали, когда он наполнит ее. С терпением мрачным и внушающим страх. Ибо, застывшие неподвижно, они были для нас только медленным разрастаньем болезни. Были тиглем, печью и перегонным кубом гниения. Были для нас перевалочным пунктом зла, его обиталищем и ареной. Но чего они ждали? Ничего. Ибо ждать чего-либо можно не от себя, а лишь от других. И чем примитивнее твой язык, чем грубей твои связи с людьми, тем меньше дано тебе знать ожиданье и скуку.

Так чего же им было от нас ожидать, этим людям, так беспросветно от нас отделенным? Они ничего от нас и не ждали.

«Видишь,—сказал мне отец,—он даже не может зевать. Он отрешился даже от скуки, которая есть ожиданье людей».

## XXIX

Я размышлял перед маской танцовщицы. Выраженье лица ее было упрямым, насупленным и усталым. И я себе говорил: «Во времена величия царства это была действительно маска. Ныне же это лишь крышка пустой шкатулки. В человеке нет больше рвения. Нет больше несправедливости. Никто не страдает за свое дело. Но чего стоит дело, которое не требует страдать за него?»

Он стремился достичь. Он достиг. Значит, это и есть для него теперь счастье? Но счастьем было движение к цели. Взгляните-ка на растение, которое создает свой цветок. Счастливо ли оно, что цветок уже создан? Нет, но в цветке оно обрело завершенность. И ему уже нечего больше желать, кроме смерти. Ибо я знаю, что такое желание. Жажда работы. Стремление к успеху. И отдых потом. Но никто не живет одним отдыхом, ибо отдых—это не пища. Не надо смешивать пищу и



цель. Некий бегун бежал быстрее других. Он выиграл. Но он не сумеет прожить своим выигранным забегом. И другой, кто море любил, не сможет прожить той единственной бурей, которую он победил. Буря, которую он побеждает,—это лишь одно движение пловца. И движение это влечет за собой другое движение. И радость создавать цветок, побеждать бурю, возводить храм совсем непохожа на радость обладать готовым цветком, побежденной бурей, возведенным храмом. Она иллюзорна, надежда, что ты сможешь всем этим наслаждаться, используя то, чем прежде гнушался, и что, будучи воином, ты сможешь извлечь свою радость из радостей оседлого человека. А ведь на первый взгляд кажется, что воин сражается именно ради того, чтоб добыть себе пищу, питающую оседлого человека, но он не вправе считать, что его обманули, если сам он потом превратится в оседлое существо, ибо фальшива тоска человека, который вас хочет уверить, будто желанию никогда в вечном беге своем не угнаться за удовлетворением. Ибо это лишь значит, что он ошибался в предмете желания. То, за чем постоянно ты гонишься, мне говоришь ты, постоянно от тебя удаляется... Это похоже на то, как если бы дерево начало жаловаться. «Я создало свой цветок,—говорило бы оно,—и вот он становится семечком, а семечко деревом, а дерево снова цветком...» Так, ты победил свою бурю, и буря сделалась для тебя отдыхом, но этот твой отдых—лишь подготовка бури. И я тебе говорю: небесной амнистии, которая могла бы избавить тебя от обязанности находиться всегда в становлении, не существует. Тебе хочется жить—но будешь ты жить только в Боге. Он тебя возвратит в свои закрома, когда медленно будешь ты создан и вылеплен своими деяниями, ибо, видишь ли, человек долго рождается на свет.

Так, они исчерпали себя, оттого что сочли, будто уже обладают запасом, будто запаса добились и могут позволить себе привал на дороге, дабы теперь, как они говорят, насладиться запасом. Но запаса не существует. Уж я это знаю, я, кто попадался так долго в ловушки нежных созданий и всякий раз верил, что уж эта девица, возвращенная где-то в далеком краю и благоухающая тончайшими ароматами, непременно будет моей. И я называл это головокружение любовью. И мне казалось, что я погибну от жажды, если ее не добыю.

И задавались в честь обручения роскошные празднества, озаренные в глазах моего народа культом любви. И рассыпались корзины цветов, и лились рекой благовония, и сжигались бриллианты, которые были добыты ценою пота, страданий и крови людей и рождены были множеством людей, подобно тому как одна только капля духов рождается грудой цветов, и каждый стремился, не отдавая себе в этом отчета, до дна исчерпать и растратить себя в любви. И вот наконец она здесь, на террасе моей, нежная пленница, словно ладья, что врасплох захвачена ветром в открытом море. И я перед нею—мужчина и

победитель, который держит в руках наконец награду за тяготы долгой войны. И который вдруг чувствует, что не знает, что ему делать с добычей...

«Моя голубка,—говорил я ей,—моя горлица, моя газель длинноногая...» — ибо в словах, которые я придумывал, я искал способ ее уловить. Неуловимую и растаявшую, как снег. Ибо подарок, которого я так томительно ждал, оказался ничем. И я кричал: «Где же вы?» Ибо не мог обнаружить ее. «Где же граница?» И я превращался в дозорную башню и в крепостной вал. И мой город пылал огнями радости, восславляя любовь. И я, один в своей страшной пустыне, смотрел, как она, раздетая, спит. «Я ошибся добычей, ошибся дорогой. Она стремительно убегала, и я задержал ее, чтобы похитить... Но едва я ее поймал, как ее уже не было здесь...» И при этом я понимал, в чем состояло мое заблуждение. В том, что я мчался за ней и совсем обезумел, подобно тому человеку, что наполнил кувшин свой водой и запер его в шкаф, потому что любил на досуге послушать пенье фонтанов...

Но если к тебе я не прикасаюсь, тогда я тебя возвожу, точно храм. И строю тебя в сиянии света. И молчанье твое заключает в себе просторы равнин. И я люблю тебя за гранью себя самого и за гранью тебя. И гимны я сочиняю, чтобы восславить царство твое. И закрываются очи твои — опускаются веки вселенной. И я сжимаю тебя, утомленную, в объятьях своих, точно город. Ты только ступенька в моем восхождении к Богу. Ты создана, чтобы сожженной быть или выпитою до дна, но не захваченной в плен... И вот уже вскоре плачет дворец и облекается пеплом город, ибо с тысячей воинов я прохожу в городские ворота и направляюсь в пустыню, и прежняя жажда сжигает меня.

Боль одного,—об этом тебе я уже говорил,—стоит боли целого мира. И любовь одного, какой бы она ни казалась нелепой, может Млечный Путь покачнуть и все его звезды. И я сжимаю тебя, как руль своего корабля. И ухожу в открытое море, опираясь на грозные плечи любви...

Так познал я пределы своего царства. Но сами эти пределы уже выражали его, ибо люблю я лишь то, что оказывает сопротивление. Дерево и человек — вот кто свой путь начинает с сопротивления. Потому-то я и сравнивал с крышками порожних шкатулок те барельефы упрямых танцовщиц, которые некогда были масками, когда прикрывали собою упрямство, и сумятицу духа, и поэзию, эту дочь распри. Я люблю тех, кто свою суть выражает в сопротивлении, кто замкнулся в себе и молчит, кто хранит свою твердость, тех люблю, кто, сжав губы, вытерпит пытку любую, включая пытку любовью. Мне нравятся

те, кто постоянен в своих предпочтениях и, не боясь быть неправым, не хочет любить. Мне нравишься ты, грозной башне подобная, ты, кому никогда не быть захваченной в плен...

Ибо я ненавижу доступность и легкость. Человек обязан противиться. Иначе он просто жилец муравейника, и Бог от него отвернулся. Человек без закваски. И вот оно, чудо, что предо мною предстало в тюрьме. Более сильное, чем ты, и чем я, и чем все мы, и сильнее моих тюремщиков, и подъемных мостов, и крепостных стен. Вот загадка, что так терзала меня, как терзала загадка любви, когда я держал ее, нагую, покорную, в своих объятьях. Величие человека — и его ничтожество, ибо мне ведомо, что он велик в своей вере, но не в мятежной гордыне.

### XXXVI

Когда человеку ты пишешь письмо, ты нагружаешь корабль. Но не все корабли доходят до цели. Они погибают в пучине. И не всем фразам дано сохранить свою гулкость, пройдя сквозь толщу истории. Ибо, быть может, я много о чем сумел объявить, но постигнуть смог мало.

И вот пред тобою проблема: гораздо важнее учить постижению вещей, чем объявлению о том, что о них тебе ведомо. Гораздо важнее учить, какими приемами добываются знания. Когда ты приводишь ко мне человека, для меня в нем важно не то, что он знает. Иначе с таким же успехом ты мог принести мне словарь. В человеке мне важно другое: каков он. Сочинил некий автор поэму, и поэма его пронизана пылкостью, и все же он зря выходил за уловом в открытое море. Его сеть ничего с глубины не достала. Он лишь смог объявить о весне, но весны в моем сердце не создал.

И я слушал, как историки, логики, критики рассуждают о том, будто в каждом произведении, когда оно сделано сильно и крепко, сила и крепость его проявляются в плане, ибо наглядным и четким, как план, становится все, что сработано сильно и крепко. И ежели именно план предстает предо мной, когда я взираю на город, — значит, мой город себя выражает сполна, значит, он завершен и готов. Но ведь не план заложил основание города.

### XXXVII

Меж тем я ценил и танцовщиц моих, и певиц, и городских куртизанок. Они просили соорудить для них серебряные носилки и, когда отваживались на прогулку, высылали вперед глашатая, и тот возвещал предстоящее их появление, дабы успела собраться толпа. И когда буря рукоплесканий, в достаточной мере им надоевшая, их пробуждала от чуткого сна, они откидывали с лица шелковое покрывало и, снисходя благо-

склонно к желаниям толпы, склонялись белым лицом к предмету своей любви. И они скромно улыбались, а меж тем зазывали с превеликим усердием выполняли свою работу, ибо знали, что вечером их непременно постигнет наказание плетью, если толпа, тиранией любви своей, не принудит танцовщицу изменить своей скромности.

Омовенье они совершали в массивных ваннах из золота и приглашали толпу поглядеть, как приготавливается для этого молоко. Доилась сотня ослиц. И добавлялись затем благовония, и цветочное молоко, которое весьма дорого стоило и было таким воздушным и нежным, что совершенно не пахло.

Излишества эти ничуть меня не тревожили, ибо жизненной силе моих земель никак не могла повредить добыча цветочного молока, и дороговизна его была призрачной. К тому же было желательно, чтобы столь драгоценную вещь где-нибудь чтили. Ибо важно не то, как вещь эта будет использована, важно рвение. И коль скоро цветочное молоко существует, уже не имеет значения, будут ли или не будут мои куртизанки совершать омовение в нем.

Ибо, когда мои логики мне возражали, я им всегда отвечал, что ценю свои земли за рвение и что возмутиться могу лишь в том случае, если в землях моих уделять будут больше внимания позолоте, чем выращиванью зерна, но никогда я не стану наказывать за умеренную позолоту, ибо труду мастеров она придает благородство; меня весьма мало заботила судьба той позолоты, что применялась не для обиходных вещей, и я полагал, что лучшей судьбой для нее было бы стать украшением женской прически, а не глупого памятника. Ты, разумеется, можешь сказать мне, что памятник есть достоянье толпы, но тебе я отвечу, что женщина, если она хороша, тоже может явиться предметом всеобщего созерцания и что убожество памятника, если только, конечно, он не является храмом господним, в том состоит, что он поражает людей и слепит их своей позолотой, сам же взамен ничего получить от них не способен. Но женщина, если она хороша, призывает тебя приносить ей подарки и жертвы, и в ней тебя опьяняет то, что ты сам же ей даришь. А не то, что она дарит тебе.

Итак, они принимали ванну из цветочного молока. И превращались в эталон красоты. И питались редкими и довольно унылыми блюдами, и от простой рыбной кости могли умереть. И владели отборным жемчугом, который порою теряли. И потеря отборного жемчуга меня не корбила, ибо ведь хорошо, когда жемчуг недолговечен. Потом они слушали рассказчиков сказок и при этом падали в обморок, но, падая в обморок, не забывали, чтобы падать было помягче, выбрать подушку, которая цветом своим вполне подходила к цвету их шарфика.

Время от времени они себе позволяли также и роскошь любви. И продавали свой жемчуг отборный ради молоденького

солдата, и прогуливались с ним по городу, и очень хотели, чтобы был он самым красивым, самым блестящим, самым изящным, самым мужественным из всех...

И простодушный солдат от признательности хмелел, полагая наивно, что они его одарили, на самом же деле это он их тщеславие тешил и помогал им в рекламной шумихе.

## XLVIII

Ибо я приношу вам великое утешение, и оно заключается в том, что не надо ни о чем сожалеть. И ничего отвергать. Так говорил мой отец:

«Ты пользуешься прошлым своим, как пейзажем, в котором здесь устремилась к небу гора, там протекает река, и ты свободно в нем размещаешь грядущие города, принимая и то в расчет, что ты видишь теперь. И если б того, что ты видишь теперь, не было вовсе, ты бы тогда сочинил города своей грезы, что очень легко и доступно, ибо грезам ничто не противится, но города эти были бы хоть и доступны, но потеряны для тебя, ибо они растворились бы в твоём произволе. Не жалуйся на свой фундамент, не сетуй, что он таким оказался, а не каким-то другим, ибо главное свойство фундамента — быть. Дело именно так обстоит и с дворцом моим, и с воротами, и со стенами.

И какому завоевателю, созерцающему свои новые владения, придет в голову пожалеть, что здесь на его земле к небу взметнулась гора, а там струится река? Мне нужна нить, чтобы я мог вышивать, и правила, чтобы танцевать или петь, и доверенный человек, чтобы действовать.

Если ты жалеешь о том, что был ранен, с тем же успехом ты можешь жалеть и о том, что не родился на свет в другую эпоху. Ибо прошлое твое, все целиком, есть лишь нынешнее твое рождение. Только так обстоят дела, и больше никак. Принимай их такими, как есть, и не пытайся передвигать горы. Горы всегда остаются горами».

## L

Женщина обкрадывает тебя ради дома. И конечно, завидна любовь, которая полнит дом своим ароматом, и пение струй фонтана, и музыка молчаливых кувшинов, и благодать, которой тебя одаряют дети, когда приходят они один за другим и глаза их полны молчанием вечера.

Но не пытайся согласно каким-то рецептам ни уравнивать славу воина, сражающегося в песках, и те блага, которые приносит ему любовь, ни отдать чему-то из них предпочтение. Ибо только язык наш отделяет одно от другого. Иной любви нет, кроме любви воина, наполненной просторами пустыни, и

нет иного подарка, который могла бы вручить тебе жизнь, когда возле колодцев тебя поджидает засада, кроме того прекрасного дара, который приносит возлюбленный, чье сердце умеет любить, ибо в противном случае любимое тело, тебе приносимое в дар, не будет ни жертвой, приносимой любовью, ни даром любви. Ибо если тот, кто сражается, вовсе не человек, а только машина, способная лишь убивать, где же тогда величие воина? Тогда предо мной только чудовищная работа насекомого. И если мужчина, ласкающий женщину, всего только скот на подстилке, где же тогда величие любви?

Велик для меня только воин, когда он сбросил оружие и баюкает ребенка, или супруг, когда он сражается на войне.

Речь идет не о том, чтобы раскачиваться, точно маятник, от одной истины к другой, не о том, что одна из них какое-то время пригодна, а потом пригодной становится другая. Но о двух истинах сразу, каждая из которых имеет смысл только в том случае, если она сочетается с другою. Ибо в качестве воина ты обладаешь своею любимой, и в качестве возлюбленного ты сражаешься на войне.

Но та, кто, познав сладость твоего ложа, тебя обрела для своих ночей, она, обращаясь к тебе, говорит: «Или мои поцелуи не сладки? Или наш дом не полон прохлады? Или наши вечера не исполнены счастья?» И улыбкой ты подтверждаешь ее правоту. «Тогда,—продолжает она,—оставайся со мной, чтобы быть мне поддержкой. И если желание тебя посетит, протяни только руки ко мне, и я склонюсь под твоей тяжестью, как клонится юное деревце под тяжестью своих апельсинов. Ибо ты ведешь вдали от меня скупую на радости жизнь, и она не учит тебя ласкам. И движения твоего сердца, как вода в занесенном песками колодце, не получают простора, чтобы осуществиться».

И в самом деле, в своих одиноких ночах ты знал эти пронизанные отчаянием порывы то к одной возлюбленной, то к другой, чьи образы возникали перед тобой манящим соблазном, ибо в безмолвии ночи женщины хорошеют.

И тебе уже кажется, что из-за своего одиночества на войне ты упустил чудеснейшую возможность. И однако, познать, что такое любовь, ты можешь только тогда, когда от любви ты свободен. И познать синеву родных своих гор ты можешь только тогда, когда всюду кругом каменные скалы и ты вскарабкиваешься на их гребни, и Бога можешь познать — лишь упражняясь в молитвах, на которые он тебе не ответит. Ибо только тогда твое сердце наполняется до краев, и больше ты не боишься себя истощить, но благодать эта будет дана тебе за пределом течения дней, когда истекнут для тебя времена и тебе будет даровано бытие, поскольку твое становление завершится.

И возможно вполне, что не отличишь ты одно от другого и станешь жалеть человека, который бросает призыв в равнодушные ночи, потому что считает, что время течет бесполезно, если оно утаивает от него свои богатства. Тебя может смутить эта жажда любви, когда нет любви и в помине, но ты забываешь, что любовь по природе своей и есть только жажда любви, и это известно танцовщицам и танцорам, которые строят поэму свою на приближение друг к другу, тогда как они могли бы сразу же соединиться.

И, говорю я тебе, упущенная возможность—для меня лишь она и важна. Нежность, что рвется сквозь стены тюрьмы,—это, быть может, великая нежность. Молитва особенно плодотворна, когда Бог не отвечает тебе. И кремни да колючки—главная пища любви.

Так что не смешивай рвение с употреблением запасов. Рвение, которое требует лишь для себя,—это не рвение. Рвение дерева отдано только плодам, которые ничего взамен ему не приносят. То же самое и у меня в моих отношениях с народом моим. Ибо мое рвение отдано пастухам<sup>1</sup>, от которых мне нечего ждать.

Поэтому не замыкай себя в женщине. У нее ты искать будешь то, что уже ты нашел. Можно лишь время от времени к ней возвращаться; так человек, живущий в горах, иногда спускается к морю.

### ЛIII

Я сам ожидал в своей юности приезда возлюбленной, которую прочили мне в супруги, а везли ее караваном из таких далеких земель, что за время пути состарился караван. Ты когда-нибудь видел, как старится караван? Те, кто предстал перед часовыми на рубежах моего царства, никогда не знали своей собственной родины. Ибо, пока путешествие длилось, умерли все, кто бы мог поделиться воспоминаниями о ней. И по дороге один за другим они были погребены. И тем, кто до нас дошел, достались в наследство только воспоминания о воспоминаниях. И песни, которым они научились от старшего поколения, были легендами о легендах. Ты видел когда-нибудь более чудное чудо, нежели это приближение корабля, который построен был и оснащен прямо в море? И девушка, которую высадили на землю из ее оправленной в золото и серебро каюты и которая, умея говорить, могла произнести слово «фонтан», твердо знала, что фонтаны существовали только в давние времена, в счастливые дни, и это слово она выговаривала, как

---

<sup>1</sup> В некоторых французских изданиях «Цитадели» в этом месте стоит не «пастухам» (des bergers), а «садам» (des vergers).—Прим. перев.

молитву, на которую не может быть никакого ответа, ибо, говоря это слово, ты просишь Бога о чем-то таком, что относится к воспоминаньям людей. Еще удивительней было то, что умела она танцевать, и этому танцу ее обучили среди кремней и колючек, и твердо знала она, что танец—это молитва, которая может соблазнить королей, но на которую, когда ты живешь в пустыне, нельзя получить ответа. И любая твоя молитва вплоть до смерти твоей является танцем, который ты исполняешь, чтобы растрогать некое божество. И она принесла с собой все, что могло оказаться полезным в новой ее жизни,—вот что было всего удивительней. Принесла свои теплые, как голубки, груди, чтобы кормить молоком. И принесла свой гладкий живот, чтобы для царства рожать сыновей. Она прибыла в полной готовности, как крылатое семечко, прилетевшее из-за моря, и так была славно вылеплена, и так хорошо воспитана, и так откровенно была очарована всеми своими запасами, которые, впрочем, ни разу ей негодились, точно так же, как ты восхищен своими наследственными заслугами, и всеми своими поступками, и всеми полученными тобою уроками, которые пригодятся тебе только в час твоей смерти, когда наконец завершится твое становление,—и так она мало пользовалась не только своим животом и грудями, сохранившими девственность, но и танцами, которые могут соблазнить королей, но и фонтанами, в которые можно окунуть свои губы, но и умением делать букеты, хотя она никогда не видала цветов,—что ей, прибывшей ко мне во всеоружии своего полного совершенства, оставалось одно: умереть.

## LVI

И я снова говорю об этой же тайне. Твое прошлое, все целиком, есть только рождение, как и все события царства вплоть до этого дня. И если о чем-то ты сожалешь, ты выглядишь так же нелепо, как тот человек, который бы стал сожалеть, что он не родился в другую эпоху, или родился ничтожным и малым, тогда как себя почитает великим, или что он не родился в других каких-то краях, и который в этих нелепых мечтаниях постоянно бы черпал все новые дозы отчаянья. Безумец тот, кто, своих не жалея зубов, вгрызается в прошлое, которое всё—сплошная гранитная глыба и которое уже свершено. Принимай сегодняшний день таким, каким он тебе дан, и не ломись в двери непоправимого. Непоправимое не имеет никакого значения, ибо в непоправимости—признак прошедшего. И коль скоро не существует ни достигнутых целей, ни законченных циклов, ни завершенных эпох, ибо все подобные рубрики выдуманы историками,—как же можешь ты знать, сожалеть или нет о каком-то поступке, если он еще до конца не свершен и свершен до конца быть не может? Ибо значение вещей коренится отнюдь не в запасе, который был создан раз



навсегда и который питает оседлых людей, но в теплоте превращения, движения, желанья. И поэтому тот, кто сейчас потерпел поражение и, придавлен пятой победителя, стремится воспрянуть, именно он для меня победитель, а не тот, кто, кормясь вчерашней победой, как припасенной провизией, уже подвигается к смерти.

Но куда же, ты спросишь меня, в таком случае должно стремиться? Ведь, по-твоему, цель не имеет значения. И, отвечая тебе, я тебе открываю великую тайну, которая прячется за простотою обыденных слов и которой на протяжении всей моей жизни мудрость учила меня: следует знать, что готовить грядущее лишь одно означает—творить настоящее. И тщетно себя в утопических бреднях изнуряют все те, кто гоняется за маячащими в отдалении призраками, плодами их собственного изобретательства. Разгадать настоящее во всех его совершенно не связанных между собою обличьях и во всей противоречивости его языка—вот что значит поистине что-то изобрести. Но ежели ты поддаешься вздору, а ведь все бредни твои о будущем—взор, ты похож на того, кто надеется изобрести невиданную колонну и выстроить новые храмы за счет только лихости собственного пера. Ибо каким же образом сможет он встретить врага? А не встретив врага, кем же будет он закален? В борении с кем возведет он свою колонну? Проходя сквозь чреду поколений, колонна держится тем, что противится натиску жизни, которая трет и изнашивает ее. Будь колонна лишь формой, ты не изобретал бы ее, а только отделявал и шлифовал. Именно так рождаются великие произведения и великие царства.

Занимайся лишь настоящим, лишь его приводи в порядок. К чему толковать о наследии? Грядущее не пытайся предвидеть, но давай возможность ему проявиться.

И, конечно, работы хватает тебе, когда для нее материалом служит тебе настоящее. И всю эту кучу баранов, и коз, и ячменных полей, и гор, и домов, какою в данный момент я ее вижу, я называю поместьем иль царством и извлекаю из нее нечто такое, чего раньше не было в ней и что представляется мне простым и единым, ибо всякий, кто к этой моей находке прикоснется рассудком, тотчас разрушит ее, ее даже и не поняв, и таким вот манером укрепляю я настоящее, и точно так же усилие моих мускулов, когда я всхожу на вершину горы, воедино скрепляет пейзаж и заставляет меня окунуться в ту синюю нежность, где города—точно яйца, лежащие в гнездах полей, и эта картина не будет ни более верной, ни более ложной, чем та, города на которой представляются мне кораблями иль храмами,—она просто будет другой. И во власти моей сделать так, чтобы судьбы людей стали пищей моей безмятежности.

И ты знай, что всякое истинное творение—не гаданье о будущем, не погоня за призраком и не утопия, а новый облик

вещей, увиденный в настоящем, настоящее же—это груда различнейших материалов, получаемых нами в наследство, и по поводу их не надо тебе ни радоваться, ни горевать, ибо так же, как ты, они, родившись на свет, просто-напросто существуют.

А грядущему ты предоставь, словно дереву, разворачивать одну за другой свои ветви. От настоящего к настоящему будет оно расти и законченным войдет в свою смерть. Не тревожься за царство мое. С той поры, как людям удалось распознать этот лик в разношерстной сумятице вещей, с той поры, как я исполнил свой труд ваятеля в камне и проникся величием своего творения, я круто переменял судьбы людей. И отныне будут они идти от победы к победе, отныне певцам моим будет что воспевать, поскольку вместо того, чтобы славить мертвых богов, они будут просто чествовать жизнь.

Посмотри на мои сады, куда на рассвете приходят садовники, чтобы творить в них весну; они не спорят о том, каковы будут венчики или пестики, они высевают зерна.

И я говорю вам, несчастным, отчаявшимся и побежденным: вы—войско грядущей победы! Ибо в это мгновение вы начинаете, ибо прекрасно—быть молодыми.

Но не думай, однако, что это так просто—творить настоящее. Ибо тебе сопротивляется здесь само вещество, тогда как твои измышления о будущем тебе никогда не станут противиться. И тот, кто лежит на песке подле высохшего колодца и уже начинает таять на солнце,—как уверенно он идет, забывшись во сне. И насколько ему легко широким шагом шагать к своему избавлению. Как вольготно пьется тебе во сне, поскольку твои шаги несут тебе воду, как умасленные маслом рабы, и вокруг уже нет упрямых колючек, которые бы мешали тебе шагать.

Но и это грядущее, в котором лишен ты врагов, не состоится, и ты уже бьешься в агонии, и хрустит песок у тебя на зубах, и рожица пальм, тяжелые воды реки, песни женщин, что стирают белье,—все медленно погружается в смерть.

Но тот, кто идет в самом деле, он себе в кровь сбивает ноги о камни, и воюет с колючками, и калечит на осыпях ногти. Ибо они щедро ему предоставлены, все те ступени, на которые он поочередно должен подняться, одолевая подъем. И воду медленно он создает своим собственным телом, своими мускулами, волдырями на своих ладонях, ранами на своих ногах. Перемешивая противоречивые пласты действительности, он извлекает воду из каменистой пустыни силой своих запястий; так булочник, меся тесто, чувствует, как оно понемногу твердеет, как наращивает оно свою собственную мускулатуру, чье сопротивление приходится преодолевать, как связывается оно в узлы, которые нужно разрушить,—вот тогда-то и начинает он создавать хлеб. То же происходит с поэтом или со скульптором, который над стихами своими или над камнем трудился вначале

с полной свободой, и в ней он терялся, как в лабиринте, ибо в его воле было заставить лицо, затаенное в камне, улыбнуться или заплакать, наклониться вправо или влево, и из-за этой свободы не имел он возможности осуществиться. Но наступает час, когда рыба клюет и леска сопротивляется. Наступает час, когда того, что хотел ты сказать, ты не сказал из-за другого какого-то слова, которое тоже хотелось тебе сохранить, потому что тебе нужно было сказать и его; и вот выясняется, что обе эти реальности оказывают сопротивление. И ты начинаешь всё марать и зачеркивать или начинаешь лепить из глины улыбку, которая, только возникнув, уже на тебя вызывающе смотрит. То или иное решение ты выбираешь не словесной логики ради; ты ищешь то главное, что коренится в обеих твоих друг с другом враждующих истинах, ибо ничто нельзя потерять,—и ты начинаешь догадываться, что твоя поэма вскоре получится или чье-то лицо вот-вот возникнет из камня, ибо ты уже окружен возлюбленными своими врагами.

Так что не слушай никогда тех, кто, желая тебе услужить, советует тебе отказаться от одного из твоих устремлений. Ты узнаешь свое призвание, когда ощутишь в себе его тяжесть. И если его ты предашь, то изуродуешь только себя, но знай, что твоя истина вызревать будет медленно, ибо она — вызревание дерева, а не готовый рецепт, ибо время играет тут главную роль, ибо дело для тебя заключается в том, чтобы стать другим человеком и тяжкий подъем одолеть. Ибо новое бытие, которое есть нечто цельное, что созрело в сумбуре вещей, дается тебе не как решение ребуса, но как умиротворение распрей и исцеление ран. И власть этого бытия ты познаешь только тогда, когда оно полностью осуществится. Вот почему я всегда почитал, как давних, забытых богов, молчанье и неторопливость, столь нужные человеку.

## LVII

Ибо это прекрасно, быть молодыми, о вы, несчастные, вы, обездоленные, вы, сокрушенные, все, кто в доставшемся вам наследстве различает одну лишь недобрую часть — отметину вчерашнего скверного дня. Но если я храм воздвигаю, и вы приходите в храм, и составляете толпы молящихся, и если я в вас заронил свои зерна и объединил вас в величавости наполняющей храм тишины, дабы вы стали чудесной и медленной жатвой,—в чем усмотрели вы повод к отчаянью? Ведь знали вы их, те зори победы, когда лежавшие при смерти на одрах своих, и болевшие раком в гниенье своем, и калеки на своих костылях, и несостоятельные должники среди судебных своих исполнителей, и узники среди своих надзирателей — словом, весь люд в многоликости бед своих и несчастий — обретали друг друга в победе как в главной опоре, придающей

их общности смысл, и эти ранние утра, и разношерстные толпы становились базиликой для высокого гимна победы.

Так и любовь, что, подобно корням, укрепляется в душах и внезапно их заставляет отзываться друг в друге родственным эхом, и такое порой происходит под воздействием даже беды, вдруг обрушившейся на них, и мгновенно беда превращается в скрепляющий стержень, в божественную опору и из всех этих душ извлекает на свет единую, общую участь, единую, общую грань для участия в общей работе,— и радость тогда к человеку приходит, радость хлеб свой с другими делить и других к своему очагу приглашать. Ты брезгливо капризничал, точно подагрик, и казалось, что в дом твой даже друзьям не войти, настолько он мал, и вот отверзается храм, и вступает в него один-единственный друг, но имя ему—легион.

В чем усмотрели вы повод к отчаянию? В мире только рождение есть, непрерывное, постоянное. Существует, конечно, и непоправимое, но ни грустить об этом не стоит, ни радоваться: просто здесь выявляется сущность того, что когда-то произошло. Непоправимо мое рождение, ибо вот он я, перед вами. Прошлое непоправимо, но настоящее, вам выдается, как материалы, что свалены грудой к ногам строителя здания, и ваша забота—из них воздвигнуть грядущее.

### LVIII

Друг—это тот, кто не судит. Я об этом тебе уже говорил, друг—это тот, кто свою дверь открывает бродяге, его костылю и палке его, положенной в угол, и не просит его танцевать, дабы судить его танец. И если бродяга рассказывает, что в далеком краю цветет на дорогах весна, друг—это тот, кто в доме своем принимает вместе с бродягой весну. И если тот повествует об ужасах голода, обрушившегося на деревню, из которой он держит свой путь, друг вместе с ним страдает от этого голода. Ибо, тебе я об этом уже говорил, друг в человеке—та его часть, что всегда на твоей стороне, и друг тебе дверь открывает, которую он никогда не отворил бы другому. И твой друг—это истинный друг, и все, что он говорит,—это правда, и он тебя любит даже в том случае, если в доме другом он тебя ненавидит. И друг мой во храме, тот, с кем я, милостью божией, сталкиваюсь и встречаюсь, он тот, кто ко мне обращает лицо то же самое, что и мое, озаренное тем же Богом, ибо единенье наше свершилось, даже если за стенами храма он торговец, а я капитан, он садовник, а я мореплаватель. Над всеми преградами, которые нас разделяют, я обрел его, и я его друг. И подле него могу я молчать и могу ничуть не бояться за мои внутренние сады, за мои горы, за мои овраги, за мои пустыни, ибо никогда он не станет топтать их. То, что, будучи другом моим, ты вместе с любовью от меня получаешь,—это словно

посол моего внутреннего царства. И ты его ласково принимаешь, и усаживаешь, и слушаешь его речи. И мы с тобой счастливы. И разве ты видел когда-нибудь, чтобы я, принимая послов, их держал в стороне или им в чем-то отказывал потому только, что в глубине их далекого царства, в тысяче дней пути от моих владений, люди питаются кушаньями, которые мне не по вкусу, или же потому, что их обычаи так несхожи с моими? Дружба — это покой и великое воспарение духа над пошлостью мелочей. И я не могу упрекать человека, который сидит за моим столом.

Ибо знай, что гостеприимство, учтивость и дружба — это открытие человека в человеке. Что буду я делать в храме бога, который вдруг станет перебирать подробности роста или полноты у людей, в него верующих и пришедших ему поклониться? Что буду я делать в доме друга, если он, не желая считаться с костылями моими, вдруг заставит меня танцевать, чтобы судить, на что я способен?

Ты встретишь в мире немало подобных судей. Если идет речь о том, чтобы стал ты другим и сделался тверже, предоставь эту работу врагам. Они охотно возьмут ее на себя, подобно буре, ваяющей кедр. Друг твой создан затем, чтобы тебя принимать. И если приходишь ты к Богу во храм, он не судит тебя, он тебя принимает.

## LXXI

Я запрещаю купцам слишком расхваливать свои товары. Ибо они очень быстро превращаются в менторов и указывают тебе в качестве цели на то, что по природе своей является только средством, и, направляя тебя таким образом на ложный путь, тем самым тебя унижают и портят, ибо, если их музыка отличается пошлостью, они изготавливают для тебя пошлую душу и тебе ее продают. И если хорошо, когда вещи создаются для того, чтобы служить людям, то чудовищно было бы, если бы люди создавались для того, чтобы служить свалками для вещей.

## LXXXII

И предо мной открывается великая истина непрерывности.

Ибо на что ты будешь надеяться, если ничто не живет дольше, чем ты? И мне вспоминается племя, которое глубоко почитало своих покойников. И могильные камни каждой семьи один за другим принимали покойников. И эти могильные камни устанавливали непрерывность.

«Вы счастливы?» — спросил я людей.

«Как же не быть нам счастливыми, если мы знаем, где будем спать?..»

Ибо со временем я расскажу тебе про необходимость, расскажу про ту безусловность, которая есть божественный узел, связующий вещи.

Ибо нельзя же играть с превеликим волнением в кости, когда за костями ничего не стоит. И для человека, который по моему повелению отправляется в море,—если оно предстает перед ним беспокойным и грозным, и он перед тем, как взойти на корабль и окинув взглядом всю ширь горизонта, понимает: готовится буря, и, если он, глядя на грозные тучи, точно на отряды врагов, прикидывает, насколько они опасны, и старается глазом измерить высоту волн, и всей грудью вдыхает пружинистый ветер,—для него все эти стихии будут согласно звучать, отзываясь, как эхо, друг в друге, и в силу необходимости, какой для него стало мое повеление и на которую не существует ответа,—вся эта картина будет уже для него не беспорядочным мельтешением ярмарки, но стройной базиликой, а я — основанием храма, залогом его долговечности. И человек сей поистине будет прекрасен, когда он взойдет на корабль и уже на основе его повелений будет строиться жизнь корабля.

Но человеку другому, тому, кто помимо меня простым пассажиром пожелает отправиться на морскую прогулку и захочет моря бороздить, повинаясь лишь собственной склонности к перемещению в пространстве,—ему недоступна базилика, и грозные тучи заботят его не больше, чем размалеванный холст, и для него крепчающий ветер не знак перемены, творящейся в мире, но лишь легкая ласка, мимоходом задевшая кожу, и кипение волн для него — лишь беспокойство для чрева.

И поэтому то, что именую я долгом и что есть божественный узел, связующий вещи,—оно лишь в том случае воздвигнет твое царство, или твой храм, или поместье твое, если предстанет оно перед тобой как абсолютная необходимость, а не как игра, где правила могут меняться.

«Свой долг ты узнаешь,—говорил мне отец,—по самой верной примете: его выбираешь не ты».

Вот почему заблуждаются те, кто желает понравиться. И желая понравиться, слишком податливы. И спешат упредить любые желания. И на каждом шагу совершают предательство, чтобы казаться такими, какими их видеть хотят. Но на что мне эти медузы, у которых ни формы нет, ни костей? Я с презрением их отвергаю и отбрасываю обратно в болотную жижу, из которой они появились на свет. Превратитесь в людей — тогда приходите.

И женщине тоже противен мужчина, который пусть даже и любит ее, но, чтобы любовь свою показать, согласен быть эхом и зеркалом женщины. А кому интересно лишь со своим отражени-

ем дело иметь? Нет, ты мне нужен сильным, как крепость, и чтобы в тебе ощущался твой собственный стержень. Садись же, будь гостем моим, ибо ты существуешь.

За того, в ком представлено царство, женщина с радостью замуж выходит и покорно служит ему.

## CXXIV

Молитва одиночества.

«Поимей же, о Господи, жалость ко мне, ибо мое одиночество меня угнетает. Я не жду ничего. В этой комнате, где нахожусь я, ничто ни о чем мне не может сказать. И однако, я не чьего-то присутствия жажду, потому что бываю еще больше потерян, когда окунаюсь в толпу. Но та женщина, которая схожа со мной и которая тоже так одиноко сидит в своей комнате, очень сходной с моею, она, однако же, чувствует себя вполне довольной, если те, к кому полна она нежности, пребывают поблизости, в этом же доме. Она их не слышит, не видит. И в это мгновение не получает от них никакой вести. Но для того, чтобы быть счастливой, ей достаточно знать, что дом обитаем.

Господи, я тоже не прошу у тебя ничего, что было бы можно увидеть или услышать. Твои чудеса — не для пяти наших чувств. Но чтобы меня исцелить, тебе достаточно только просветить мне рассудок в отношении моего жилища.

Странник в пустыне, если он, о Господи мой, осознал причастность свою к обитаемому жилищу, радуется несказанно, хотя и знает, что этот дом его расположен на краю света. Никакое расстояние не в силах помешать ему питаться этими соками, и если он умирает, он умирает в любви... Так что я даже не прошу тебя, Господи, чтобы жилище мое находилось поблизости.

Если путник вдруг изумлен прекрасным лицом, перед ним промелькнувшим в толпе, он преображается, даже если это лицо он никогда больше не увидит. И то же с солдатом, который влюблен в королеву. Он отныне солдат королевы. Так что я даже не прошу тебя, Господи, чтобы это жилище мне было обещано.

В просторах морей встречаются люди высокой судьбы, себя посвятившие острову, которого не существует. На своем корабле поют они гимн в честь прекрасного острова и счастливы этим. Их не остров радостью полнит, но гимн. Так что я даже не прошу тебя, Господи, чтобы это жилище вообще где-то было...

Одиночество, Господи,—это лишь плод изнемогшего духа. Родина духа—одно только место, и оно—смысл вещей. Так же как храм—смысл камней. Крылья духа пригодны к полету только в этом пространстве. Он радуется не предметам, но тому единственному лицу, которое он умеет читать сквозь предметы и которое их связует в единое целое. Сделай же, Господи, чтобы я научился читать.

И тогда с моим одиночеством будет покончено».

### СХХХІІІ

Я написал стихи. Мне осталось внести в них поправки.

Мой отец рассердился.

«Сначала ты пишешь стихи, а потом начинаешь их поправлять! Да ведь писать—это и есть поправлять! И лепить—поправлять! Ты видел, как скульптор мнет глину? От поправок к поправкам из нее возникает лицо, и уже самое первое его прикосновение к глине было ее исправлением. Когда я закладываю в пустыне город, я вношу поправку в песок. Потом исправляю свой город. И от поправок к поправкам я шествую к Богу».

### СХХХVІІ

Не забывай, что фраза твоя—это деяние. Совершенно не нужно приводить мне какие-то доводы, если ты хочешь побудить меня к действию. Неужто ты думаешь, что, выслушав доводы, я на что-то решусь? Я найду гораздо лучшие доводы против тебя.

Где ты видел, чтобы брошенная тобой женщина снова тебя завоевала благодаря судебной тяжбе, в ходе которой она бы тебе доказала, что она права? Судебное препирательство всегда раздражает. Она не смогла бы тебя вернуть, даже если бы предстала перед тобой такою, какою ты ее любил, ибо такою ее ты больше не любишь. Я видел одну такую несчастную, которая вспомнила, что ее взяли в жены после того, как она премило исполнила грустную песню, и накануне развода вздумала снова исполнить ее. Но грустная песня привела его в ярость.

Быть может, женщина эта могла бы его вернуть, пробудив в нем того, кем он был, когда он любил ее. Но для этого нужен творческий гений, ибо дело здесь в том, чтобы привить человеку какие-то новые качества, подобно тому, как я прививаю ему склонность к морю, которая сделает его строителем кораблей. И дерево будет расти и, вырастая, будет проявлять себя многогранно. И он снова захочет услышать ту грустную песню.

Чтобы заложить основание любви ко мне, я заставляю родиться в тебе некое существо, которое станет моим союзником. Я не буду говорить тебе о своих страданиях, ибо они тебя



отвратят от меня. Я не буду ни в чем тебя упрекать, ибо это тебя приведет в раздражение. Я не буду тебе излагать причины, по которым ты должна меня любить, ибо причин таких нет. Причина любви—это сама любовь. И я не стану показываться пред тобою таким, каким ты желала меня увидеть. Ибо ты больше таким меня видеть не хочешь. Иначе бы ты меня любила еще. Но я воспитаю тебя для меня. И если я достаточно крепок, я покажу тебе пейзаж, который когда-нибудь сделает тебя моим другом.

Та, которую я забыл, вонзилась мне в сердце, как стрела, когда спросила меня: «Вы слышите, как звенит ваш потерянный колокольчик?»

Ибо что я могу тебе в конечном счете сказать? Я часто с вершины горы рассматривал город. Или, гуляя по улицам в молчании своей любви, слушал, о чем говорят люди. И конечно же, слышал слова, за которыми следовали поступки; отец говорил своему сыну: «Возьми кувшин и принеси воды из источника», капрал говорил своему солдату: «В полночь вступишь на пост ...» Но мне всегда казалось, что за этими словами не было тайны и что путник, не знающий нашего языка и увидев, что все они связаны с будничными делами, не нашел бы в них ничего, что было бы хоть сколько-нибудь интересней движения муравьев в муравейнике, где все представляется таким простым и понятным. И я, глядя на то, как в моем городе люди ездят в повозках, и что-то сооружают, и ухаживают за больными, и производят товары, и ими торгуют,—я не видел во всем этом ничего, что не было бы действиями животного, хотя и несколько более дерзкого, более изобретательного и более смышленного, чем остальные животные, и с такой же очевидностью мне представлялось и то, что, рассматривая их в их каждодневных заботах, я ни разу еще не увидел в них человека.

Ибо когда он показывался мне, и оставался для меня совершенно необъяснимым, если пытаться объяснить его действия правилами муравейника, и от меня ускользал, если я не понимал смысла произносимых им слов,—это происходило тогда, когда на рыночной площади, усевшись в кружок, люди слушали сказителя древних преданий, во власти которого, обладай он истинным даром, было, поведав им очередное предание, встать и поджечь город, и они бы послушно делали все, что он им бы велел.

И я видел, как эти же мирные толпы поднимались, повинувшись голосу какого-нибудь пророка, и шли за ним следом, чтобы сгореть в огне битвы. Какую же неотразимую силу должны были заключать в себе гонимые ветром слова, чтобы толпа, услышавшая их, могла опровергнуть сравнение ее с муравейником, и сама стать пожаром, и обречь себя смерти.

Ибо те, кто возвращался домой, приходили уже другими. И

мне казалось, что для того, чтобы поверить в существование волшебных чар, вовсе не требовались рассказы о колдунах, поскольку я слышал своими ушами весь тот набор слов, которые оказывались волшебными и способны были оторвать меня от моего дома, от работы, от привычек и внушить мне потребность умереть.

Вот почему всякий раз я с вниманием вслушивался в людские речи, стараясь определить, где слова действенные и где бесплодные, чтобы научиться распознавать, что же именно несут в себе люди. Ибо то, о чем они во всеуслышание заявляют, конечно же, в счет не идет. Иначе бы каждый был великим поэтом. И каждый бы мог повести за собою людей, стоило бы ему только провозгласить: «Ступайте за мною в битву, в сладостный запах порохового дыма...» А попробуй-ка ты такое сказать—в ответ ты услышишь лишь смех. Так случается с теми, кто проповедует благо.

Но поскольку довелось мне слышать и тех, кто преуспел и кому удавалось людей изменять, и поскольку молил я Господа, дабы он вразумил меня, мне было дано научиться распознавать в ветре слов редкую россыпь семян.

### СЛИИ

В эту ночь, в безмолвии своей любви, захотел я подняться на гору, чтобы еще раз увидеть город, его в тишину погружая моим восхождением и лишая его движений,—но на половине дороги я задержался, охваченный состраданием, ибо из деревень до меня доносились жалобы и я пожелал узнать их причину.

Исходили они от скота, размещенного в стойлах. И от животных, живущих в полях, и от тех, что в небе летают, и от тех, что селятся по берегам вод. Ибо только они обнаруживают себя в караване жизни, поскольку растения лишены языка, а человек, уже наполовину живущий духовною жизнью, стал обходиться молчанием. Ибо тот, кого мучает рак, лишь молча кусает губы и, возвышаясь над сумятицей плоти, превращается в духовное древо, которое простирает ветви свои и свои корни уже не в царстве вещей, но в царстве смысла вещей. Вот почему молчаливая мука тебя беспокоит больше, чем мука, что вопиет. Молчащею болью заполнена комната. Заполнен весь город. И нет такой дали, куда бы ты мог от нее убежать. И твоя возлюбленная, страдающая от тебя вдалеке,—она, если ее ты поистине любишь, мукой своею тебя подчиняет себе, повсюду, где бы ты ни был.

Итак, я слышал жалобы жизни. Ибо жизнь продолжалась и в стойлах, и в полях, и по берегам вод. Ибо в стойлах мычали телившиеся коровы. Ибо я слышал голоса любви, которыми полнились болота, опьяневшие от истомы лягушек. Слышались мне и голоса кровожадной резни, ибо пищали тетерева, попав-

шие в лапы лисиц, и блеяли козы, которых ты приносил в жертву своему желудку. А порою случалось и так, что своим рыканием зверь заставлял замолчать всю округу, превращая мгновенно ее себе на потребу в безмолвное царство, где всякая жизнь обливается потом от ужаса. Ибо хищных зверей на добычу наводят терпкие запахи страха, приносимые ветром. Едва успевал этот хищник взречься — и все его жертвы для него начинали светиться во мраке, точно гирлянды огней.

Потом вся живность земли, и неба, и вод понемногу выходила из оцепенения, и снова звучала в округе жалоба родов, любви и резни.

«А, понимаю,— сказал я себе,— да это ведь гул перевоза, ибо жизнь передает себя от поколения к поколению, и в движении своем через время она — как тяжелая колесница, и натужно скрипит ее ось...»

Вот тогда наконец мне и было дано хоть отчасти понять тревогу людей, ибо ведь и они передают себя от поколения к поколению, вырываясь за собственные пределы. Тянутся денно и ночно сквозь города и деревни неумолимые эти отряды, подобные тканям живой человеческой плоти, которая рвется все время и все время опять восстанавливается, и я ощущаю, так же как ощутил бы я рану, как во мне совершается труд постоянной и медленной линьки.

«Но эти люди,— говорил я себе,— живут не вещами, а смыслом вещей, и поэтому нужно, чтобы передавали они друг другу пароль.

Вот почему я вижу всегда, как они, едва родится у них ребенок, весьма озабочены тем, чтобы научить его пользоваться их языком, ибо этот язык, словно некий секретный код, есть ключ к их богатству. Чтобы провезти через дитя свое поклажу чудес, они со старанием в нем пролагают дороги для этого перевоза. Ибо для изложения трудны, и очень весомы, и при этом неуловимы те жатвы, что следует передавать от одного поколения к другому.

Да, светится радостью эта деревня. Да, может растрогать до слез этот стоящий в деревне дом. Но если новое поколение, заселившее дом, о нем ничего ровным счетом не знает, кроме самых простых обиходных вещей, что ему делать в этой пустыне? Ибо как для того, чтобы твои наследники могли получить удовольствие от какого-либо струнного инструмента, тебе нужно научить их искусству музыки,— так и для того, чтобы они были людьми, которым доступны человеческие чувства, тебе нужно научить их читать за разнообразием вещей облик твоего дома, твоего поместья, твоего царства.

Без чего новое поколение встанет по-варварски лагерем в городе, который оно от тебя получит. А какую радость извлекли бы варвары из твоих сокровищ? Они не умеют ими пользоваться, поскольку у них нет ключа к твоему языку.

Для тех, кто переселился в царство смерти, эта деревня

была словно арфой, и все стены, деревья, фонтаны, дома имели особый свой смысл. И каждое дерево было непохоже на другие деревья, потому что была у него своя история. И каждый дом непохож был на другие дома, потому что были у него свои привычки. И каждая стена непохожа на другие стены, потому что имела свои секреты. И прогулку свою по деревне ты сочинял, как мелодию, извлекая желанный тебе звук из каждого своего шага. Но варвар, вставший здесь лагерем, не знает, что нужно сделать, чтобы твоя деревня начала петь. Ему в ней становится скучно, и, столкнувшись с невозможностью куда бы то ни было проникнуть, он крушит твои стены и уничтожает твои предметы искусства. В отместку инструменту, которым он не умеет пользоваться, он учиняет пожар, от которого по крайней мере получает немного пламени и света. После чего впадает в уныние и начинает зевать. Ибо для того, чтобы пламя показалось тебе красивым, нужно знать, что ты сжигаешь. Поэтому прекрасно для тебя пламя свечи, горящей перед ликом твоего божества. Но даже пламя твоего горящего дома ничего не скажет варвару, поскольку оно не будет пламенем приносимой им жертвы».

Меня преследовал этот образ поколения, самовольно обособившегося в раковине другого. И мне представлялись очень важными те обряды, которые в моем царстве обязывают человека передавать или получать наследство. Мне в стране нужны жители, а не туристы, явившиеся ниоткуда.

Вот почему я вменяю тебе в обязанность, как нечто очень важное, проведение длительных церемоний, посредством которых я соединю воедино все то, что оказалось разорванным в моем народе, дабы ничто из его наследия не пропало. Ибо дерево не слишком заботится о своих семенах. Когда ветер отрывает их и уносит, это прекрасно. Ибо насекомое не слишком заботится об отложенных яйцах. Ими займется солнце. Все, чем обладают насекомые и деревья, содержится в их плоти и передается с их плотью потомству.

Но кем станешь ты, если никто не взял тебя за руку, чтобы показать тебе запасы меда, имеющего отношение не к вещам, но к смыслу вещей? Они очевидны, те буквы, какими написана книга. Но я прежде измучу тебя, чтобы потом подарить тебе эти ключи от поэмы.

То же относится к похоронам—я желаю их видеть торжественными. Ибо речь идет не о том, чтобы предать тело земле. Но о том, чтобы воедино собрать, ничего не утратив, собрать, как содержимое урны, потому что она разбилась,—собрать воедино то достояние, хранителем которого явилась твоя смерть. Трудно все спасти. Собирать воедино покойников—долгое дело. Тебе нужно их долго оплакивать, и раздумывать об их жизни, и праздновать их годовщины. Тебе нужно много раз

оборачиваться назад, чтобы проверить, не забыл ли ты что-либо по дороге.

То же относится к свадьбам, которые подготавливают суматоху рождений. Ибо дом, который замыкает вас под своей крышей, становится погребом, и ригой, и складом. Кто может сказать, что содержится в нем? Ваше умение любить, и умение смеяться, и умение наслаждаться стихами, и умение чеканить по серебру, и умение плакать и размышлять—все это предстоит вам собрать, чтобы потом передать в свою очередь дальше. Я хочу, чтобы ваша любовь была кораблем, груз которого должен преодолеть бездну, отделяющую одно поколение от другого, а не сожительство ради суетного раздела суетных благ.

То же относится и к обрядам рождения, ибо здесь речь идет о разрыве, который так важно заделать.

Вот почему я требую торжественных церемоний, когда ты вступаешь в брак, когда ты рождаешь, когда умираешь, когда расстаешься, когда возвращаешься, когда начинаешь строить свой дом, когда начинаешь в нем жить, когда складываешь урожай в закрома, когда отмечаешь и сбор винограда, и начало войн, и наступление мира.

И вот почему я требую также, чтобы сам ты воспитывал своих отпрысков, дабы они на тебя походили. Не фельдфебелю же поручать передачу наследия, о котором и слова не сыщешь в уставе. Если не ты, а другие снабдят твоего сына багажом твоих знаний и наставят в твоих идеях, он все равно, если будет от тебя отделен, растеряет все то, чего нельзя выразить словами и чего нет ни в каком уставе.

Ты воспитаешь детей своих по образу и подобию своему, чтобы впоследствии не слонялись они безрадостно по отчизне и чтобы она не стала для них пустым скучным лагерем, чьим сокровищам, за неимением к ним ключей, они позволили бы разлагаться и гнить.

#### CLIV

Меня в моем царстве приводили в ужас чиновники, ибо они очень дружно проявляли свой оптимизм.

«Дела идут превосходно,—говорили они.—Перед нами недостижимое совершенство».

Но совершенство всегда недостижаемо. У него одно лишь значение—значение звезды, ведущей тебя вперед. Совершенство—это направление, это стремление к цели. Но движение вперед важно само по себе, и не существует запасов, какие могли бы позволить тебе присесть отдохнуть. Ибо тогда умирает силовое поле, которое одно только и одушевляет тебя, и тогда ты—подобие трупа.

И если некто пренебрегает звездой, значит, он хочет присесть и уснуть. Но тебе-то где можно присесть? И где ты уснешь? Место отдыха мне неизвестно. Ибо если такое место

тебя вдохновляет, значит, оно уже цель твоей победы. Но все обстоит по-иному, если подобное место — поле сражения, где ты вдыхаешь запахи новой победы; и все обстоит по-иному, если подобное место будет мягкой подстилкой, в которую ты превращаешь победу, чтобы всю жизнь на ней отдыхать.

С каким же высоким деяньем ты можешь сравнить деянье свое, чтобы быть им довольным?

## CLV

Ибо тебя удивляет моральная сила моих обрядов, сила путей, по которым я движусь вперед. Но если ты удивляешься, значит, ты слеп.

Посмотри на ваятеля. Он несет в себе нечто такое, что невозможно выразить формулой. Ибо не выразишь формулой то, что идет от человека живого, а не от скелетов людей прошедших времен. И ваятель мнет глину, чтоб передать в ней лицо.

И вот ты прошел по дороге, у которой стоит изваяние, и взглянул на это лицо, может быть, дерзкое, а быть может, печальное, и продолжил свой путь. Но уже ты не тот человек, каким ты был прежде. И не то чтоб ты был обращен, и все-таки ты обращен, или, иными словами, повернут, склонён в другом, непривычном тебе направлении, на короткое, может быть, время, но на какое-то время склонён.

Итак, человек испытывал чувство, не поддающееся определению, и поэтому придал некую форму куску бесформенной глины. И он поместил эту глину у тебя на пути. И если уж ты на эту дорогу ступил, значит, ты зарядился этим же самым, не поддающимся определению чувством.

Именно то же произойдет и в том случае, если между движением пальцев ваятеля и твоим появлением на дороге пролягут многие тысячи лет.

## CLXXV

Я хочу тебя видеть постоянным и определенным. Я хочу тебя видеть верным. Ибо быть верным — это в первую очередь значит быть верным себе. От предательства нечего ждать, ибо узы, которые будут тобой руководствовать, и тебя вдохновлять, и озарять тебя смыслом и светом, — их надо долго готовить. То же самое происходит и с камнями храма. Я не буду их каждый день рассыпать, чтоб на ощупь искать формы лучшего храма. Если ты продаешь поместье свое ради другого поместья, которое будет, возможно, на вид даже и лучше, чем прежнее, — ты утрачиваешь частицу себя самого, которую уже никогда не вернешь. И почему же, скажи, так скучно тебе в твоём новом жилище? Оно ведь гораздо удобней, ведь в нём разместилось все то, на что ты не мог и надеяться в скудости прежнего дома.

От колодца у тебя уставала рука, и ты мечтал о фонтане. Вот твой фонтан. Но отныне тебе не хватает пеняя вóрота и сверканья на солнце воды, извлеченной из чрева земного.

И это вовсе не значит, будто я не хочу, чтобы ты поднимался все выше, и развивался, и рос, и желал постоянно идти все дальше вперед. Но разные вещи—фонтан, которым ты сам украшаешь свой дом и который становится победою твоих рук, и твое водворение в раковину другого. Ибо разные вещи—последовательное продвижение вперед в одном и том же, раз и навсегда избранном направлении, например в украшении храма, каковое подобно росту могучего дерева, привольно раскидывающего свои ветви, и твое лишенное всякой любви переселение в другой дом.

Ты представляешься мне подозрительным, когда отсекаешь прошлое, ибо ты ставишь на карту самое ценное благо, относящееся не к вещам, но к смыслу вещей.

Все эмигранты, которых я знал, были грустны и печальны.

Я тебя призываю отверзнуть врата своего духа, ибо ты рискуешь оказаться обманутым ложью слов. Некий человек удовлетворил свой вкус к путешествиям. Он шел от гавани к гавани, и о нем я сказать не могу, что он себя обеднил. Цельность его—его путешествия. Но другой человек обожает свой дом. Цельность его—его дом. И если он что ни день будет менять дома, ни в одном он счастлив не будет. Если я говорю об оседлости, я говорю не о тех, кто любит свой дом. Но говорю я о тех, кто уже и не любит, и не видит его. Ибо твой дом—он тоже непрерывная победа, и это знает прекрасно твоя жена, которая заново воссоздает его на рассвете каждого дня.

Так что послушай, что я скажу тебе о предательстве. Ибо ты узел всех отношений, и больше никто. И ты существуешь благодаря своим узам. Узы твои благодаря тебе существуют. Храм существует благодаря каждому из камней. Ты вынимаешь один—и храм рассыпается. Ты принадлежишь храму, поместью, царству. И они существуют благодаря тебе. И не тебе судить о том, кто ты есть, как судит пришедший извне и не связанный теми же узами. Если ты судишь—ты судишь себя. Это бремя твое—и твое вдохновение.

Ибо я презираю того, кто хулит и поносит своего сына, если сын согрешил. Его сын—плоть от плоти его. Ему надлежит увещевать его, и корить—порицая тем самым себя самого, если он его любит,—и сурово его вразумлять, а не бегать из дома в дом, жалуясь на него. Ибо если он отмежевался от сына, он больше ему не отец, и он обретет, конечно, покой, но этот покой его сделает бесконечно беднее, и он очень похож на покой мертвецов. Мне всегда представлялись жалкими те, кто уже больше не знал, в чем они солидарны с людьми. Они старались себе подыскать религию, компанию, смысл жизни, к

которым бы можно было приткнуться, и не гнушались сбором пожертвований, лишь бы быть принятыми. Но встречали они только призрак приема. Настоящий прием тебе будет оказан только спервоначала. Ибо ты ищешь вначале крепких и прочных корней и понимаешь, каковы те права и обязанности и какова та ответственность, что ты берешь на себя. Но обязанность в жизни быть человеком не возьмешь на себя так же просто, как на стройке берут на себя от надзирателя за рабами обязанность каменщика. Становясь перебежчиком, ты опустошаешь себя.

Мне по нраву отец, который, когда его сын согрешил, принимает позор греха на себя, погружается в скорбь и искренне кается. Ибо сын его — плоть от плоти его. Но стало быть, он неразрывными узами связан с сыном своим, и сын руководствует им, и, стало быть, также и он будет сыном своим руководствовать. Ибо мне не встречались дороги, идущие только в одном направлении. Снимая с себя ответственность за поражения, ты снимаешь с себя ответственность и за победы.

Если ты любишь ее, эту женщину, что живет в твоём доме и является твоею женой, и если она согрешила, не торопись заодно оказаться с толпой, выносящей ей приговор. Она — плоть от плоти твоей, и сначала тебе надлежит себя самого осудить, ибо ты за нее отвечаешь. Оказалась неправой твоя страна? Я требую, чтоб приговор ты вынес себе: ты плоть от плоти ее.

Ибо, конечно, к тебе как свидетели придут посторонние, и тебе перед ними придется краснеть. И чтобы избавить себя от стыда, ты отмежешься от заблуждений ее. Но нужно хоть в чем-нибудь быть солидарным. Не с теми ли, кто твой дом оплевал? Они были правы, ты скажешь. Возможно. Но я хочу, чтобы ты верен был дому. Ты должен от них держаться подальше, от тех, кто твой дом оплевал. Ты не должен с ними плевать. Ты должен вернуться к себе и домочадцев своих вразумить: «Что за срам! Неужели я так же для вас безобразен?» Ибо если они имеют власть над тобой, и покрывают срамом тебя, и ты этот срам от них принимаешь, выходит, и ты можешь власть над ними иметь и делать их лучше и лучше. И тогда будешь делаться лучше и сам.

Твой отказ вместе с толпою плевать не означает никак, что ты их вину покрываешь. Он означает, что ты разделяешь с ними вину, чтобы вместе очиститься.

У тех, кто отмежеваться спешит и кто посторонних сам подстрекает: «Мол, смотрите на всю эту мерзость, но знайте, что я ни при чем...» — у них нет за душой ничего, в чем они могут быть солидарны. Они тебе скажут, что они солидарны со всеми людьми, или с доблестью, или с Богом. Но это пустые слова, если нет за ними человеческих уз. И снисходит Господь до дома, чтобы дом себе возвести. И для обездоленного,



зажигającego свечи, Господь означает обязанность их зажигать. Для того, кто с людьми солидарен, человек — не просто еще одно слово из его словаря, человек — это те, за кого он несет ответственность. Было бы слишком легко — отгородиться от жизни и предпочесть имя Бога зажиганию свечей. Но я знаю не человека вообще, но конкретных людей. Не свободу вообще, но свободных людей. Не счастье вообще, но счастливых людей. Не вообще красоту, но красивые вещи. Не Бога вообще, но жаркое пламя свечей. И если кто-то стремится к познанию сущности, но для него она означает не рождение, а нечто другое, он, стало быть, просто тщеславен и в сердце его пустота. И ему не будет дано ни жизни, ни смерти, ибо нельзя умирать или жить только в словах.

Стало быть, если кто-то других осуждает, а сам уже больше не солидарен с ними, и осуждает их, чтобы себя убажить, ты упрешься в его тщеславие, точно в глухую стену. Ибо речь здесь идет о его любовании собой, а не о любви его. Речь идет не о нем как о связи с другими, а о нем как о предмете, который рассматривают со стороны. И это бессмысленно.

Стало быть, если стыдно тебе за тех, кто живет в твоём доме, в имении твоём, в твоём царстве, значит, напрасно ты будешь меня убеждать, что чистым себя объявил ты лишь ради того, чтобы очистить и их, поскольку ты якобы тоже из них. Но для свидетелей ты уже не из них, ты обеляешь себя одного. Ибо правильно скажут тебе: «Если они такие, как ты, почему же они сюда не явились и вместе с тобой не плюют?..» Ты в их позоре отрекся от них, ты на их оскудении рад подкормиться.

Человек, разумеется, вправе возмущаться бесчестьем, пороками, низостью своего дома, имения, царства, вправе бежать от них прочь в поисках чести. И если он сделает это, он будет живым доказательством чести своих соплеменников. Значит, какая-то доля их чести жива и наделила его полномочиями. И он будет живым доказательством того, что и другие тянутся к свету. Но он занялся рискованным делом, ибо мужества понадобится ему куда больше, чем даже для встречи со смертью. Он найдет готовых свидетелей, которые скажут: «Ты и сам весь запачкан всей этой мерзостью!» И если он уважает себя, он ответит: «Да, но я из болота ведь выбрался». И судьи скажут тогда: «Те, кто чист, лишь они выбираются! А те, кто остался в болоте, те сами — мерзость и гниль». И воскурят тебе фимиам, но лишь тебе одному. А не в твоём лице соплеменникам. Ты утвердишь свою славу за счет бесславия других. Но будешь ты одинок, как одинок человек, что преисполнен тщеславия, или как смерть.

Ты хранишь при себе, если уходишь от них, рискованное послание. Ибо ты будешь свидетельством их чести, поскольку ты тоже страдал. А теперь отделяешь их от себя.

У тебя остается надежда сохранить свою верность, но только в том случае, если ты силы найдешь поступиться тщеславием. И ты скажешь тогда: «Я мыслю так, как они, и от них себя не отделяю». И станут тебя презирать.

Но это презрение будет мало трогать тебя, ибо ты часть огромного тела. И ты обретишь над ним власть. И ты его одаришь своими пристрастиями. И твоя честь получит поддержку их чести. Только на это и можно надеяться.

Если объял тебя праведный стыд, спрячься от глаз. Не говори ни о чем. Молча стыд свой глотай. Эта пища трудна для желудка, но благотворна, потому что она заставит тебя обретать свои силы в собственном доме. Ибо всё от тебя лишь зависит. Но когда человек, у которого руки и ноги болят, велит их скорей отрубить, значит, он обезумел. Можно пойти на смерть ради того, чтоб в тебе уважали твоих соплеменников, но нельзя от них отступаться, ибо тем самым ты отступишься от себя.

Твое дерево и худое и доброе одновременно. Тебе не все плоды его нравятся. Но среди них есть прекрасные. Было бы слишком легко — себя услаждать плодами прекрасными и отвергать остальные. Ибо они — ипостаси различные одного и того же дерева. Было бы слишком легко — отобрать хорошие ветви. И остальные отвергнуть. Гордись в этом дереве тем, что прекрасно. Если же верх в нем худое берет, тогда помолчи. В твоих силах проникнуть в него и подумать: «Что мне сделать, чтоб ствол исцелить?»

От того, кто сердцем бежит в чужие края, народ отступается, и он сам отступается от народа. Быть по-иному не может. Ты признал других судей. Стало быть, для тебя хорошо, что ты станешь их человеком. Но это чужая земля, и на ней ты умрешь.

Сама сущность твоя творит это зло. Ошибка твоя заключается в том, что ты себя отделил. В жизни нет такой малости, от которой ты можешь безнаказанно отречься. Здесь тебе худо? Но дело только в тебе.

Я отрекаюсь от всякого, кто отрекается от жены, от города, от отечества. Ими ты недоволен? Но ведь ты же их часть? Ты плоть от плоти их всех, и это само по себе склоняет к добру. Тебе нужно увлечь за собой остальных. Не судить их извне.

Ибо два существует суда. Тот, что сам ты вершишь как судья разумением своим над другими. И тот, что вершишь над собой.

Ибо речь не о том, чтобы строить термитник. Отрекаясь от дома, ты от всех домов отрекаешься. Если ты отрекаешься от одной только женщины, ты от любви отрекаешься. Ты эту женщину можешь покинуть, но любви ты уже не найдешь.

Ибо тебе невдомек, что же такое радость, если ты думаешь, что дерево живет лишь ради себя, замкнувшись в своей оболочке. Оно — источник крылатых семян, и оно преобразует себя и от поколения к поколению делается все краше. Оно идет по земле — не так, как идешь ты, но так, как идет пожар, повинаясь ветрам. Ты посадил кедр на горé, и вот уже лес твой неторопливо разгуливает вдоль столетий.

Каким себя видит дерево? Оно себя видит корнями, стволом и листвой. Ему представляется, что, укрепляя в земле свои корни, оно служит себе самому, но оно — только путь и только мостки. При его посредстве земля сочетается с солнечным медом, выпускает почки, раскрывает цветы, возвращает семена, и семя несет в себе жизнь, словно огонь, который уже разожжен, но пока что невидим.

Когда я бросаю в землю семена, я зажигаю землю. Но пред тобою все это проходит в замедленном темпе. Ты видишь недвижимую листву, привольно раскинувшиеся ветви, и дерево представляется тебе оседлым, живущим только собой, замурованным в себе. Ты близорук, ты видишь не дальше своего носа — видишь превратно. Достаточно тебе отступить немного назад и подтолкнуть маятник дней, чтобы увидеть, как из зерна вырывается пламя, а из него — все новые пламена и как идет по земле пожар, сбрасывая с себя оболочки сгоревшей дотла древесины, ибо лес горит молча. И ты уже больше не видишь ни этого дерева, ни другого. И ты понимаешь теперь, что корни служили вовсе не дереву, а этому огню, пожирателю, но в то же время и созидателю, и вся эта масса темной листвы, одевшая гору, не что иное, как земля, оплодотворенная солнцем. И на поляне прыгают зайцы, и щебечут птицы в ветвях. И ты уже больше не можешь сказать, кому служат твои корни. Теперь всё вокруг тебя — только мостки, только этапы дороги. И почему тебе думать о дереве так, как не думаешь ты о зернах? Ты ведь не говоришь: «Зерно живет ради себя самого. Оно законченно и совершенно. Стебель живет ради себя самого. Он закончен и совершенен. Цветок, который рождается на стебле, живет ради себя самого, он закончен и совершенен. Зерно, которое создано цветком, живет ради себя самого, оно законченно и совершенно». И еще раз то же самое — о новом зерне, из которого между камней пробился опять стебелек. Какой же этап ты хотел бы избрать, чтобы счесть его завершением? Что до меня, я одно только знаю: восхождение облитой солнцем земли к небесам.

То же с человеком и с народом моим, про который я ведать не ведаю, куда он идет. Закрыты амбары, заперты наглухо двери домов, когда спускается ночь. Спят дети, спят старухи и старики — что же могу я сказать про их пути и дороги? Эти пути и дороги так нелегко распознать и так трудно определить по приметам одного какого-то времени года, которое добавляет

морщину-другую старухе, добавляет каких-нибудь несколько слов в разговор ребенка и едва уловимо меняет улыбку. И которое ничего не меняет в достоинствах и недостатках людей. И однако, стоит мне охватить сразу много твоих поколений, народ мой, и я вижу, как ты пробуждаешься, и понимаешь себя, и себя познаешь.

Но, конечно, никто в своих мыслях не может уйти от себя. И это хорошо. Хорошо, когда чеканщик чеканит серебро и не отвлекается на ненужные мысли. Когда геометр думает о геометрии. Когда король управляет своим королевством. Ибо все эти люди необходимы для общего движения вперед. Так же как нужно, чтобы кузнецы, кующие гвозди, в своих гимнах славил кузнецов, а пильщики досок славил пильщиков досок, хотя и те и другие готовят рождение корабля. Но с парусником их познакомит поэма, и это будет для них благотворно. И они не станут меньше любить свои доски и гвозди, и даже полюбят их еще больше, ибо поэма поможет им понять, что они находят себя, и себя познают, и обретают свою законченность в этом продолговатом лебеде, который вскормлен и окрылен морскими ветрами.

Посему, хотя твоя цель, какой бы величественной она ни была, отнюдь не избавит тебя от необходимости лишний раз подмести на рассвете в своей комнате, или посеять еще одну горсть ячменя после стольких таких же горстей, или опять и опять повторить все то же движение в работе своей, или научить своего сына еще одному слову или еще одной молитве—так же как, проникшись красотой парусника, ты должен еще больше любить свои доски и гвозди, а не начать презирать их,—посему я хочу, чтобы ты знал непреложно, что речь идет не о твоей трапезе, не о твоей молитве, не о поле твоём, не о ребенке твоём, не о праздничном вечере в кругу твоих близких, не о каком-либо предмете, которым ты украшаешь свой дом, ибо все это—только условие, только путь и только мостки. И должен ты знать, что, уведомляя об этом тебя, я отнюдь не хочу внушить тебе презрение к этим вещам, но, напротив, хочу, чтобы ты еще больше их почитал; так же как происходит с дорогой, и с ее поворотами, и с ароматом растущего на ее обочинах шиповника, и с колеями на ней, и с уклонами ее и подъемами, когда избегает она на холмы,—ты их знать будешь лучше и сильнее любить, если перед тобой не какой-то ненужный извив, по которому скучно идти, но дорога, ведущая к морю.

И я не желаю, чтоб ты говорил: «К чему мне эта уборка, и эта тяжелая ноша, которую нужно нести на себе, и этот ребенок, которого нужно кормить, и эта книга, которую нужно читать?» Ибо, конечно, оно хорошо, что, засыпая, ты видишь во сне, в отличие от часовых, не царство, а ужин, но было бы также хорошо, чтобы был ты готовым всегда к посещению, которое не объявит заранее о себе, но одарит на мгновение ясностью твой глаз и ухо твое, и превратит для тебя

подметанье унылые комнаты в служение культу, невыразимое в слове.

Посему каждое биение твоего сердца, каждая твоя боль, каждое желание, каждая вечерняя печаль, каждая трапеза, каждое усилие, которого требует от тебя твоя работа, каждая улыбка, каждая усталость в нескончаемой чреде дней, каждое пробуждение, каждое сладкое погружение в сон отмечены печатью Бога, который угадывается за ними.

Вы ничего не найдете, если превратитесь в оседлых людей, считая себя таким же заготовленным впрок запасом, как и все прочие ваши запасы. Ибо запасов не существует, и тот, кто перестает расти,—умирает.

## ССХІХ

Я пожелал заронить в твое сердце любовь к брату. Но тем самым я заронил в него также печаль от разлуки с братом. Я пожелал заронить в твое сердце любовь к супруге. Но заронил и печаль от разлуки с супругой. Я пожелал заронить в твое сердце любовь к другу. Но тем самым я заронил в него также печаль от разлуки с другом. Так человек, создающий фонтаны, создает и отсутствие их.

Но, открывая тебе, что боль от разлуки больней всех недугов, я хотел тебя исцелить, хотел, чтобы ты научился ценить те минуты, когда желанное рядом. Ибо фонтан, которого здесь сейчас нет, для того, кто умирает от жажды, гораздо более сладок, чем жизнь, в которой не существует фонтанов. И даже если ты изгнан навечно из пределов родных, ты плачешь, узнав на чужбине, что дом твой сгорел.

Мне знакомо присутствие щедрое, подобное мощным деревьям, широко раскинувшим ветви, чтобы лить благодатную тень. Ибо я тот, кто дома живет, и хочу, чтобы ты понимал, каков он, твой дом.

Ты только припомни, какой вкус у любви, когда ты целуешь супругу, потому что раннее утро краски вернуло твоим овощам, и ты построил из них пирамиду, довольно шаткую, надо сказать, и водрузил ее на осла, ибо ты собрался на рынок, чтобы там их продать. И жена тебе улыбается. Она стоит на пороге, готовая, так же как ты, приступить поскорее к работе, ибо ей предстоит и в доме прибрать, и начистить до блеска кастрюли, и заняться стиркой, и она, к обеду готовя сюрприз для тебя—твое любимое блюдо, о тебе будет думать и сама себе говорить: «Лишь бы он не вернулся домой слишком рано и меня бы врасплох не застал, не испортил бы мне удовольствие...» И ничто, стало быть, не отделяет ее от тебя, хотя ты из дома ушел и хотя жене твоей хочется, чтобы ты задержался подольше. И тебя, точно так же, не отделяет ничто от нее, ибо поездка твоя служит вашему дому на пользу, ведь кое-что в доме в негодность пришло, и кое-что надо подправить, и оживить в нем веселье. И

ты уже предвкушаешь, как на выручку купишь из лучшей шерсти ковер, а супруге — серебряное ожерелье. Вот почему всю дорогу ты напеваешь и в душе твоей мир и любовь, хотя ты свой дом и покинул. Ты его строишь, свой дом, когда палкой стучишь по дороге, и подгоняешь осла, и поправляешь корзины, и трешь то и дело глаза, ибо час еще ранний. И сейчас со своею женой ты составляешь единое целое — в большей мере, чем в час томительной праздности, когда ты стоишь на своем пороге и горизонт озираешь и когда тебе в голову не приходит обернуться назад и сладость домашнего царства вкусить, ибо ты гредишь в тот миг о свадебном пире в далеком краю, куда был бы ты рад закатиться, иль о каком-нибудь деле, или о друге.

И теперь, когда оба вы, ты и осел, сонливость свою чуть-чуть разогнали и осел пытается прыть показать, ты слушаешь эту рысцу, которая, надо сказать, продолжается очень недолго, и она тебе кажется песенкой щегля у него под копытами, и ты размышляешь о том, как все сложится в это утро. И ты улыбаешься. Ибо ты уже выбрал заранее лавку, где хочешь поторговаться за серебряный браслет для жены. Вы со старым лавочником знакомы. Он обрадуется твоему приходу, ибо ты его лучший друг. Он осведомится у тебя о жене. Он станет расспрашивать про ее здоровье, ибо жена твоя хрупка и изящна. Он про нее тебе скажет так много приятных вещей и с такой задушевностью в голосе, что простодушный прохожий, столько похвал услышав, несомненно решит, что такая супруга достойна и золотого браслета. Но ты сокрушенно вздохнешь. Ибо так уж устроена жизнь. Ты не король. Ты огородник. И лавочник тоже вздохнет. И после того, как оба вы с ним навздыхаетесь вдоволь в знак своего уважения к золотому браслету, который недосыгаем, он рискнет признаться тебе, что предпочитает серебряные браслеты. «Браслет,— он тебе объяснит,— должен быть непременно тяжелым. А золотые браслеты легки. Браслет в себе заключает мистический смысл. Он звено супружеской цепи, связующей вас воедино. В любви сладко чувствовать тяжесть цепей. На изящном запястье, когда рука поднимается, чтобы поправить на голове накидку, драгоценность должна казаться тяжелой, и тогда она сердцу знак подает». И торговец снова нырнет в помещение сзади лавки, и принесет тебе самый тяжелый из обручей, и предложит, чтобы сам ты почувствовал, как он тяжел, и чтобы взвесил его на ладони, закрывши глаза, и чтобы подумал при этом о чистоте своей радости. И ты выдержишь испытание. Ты согласишься с торговцем. И еще раз сокрушенно вздохнешь. Ибо так уж устроена жизнь. Ты не проводник богатого каравана. Ты погонщик осла. И ты торговцу покажешь осла своего, который ждет перед дверью и не выглядит слишком могучим, и скажешь торговцу: «Все богатства мои так малы, что он нынче утром под их тяжестью рысью бежал». Торговец тоже, конечно, вздохнет. И после того, как оба вы с ним навзыхаетесь вдоволь в знак

своего уважения к браслету тяжелому, который недосыгаем, он рискнет признаться тебе, что легкие браслеты берут над всеми прочими верх из-за прекрасного качества чеканки, ибо у них она тоньше. И тебе он покажет браслет, именно тот, о котором ты гредишь. Ты давно уже все рассчитал и все рассудил очень мудро, не хуже главы государства. Часть из тех денег, что ты заработал за месяц, пойдет на ковер из самой хорошей шерсти, другая — на новые грабли, наконец, еще одна — на еду...

И тут начинается настоящий танец, ибо лавочник знает людей. Если он чувствует, что крючок тобою заглотан, он тебя уже не отпустит. Но ты ему говоришь, что браслет слишком дорог, и прощаешься, и уходишь. Он окликает тебя. Он ведь твой друг. Супруга твоя так красива, что он может на жертву пойти. Он был бы до слез огорчен, если столь драгоценная вещь попала бы в руки дурнушки. И ты возвращаешься в лавку, но очень медлительным шагом. Ты обставляешь свое возвращение так, будто гуляешь без всякого дела. Ты презрительно кривишься. Взвешиваешь браслет на ладони. Браслеты не очень-то ценятся, если в них тяжести нет. И серебро тут почти не блестит. Ты уже и не знаешь, покупать ли тебе эту жалкую безделушку или купить ту чудесную яркую ткань, что в лавке соседней ты приметил. Но однако, выставя себя гордецом, постарайся не переборщить, ибо если торговец откажется тебе что-нибудь все же продать, он допустит, чтоб ты удалился. И тебе придется краснеть, путаясь в объяснениях, а их еще надо придумать, чтобы предлог был снова в лавку зайти.

И конечно же, тот, кто ничего не знает о людях, решит, что пред ним исполняется танец скупости, тогда как танцуется танец любви, и, слушая все эти речи про осла и про овощи, и все философствования насчет золота и серебра, насчет тяжести и чеканки, и видя, как долгими обходными маневрами ты все больше оттягиваешь свое возвращение домой, он сочтет, что о доме своем ты забыл и очень далек сейчас от него, тогда как именно в эти минуты по-настоящему ты и живешь в своем доме. Ибо нет расставания ни с любовью, ни с домом, если ты совершаешь обряды любви или домашнего очага. Твое отсутствие не отделяет тебя, но связывает, не урезает тебя, но совмещает и воедино сливает. И можешь ли ты мне сказать, где проходит та грань, за которой разлука будет разрывом? Если обряд исполнен глубокого смысла, если ты видишь в нем божество, в котором сливаются ваши судьбы, божество живое и пламенное, — кто сможет тогда разлучить тебя с очагом твоим или с другом? Я знал сыновей, которые мне говорили: «Отец мой умер, не достроив левое крыло своего дома. Я достраиваю его. Он умер, не успев посадить деревья. Я их сажаю. Отец мой умер и мне завещал продолжать его дело. Я продолжаю его. И верность хранить его государю. Я эту верность храню». И в этих домах не почувствовал я, что отца нет в живых.

Если у тебя с твоим другом есть общие корни, если ищешь

ты их не в себе и не в нем, а вне вас, если для вас обоих, сквозь разноречивую и сумятицу окружающих вас повседневных дел и забот, мерцает божественный узел, связующий вещи, тогда ни пространство, ни время не могут вас разлучить, ибо те божества, на которых держится ваше единство, смеются над стенами и морями.

Я знал одного старика садовника, который рассказывал мне про своего друга. До того как их жизнь разлучила, они долгие годы жили как братья, вместе пили вечером чай, отмечали вместе все праздники и заходили часто друг к другу, чтобы совета спросить или сбросить бремя с души, другу поведавая заветные мысли. И конечно, им мало что было друг другу сказать, и чаще всего их видели просто идущими рядом друг с другом, когда, завершив дневные работы, они без единого слова созерцали цветы, и сады, и деревья, и небо. Но если кто-либо из них, потрогав листок, качал головою, то и другой в свой черед наклонялся к листку и, увидев след гусениц, тоже качал головой. И раскрывшиеся цветы равно радовали обоих.

И случилось, что некий купец одного из них нанял на пару-другую недель сопровождать караван. Но грабители караванов, а там и другие превратности жизни — войны князей, и бури, и кораблекрушения, и банкротства, и смерти, и, ради хлеба насущного, занятия своим ремеслом — долгие годы мотали его, как волны упавший в море бочонок, и уносили его от одного сада к другому, все дальше и дальше, к самому краю земли.

И вот мой садовник, успевший тихо состариться, вдруг получает от друга письмо. Одному только Богу известно, сколько лет оно кочевало. Одному только Богу известно, сколько всадников, и дилижансов, и караванов, и кораблей поочередно его передавали друг другу, с упрямством бессчетных, одна за другой набегающих на берег волн, чтоб наконец принести его к этому саду. И в чудесное утро, сияя от счастья и желая счастьем своим поделиться, он попросил меня, как просят стихи прочитать, прочитать ему это письмо. И жадно ловил на лице у меня порожденные чтением чувства. И в письме, конечно же, было всего только несколько слов, поскольку оба садовника куда более ловко обращаться умели с лопатой, чем с орудиями письма. Там была одна только фраза: «Нынче утром я подрезал кусты моих роз...», и я ее прочитал, и, размышляя о самом существенном, что в ней заключалось и что, на мой взгляд, невозможно выразить в слове, я покачал головой, как это некогда делали два наших друга.

И садовник не ведал отныне покоя. Он без конца всех расспрашивал о географии, о мореплавании, о почте, о караванах, о войнах князей. И три года спустя выдался день, когда я был должен посольство отправить к другому краю земли. И я



позвал садовника и сказал ему: «Ты можешь теперь своему другу письмо написать». И моим деревьям в саду, и овощам в огороде в эти дни приходилось туго, а у гусениц был неожиданный праздник, ибо садовник дома сидел, и писал, и зачеркивал, и начинал все сначала; он, с высунутым языком, как ученик над уроками, корпел над этой тяжелой работой, ибо знал, что должен сказать нечто важное очень и неотложное, и в письме сполна себя выразить, и перед другом предстать целиком, со своей единственной истиной. Он был должен построить над пропастью мост и сквозь пространство и время соединиться с другой частью себя самого. Он должен был выразить свою любовь. И вот он явился ко мне, и, от смущения красный, протянул мне ответ, надеясь на лице моем уловить отражение той радости, какой предстояло озарить адресата письма, и надеясь тем самым проверить на мне всемогущество своих откровений. И я (ибо действительно в мире ничего не могло быть важнее, чем эта важная весть, потому что в ней раскрывалась сущность того, в чем всегда состоял обмен его с другом; так полуслепые старухи, глаз своих не жалея, гнутая над вышиванием, украшая Бога цветами), и я прочел то, что он другу в письме поверял,—нацарапанную старательным и неумелым почерком и убежденную, как молитва, но составленную из самых обыденных слов скромную фразу: «Нынче утром я тоже подрезал кусты моих роз...» И я замолчал, размышляя о самом существенном, что уже начинало ясней проступать предо мной, ибо тебя они славили, Господи, воспаряя над своими кустами роз, и, сами не зная того, сочетались друг с другом в тебе.

О себе я молить буду, Господи, ибо как мог я старался вразумить мой народ. Потому что я получил от тебя слишком много работы, и не в силах сочетаться был с каждым, кого я мог полюбить, и был вынужден отказать себе в том прекрасном общении, которое только одно дает человеку сердечную радость, ибо сладостно возвращение здесь, на земле, а не в пределах иных, и сладостен звук голосов человеческих, и сладостно слышать наивные жалобы женщины, думающей, что она оплакивает потерянную драгоценность, тогда как оплакивает она уже смерть, которая отделяет нас от всех драгоценностей мира. Но ты осудил меня на молчание, чтобы за ветром слов я услышал их смысл, поскольку удел мой—склоняться над тревогой людей, от которой хочу исцелить их.

.....

## КОММЕНТАРИИ

### Из книги «Смысл жизни» (1956)

Этот сборник, составленный К. Рейналем (название «Un sens à la vie», взятое из заголовка одной из статей, нужно понимать как «смысл, который следует придать жизни»), явился первым книжным изданием публицистики Сент-Экзюпери. В него вошли как довоенные статьи писателя, так и его выступления военных лет; последние помещены во втором разделе настоящего издания («Военные записки»). Публицистика Сент-Экзюпери конца 30-х гг. тесно примыкает к его книге «Планета людей» (1939) и разделяет ее сильные и слабые стороны, особенно в статьях о войне и мире. Писатель крайне обеспокоен надвигающейся мировой катастрофой, сознает бессилие либерально-пацифистской идеологии, но колеблется в определении своей собственной позиции перед лицом военной угрозы. Он отмечает, что в военной обстановке проявляются лучшие качества человека: чувство солидарности, готовность к самопожертвованию ради идеала,—однако судит он об этих качествах отвлеченно, вне связи с конкретно-историческим смыслом военного противоборства. Отсюда—известный политический релятивизм Сент-Экзюпери: так, говоря о гражданской войне в Испании, он готов признать морально равноправными «истину анархистов» и «истину» франкистов (показательно, что из этого сопоставления исключены коммунисты: их идеология, основанная на социально-историческом понимании действительности, не поддается абстрактно-моралистическому толкованию). В целом статьи интересны как первые подступы писателя к проблеме войны; вскоре ему предстояло вплотную столкнуться с этой проблемой и с необходимостью занять более определенную позицию в ее решении.

### Пилот и стихи

Дополнительная глава для книги «Планета людей» (первое издание вышло в феврале 1939 г.), включенная в английский ее перевод (вышел в США в июне того же года под заглавием «Wind, Sand and Stars» — «Ветер, песок и звезды»). На французском языке впервые была опубликована 16 августа 1939 г. в газете «Марианна».

20 *Рассказывая о тайфуне, Конрад...*— Имеется в виду роман английского писателя Джозефа Конрада «Тайфун» (1903).

27 *...при бомбежке Шанхая?*— Речь идет о японо-китайской войне, которая была развязана Японией в 1937 г.

## Предисловие к книге Энн Морроу-Линдберг «Поднимается ветер»

Напечатано во французском издании книги, вышедшем в свет в августе 1939 г. Энн Морроу-Линдберг (р. 1906)—американская писательница, жена знаменитого летчика Чарлза Линдберга и его помощница в нескольких перелетах.

- 28 *Поленьев гулкий стук о камни мостовой...*—строка из стихотворения Ш. Бодлера «Осенняя песнь».
- 32 *Энн Линдберг, не помышляя о том, воскрешает Ифигению.*—По греческому мифу, ахейский флот, направлявшийся на осаду Трои, был задержан в пути безветрием. Чтобы умиловить богов, вызвавших это препятствие, ахейцы были вынуждены принести в жертву дочь своего предводителя Агамемнона—Ифигению.

## Предисловие к номеру журнала «Документ», посвященному летчикам-испытателям

Напечатано в этом номере журнала 1 августа 1939 г.

- 32 *Конти Жан Мари*—французский авиатор, готовивший для журнала материалы о летчиках-испытателях.
- 33 *Купе, Лан, Детруайя*—французские летчики-испытатели.

## Кто ты, солдат?

Статья была напечатана в газете «Пари-суар» 2 октября 1938 г. Вместе с двумя следующими статьями она составляет небольшой цикл под общим заголовком «Мир или война?».

- 33 *Мы сделали выбор: спасти Мир. Но, спасая мир, мы отдали на растерзание друзей.*—29—30 сентября 1938 г. в Мюнхене было заключено соглашение между правительствами Англии, Франции, Германии и Италии (без участия представителей Чехословакии, с которой Франция была связана союзным договором), по которому от Чехословакии отторгалась в пользу Германии пограничная Судетская область, а некоторые другие территории—в пользу Польши и Венгрии. Расчленение чехословацкого государства предопределило его полную ликвидацию в марте 1939 г. Правительственная пропаганда в Англии и Франции представляла Мюнхенское соглашение как средство «спасти мир» и разрешить кризис в германо-чехословацких отношениях. Фактической же его целью было «умиротворить» гитлеровскую Германию и направить ее агрессию на восток, против Советского Союза.
- 34 *Когда физик обнаруживает... он меняет язык и отказывается от идеи эфира.*—В физике долгое время бытовала гипотеза об эфире—неподвижной светопроводящей среде, наполняющей мировое пространство. Эта гипотеза была отвергнута наукой, после того как

американский физик А. Майкельсон в 1881 г. опытным путем доказал, что свет распространяется по отношению к Земле с одинаковой скоростью во всех направлениях, независимо от движения самой Земли,—так, словно планета увлекает «неподвижную» среду за собой.

### Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов

Статья опубликована в «Пари-суар» 3 октября 1938 г. В основе ее—воспоминания об одной из двух журналистских поездок Сент-Экзюпери на фронт гражданской войны в Испании в 1936 и 1937 гг.

40 *Мы шествуем к грозовому Синаю.*—По библейской легенде (Исход, гл. XXIV), на вершине горы Синай, покрытой огненным облаком, Моисею явился бог.

42 *Шезри*—поселок в департаменте Эн, на востоке Франции.

### Надо придать смысл человеческой жизни

Статья напечатана в «Пари-суар» 4 октября 1938 г. Ее текст позднее был в значительной части использован в книге «Планета людей».

45 *Рифская война*—колониальная война Франции и Испании в Марокко в 1921—1926 гг. против независимой республики, созданной племенами горной области Риф; закончилась разгромом Рифской республики.

*Мермоз Жан* (1901—1936)—знаменитый французский летчик. Работая в авиакомпании «Аэропосталь», первым проложил почтовые авиалинии над Андами и через Атлантический океан между Францией и Южной Америкой. Пропал без вести во время одного из полетов.

46 *Юби (Джуби)*—мыс на западном побережье Африки, на юге Марокко. В 1927—1929 гг. Сент-Экзюпери работал начальником расположенного там промежуточного аэродрома на почтовой авиалинии.

47 *...куртелиновского мелкого буржуа...*—Имеются в виду персонажи сатирических произведений французского писателя Жоржа Куртелина (1858—1929).

48 *...мистику пангерманизма или Римской империи.*—Имеются в виду шовинистические лозунги «великой Германии» и «возрождения Римской империи», провозглашавшиеся официальной фашистской пропагандой в Германии и Италии.

## Из книги «Военные записки. 1939—1944» (1982)

В этой книге, составленной Л. Эвваром, собраны различные материалы, освещающие жизнь и творчество Сент-Экзюпери в 1939—1944 гг.: статьи и выступления самого писателя, некоторые из его писем и черновых заметок, а также ряд мемуарных свидетельств и других документов, относящихся к указанному периоду. Из них складывается картина сложной идейной эволюции Сент-Экзюпери в годы второй мировой войны: здесь и его постоянное горячее стремление участвовать в антифашистской борьбе, и его поиски новых гуманистических идеалов, способных противостоять бесчеловечности фашизма и преодолеть слабости буржуазной демократии, наконец, его попытки самоопределения в сложной политической обстановке во Франции и за ее пределами—попытки нелегкие, чреватые иллюзиями и заблуждениями, выливавшиеся иногда в трагические конфликты писателя с его союзниками по патриотической борьбе за восстановление независимой Франции.

При публикации писем Сент-Экзюпери во французском издании опущены имена многих адресатов—как правило, по желанию самих этих лиц. По тем же соображениям в тексте писем публикаторами сделан ряд купюр; в настоящем издании они обозначены отточием в скобках. При комментировании данного раздела частично использованы примечания Л. Эввара в книге «Военные записки».

### Пангерманизм и его пропаганда

4 сентября 1939 г., с началом второй мировой войны, Сент-Экзюпери был мобилизован и назначен инструктором в центр подготовки военных пилотов в Тулузе. 16 сентября он приезжал в Париж по приглашению Жана Жироду (1882—1944)—известного писателя, который незадолго до войны был назначен генеральным комиссаром по информации и предлагал Сент-Экзюпери службу в его ведомстве. В этот день, очевидно, и было записано на пленку данное выступление.

### Письма разным лицам

- 53 *Шансор Норбер* (1893—1955)—французский авиатор, в 1939 г. возглавлял управление авиационной промышленности в министерстве авиации.

*Боже милостивый, чего мы ждем!*—Англия и Франция вплоть до мая 1940 г. не вели активных боевых действий против Германии на западном фронте (т. н. «странная война»), по-прежнему надеясь повернуть гитлеровскую агрессию против СССР.

*Дофа Дидье* (1891—1969)—французский авиатор, в 20-х гг. был директором по эксплуатации в компании «Аэропосталь», где и познакомился с Сент-Экзюпери; считается прототипом Ривьера в его повести «Ночной полет» (1931). В начале войны он предлагал Сент-Экзюпери назначить его в авиагруппу связи для перевозки высокопоставленных лиц. Сент-Экзюпери это предложение отклонил.

- 54 *Лафайет*—здесь, очевидно, условное обозначение какого-то лица, известного самому Сент-Экзюпери и адресату письма. Прибегая к

такому шифру, писатель, видимо, учитывал возможность вмешательства военной цензуры.

*Орконт, середина декабря.*—3 декабря 1939 г. Сент-Экзюпери наконец добился назначения в боевую авиачасть, но—из-за возраста и состояния здоровья—не в истребительную, а в разведывательную—в группу 2/33 дальней разведки, базировавшуюся в те дни в городке Орконт (департамент Марна).

- 55 *Декарт*—очевидно, опять условное обозначение какого-то лица (см. коммент. к с. 54).

*Кессель Жозеф* (1898—1979)—французский писатель и журналист; в первую мировую войну был военным летчиком. В декабре 1939 г. он посетил авиагруппу 2/33 в качестве военного корреспондента.

*...вспоминаю свою аварию в Ливии...*—Речь идет о неудачной попытке перелета из Парижа в Индокитай в январе 1936 г., описанной в книге «Планета людей».

*Верт Леон* (1879—1955)—французский писатель и художественный критик, друг Сент-Экзюпери; ему посвящен «Маленький принц» (1942).

- 56 *Сюзанна*—жена Л. Верта.

- 57 *Консуэло*—жена Сент-Экзюпери, по происхождению аргентинка.

*Всякий раз, открывая «Марианну»...*—В газете «Марианна» сотрудничал в это время Л. Верт.

- 58 *Пьер*—Пьер д'Аге, муж сестры А. де Сент-Экзюпери.

*Диди*—сестра писателя Габриель.

- 59 *Мне пришлось пойти во «фронтовой театр».*—Имеются в виду представления артистов в действующей армии.

*Мильтон Жорж* (наст. имя Жорж Дезире Мишо, 1888—?)—французский эстрадный певец.

- 64 *Я не желаю выступать по радио...*—В октябре 1939 г. Сент-Экзюпери выступал по просьбе Ж. Жироду по французскому радио (см. «Пангерманизм и его пропаганда»). По-видимому, подобные приглашения он получал и в последующие месяцы.

*Фернандес Рамон* (1894—1944)—французский писатель, критик и публицист; был членом профашистской «французской народной партии».

Дак Пьер—французский писатель-юморист и артист-комик.

- 65 *Даладье Эдуард* (1884—1970)—французский политический деятель, в 1938—1940 гг. премьер-министр; подписал в 1938 г. Мюнхенское соглашение и в дальнейшем продолжал политику «умиротворения» гитлеровской Германии.

...убожество Жироду и его дозированности.—Очевидно, имеются в виду радиовыступления Ж. Жироду в первые месяцы войны, когда он стоял во главе французского пропагандистского ведомства. В этих выступлениях защита гуманистических идеалов и принципов буржуазной демократии сочеталась с неубедительным казенным оптимизмом, а иногда и с прямыми уступками нацистской идеологии.

...идею расы и единства!—Имеется в виду идеология нацизма с ее культом «высшей расы».

### Мораль необходимости

Этот текст (название дано публикаторами) был вчерне набросан писателем в конце 1939 или начале 1940 г. и при его жизни остался неопубликованным.

- 65 *Радио-Штутгарт*.—В городе Штутгарте находилась немецкая радиостанция, которая вела пропагандистские передачи на Францию.

- 67 ...получаю все посылки.—Французские военнопленные могли получать посылки от родственников через посредство Международного Красного Креста.

- 71 ...необыкновенную книгу Раушнингга.—Раушнинг Герман (1887—?)—немецкий политический деятель. В первой половине 30-х гг., будучи членом национал-социалистической партии, возглавлял сенат Данцига (по Версальскому договору объявленного «вольным городом»), неоднократно встречался с правителями гитлеровского рейха. В 1936 г. Раушнинг порвал с нацизмом, эмигрировал и в последующие годы выпустил несколько книг, разоблачавших политику Гитлера. Сент-Экзюпери, вероятно, имеет в виду его книгу «Гитлер говорил мне», вышедшую во Франции в декабре 1939 г.

Гамелен Морис Гюстав (1872—1958)—французский генерал, во время второй мировой войны до 20 мая 1940 г. главнокомандующий сухопутными союзными войсками во Франции.

- 74 *Бийанкур*—промышленное предместье Парижа.

Образ старца-кайда...—Каид—племенной вождь у североафриканских народов. Очевидно, имеется в виду замысел книги «Цитадель», первоначально называвшейся «Каид», «Берберский вождь».

...общество свободных земледельцев по соседству с империей кузнецов.—Сент-Экзюпери не раз (например, в книге «Военный летчик») сопоставлял Францию и Германию как аграрную и промышленную

страны, видя в этом неравенство их стратегических сил и причину поражения Франции в кампании 1940 г.

- 75 *Бертло Пьер Эжен Марселен* (1827—1907)—французский химик; Сент-Экзюпери упоминает его как одного из наиболее авторитетных представителей науки XIX столетия.

*В нем обитают Вотели.*—Вотель (наст. имя Клеман Воле, 1876—1954)—французский писатель, был известен своей публицистикой, в которой он отстаивал точку зрения «среднего француза», «здорового смысла».

- 76 *Император Византии, взяв двадцать тысяч пленных, повелел всем им выколоть глаза.*—Так поступил в 1014 г. византийский император Василий II после победы над болгарами (в исторической литературе фигурирует цифра 15 тысяч пленных).

*Произошел великий исход безработных на Запад, в Калифорнию.*—Эта миграция происходила в начале 30-х гг., в пору экономической депрессии в США. В оригинале у Сент-Экзюпери, очевидно, описка: «на Восток».

- 77 *Серенада Тозелли*—пьеса итальянского композитора Э. Тозелли «Серенада» (1900).

*«Манон»* (1884)—опера французского композитора Ж. Массне на сюжет романа А. Ф. Прево «Манон Леско».

*Бразийак... ставил мне в вину бесцельность самопожертвования моих героев.*—Робер Бразийак (1909—1945)—французский писатель крайне правой ориентации; после освобождения Франции от оккупации он был по приговору суда казнен как активный коллаборационист. Здесь имеется в виду его рецензия на книгу Сент-Экзюпери «Планета людей», напечатанная 13 марта 1939 г. в газете «Аксьон франсез».

- 79 *...следуют за ним...*—Имеется в виду Гитлер.

*«Не делай ближнему...»*—«...то, чего не хочешь себе» (перефразированное евангельское изречение).

### Письма разным лицам

- 81 *Статья Поллеса...*—В этой статье (место публикации не установлено; автор—по-видимому, писатель и публицист Анри Поллес, р. 1909) Сент-Экзюпери был подвергнут оскорбительной критике за то, что он как писатель якобы спекулирует на своей репутации героя-авиатора. 31 января 1940 г. Л. Верт выступил в газете «Марианна» с опровержением этой статьи.

*Корню Андре* (1892—?)—редактор «Марианны».

*...из-за наступления (?) на Бельгию.*—В действительности военные действия на территории Бельгии начались только несколько месяцев спустя, в мае 1940 г.



- 82 *Отель де Лан.*—Лан—город в департаменте Эна, на севере Франции, куда в январе 1940 г. перебазировалась авиагруппа 2/33.

*Ольвек Фернан* (1890—1941)—французский ученый-физик, знакомый Сент-Экзюпери. 14 января 1940 г. Ольвек побывал в авиачасти, где служил писатель, и беседовал с ним о проблемах работы авиационной техники в условиях больших высот и низких температур.

*«Простодушная, она плакала... со всеми драгоценностями»*—цитата из первой редакции книги «Цитадель».

*Я уйду к Витролю.*—Известный летчик полковник Витроль осенью 1939 г. уже помог Сент-Экзюпери добиться перевода в боевую авиачасть. Вплоть до марта 1940 г. писателю, однако, приходилось совершать лишь тренировочные полеты. Здесь он, очевидно, высказывает намерение добиваться перевода в другую, более активно действующую часть.

- 83 *Мы здесь находимся на случай военных действий, которых нет...*—См. коммент. к с. 81.

- 84 *Капитана Гийома перевели в другую часть, и командир группы сменился.*—Это решение было принято из-за конфликта между командиром авиагруппы 2/33 капитаном Шенком и одним из его подчиненных—командиром эскадрильи капитаном Гийомом. Новым командиром группы стал (6 февраля 1940 г.) майор Анри Алиас.

*...пить с вами перно на берегу Соны...*—Об этой встрече с Л. Вертом во Флервиле весной 1939 г. Сент-Экзюпери вспоминает в «Письме заложнику» (см. с. 120—121 наст. изд.).

*Деланж Рене*—журналист, редактор газеты «Энтранзижан».

*Кам* (Камилла?)—по-видимому, жена Деланжа.

*...я не видел собор.*—Имеется в виду знаменитый готический собор в Реймсе (XIII в.).

### Запись в Книге почета эскадрильи

Эта прощальная запись сделана Сент-Экзюпери в связи с намечавшимся его отзывом из действующей армии для участия в научно-технических разработках в тылу. В итоге перевод не состоялся—видимо, по просьбе самого писателя, не желавшего уходить на тыловую службу. 19 марта 1940 г., пройдя трехнедельную переподготовку на новом разведывательном самолете, Сент-Экзюпери вернулся в часть и приступил наконец к боевым полетам.

- 85 *...старой южноамериканской авиалинии.*—Имеется в виду почтовая линия Франция—Южная Америка, созданная компанией «Аэропосталь» в 20-х гг. (см. ранние повести Сент-Экзюпери—«Южный почтовый» и «Ночной полет»).

## Письмо Леону Верту

На рисунке, сопровождающем это письмо (как и в приведенных выше письмах 1939 г.), Сент-Экзюпери в условной форме изобразил свои разведывательные полеты. Надпись на облачке «Bloch 174» означает марку самолета-разведчика, в марте 1940 г. поступившего на вооружение группы 2/33; черт, скрывающийся за другим облаком, — немецкий истребитель.

- 85 *...фронт у Суасона...*—Смысл этих слов неясен: в апреле 1940 г. немцы еще не вторглись в пределы Франции, и город Суасон (в департаменте Эна) находился далеко от линии фронта.

## Письма матери

- 86 *Орконт, апрель 1940 г.*— В январе—апреле 1940 г. авиагруппу 2/33 несколько раз перебрасывали с аэродрома в Орконт в Лан и обратно.

*Если она вдруг решит укрыться на юге...*—Мать и сестра писателя жили в городе Аге (Прованс).

*Мне не по себе от постоянной итальянской угрозы...*—Юго-востоку Франции грозило вторжение союзных Германии итальянских войск; правительство Муссолини, однако, медлило со вступлением в войну против Франции и сделало это только 10 июня 1940 г., когда французская армия уже потерпела поражение от германского вермахта.

- 87 *...книга пока не отстоялась во мне.*—Имеется в виду «Цитадель».

## Запись в Книге почета авиагруппы 1/3

Истребительная авиагруппа 1/3 взаимодействовала с разведчиками из группы 2/33.

- 87 *Елена Прекрасная*—персонаж греческих мифов о Троянской войне.

*Верцингеториг (72—45 или 46 до н. э.)*—вождь древних галлов, боровшихся против римских завоевателей.

## Обращение к американцам

Дата написания этого текста (при жизни писателя не публиковавшегося) точно не установлена; он мог быть написан и в 1940 и в 1941 г.—до вступления США во вторую мировую войну. В сборнике «Военные записки» он помещен перед текстами, относящимися к майской кампании 1940 г. В нем содержится характерная для Сент-Экзюпери (ср., например, книгу «Военный летчик») мысль о том, что только помощь со стороны Соединенных Штатов может спасти Францию от неминуемого разгрома в войне с превосходящими силами Германии. Показательно, однако, что 23 мая 1940 г. писатель отклонил предложе-

ние тогдашнего премьер-министра П. Рейно срочно отправиться в Америку для мобилизации общественного мнения США в поддержку Франции. Он не хотел оставлять своих боевых товарищей в критический момент гитлеровского вторжения во Францию, а также, видимо, уже не верил в способность правительства Рейно организовать, даже с иностранной помощью, действенный отпор врагу.

87 *...когда немцы просили о куске хлеба...*— Имеется в виду период начала 20-х гг., когда Германия, разоренная первой мировой войной и наложенными на нее репарациями, переживала экономическую разруху и голод.

88 *...когда немцы милитаризовали Рейнскую зону...*— В 1936 г. немецкие войска вступили в Рейнскую область Германии, объявленную по Версальскому договору демилитаризованной зоной. Западные державы не воспротивились этой военной демонстрации гитлеровского правительства.

*Аншлюс*—аннексия гитлеровской Германией Австрии в марте 1938 г.

*...еще в Праге.*— Немецкие войска вступили в Прагу 14 марта 1939 г., через несколько месяцев после заключения Мюнхенского соглашения.

89 *...из-за ваших собственных нацистов...*— К началу второй мировой войны в США существовали влиятельные профашистские силы (их представители были в сенате, в правлении крупнейших корпораций), а также активно действовала прямая агентура гитлеровской Германии.

*...когда землетрясение разрушает Мессину, Токио или Сан-Франциско...*— Сент-Экзюпери упоминает крупнейшие стихийные бедствия, происшедшие соответственно в 1908, 1923 и 1906 гг. и вызвавшие большие жертвы и разрушения.

90 *Вы гораздо могущественней Мексики, но вы не посягаете на Мексику.*— На самом деле Соединенные Штаты неоднократно развязывали войну против Мексики и вмешивались в ее дела: в 1845—1848 гг. они аннексировали более половины тогдашней мексиканской территории, в годы мексиканской революции (1910—1917) дважды организовывали вооруженную интервенцию. Американские монополии вели в Мексике экономическую экспансию, захватывая ключевые позиции в хозяйственной жизни страны.

*Я был в Германии...*— Сент-Экзюпери бывал в гитлеровской Германии в 1937 и 1939 гг.

### Письма разным лицам

91 *Мы вылетаем в Алжир.*— 20 июня 1940 г., за два дня до капитуляции Франции, авиагруппа 2/33 получила приказ эвакуироваться в Алжир. На борту транспортного самолета, который пилотировал Сент-Экзюпери, находилось несколько десятков французских и

польских военных летчиков, которые покидали Францию, намереваясь продолжать войну за ее пределами.

- 92 *Эшторил, Португалия.*— В начале августа 1940 г., после перемирия с Германией, Сент-Экзюпери был демобилизован из армии, вернулся в южную (неоккупированную) зону Франции, прожил там некоторое время с родными, а в ноябре через Алжир уехал в Португалию. Там, в курортном городе Эшторил близ Лиссабона, он ожидал судно, чтобы отплыть на нем в Соединенные Штаты.

*...Гийоме погиб.*— Анри Гийоме, старый друг Сент-Экзюпери по почтовым авиалиниям (см. посвященную ему книгу «Планета людей»), 27 ноября 1940 г., пилотируя гражданский самолет, был сбит над Средиземным морем истребителем неизвестной принадлежности (как полагают, итальянским).

*...на линии Касабланка—Дакар...*— Имеется в виду почтовая линия в Западной Африке, которую Сент-Экзюпери обслуживал как пилот, а затем как начальник аэродрома в 1927—1929 гг.

*«Бреге-ХIV»*— марка почтового самолета 20-х гг.

*И из друзей по Южной Америке...*— В 1929—1931 гг. Сент-Экзюпери был техническим директором южноамериканских почтовых линий компании «Аэропосталь».

#### Воспоминания о некоторых книгах

31 декабря 1940 г. Сент-Экзюпери прибыл в США и поселился в Нью-Йорке. Его книги были хорошо известны американской публике, поэтому писатель пользовался вниманием журналистов. Данный текст написан для журнала «Харперс Базар», обратившегося к Сент-Экзюпери с вопросом о его любимых книгах.

- 93 *«Черная Индия»*—этот роман Ж. Верна вышел в 1877 г.

- 94 *...всего Леконта де Лиля и Эредиа.*— Шарль Леконт де Лиль (1818—1894) и Жозе Мария де Эредиа (1842—1905)— французские поэты, участники «парнасской» группы.

*Малларме Стефан* (1842—1898)— французский поэт-символист.

*«Школа равнодушных» и «Симон патетический»*—эти романы Ж. Жироу вышли соответственно в 1911 и 1918 гг.

*«Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке*— роман австрийского писателя Р. М. Рильке датируется 1910 г.

*Несколько лет назад мой самолет потерпел аварию в Гватемале.*— Это случилось в феврале 1938 г. при попытке Сент-Экзюпери совершить перелет через Северную и Южную Америку по маршруту Нью-Йорк—Огненная Земля.

- 95 *Фурьер*— холм в старой части Лиона.

## Темы «Цитадели»

Черновик, относящийся к 1941 или 1942 г. Об истории создания книги «Цитадель» см. коммент. к третьему разделу настоящего издания.

## Письма разным лицам

- 96 *Хочу закончить свою книгу.*— Имеется в виду «Цитадель».
- 97 *Пакостная газетная война...*— 30 января 1941 г. в американских газетах появилось сообщение о том, что французское коллаборационистское правительство Виши назначило Сент-Экзюпери членом созданного в Виши «национального совета». Чувствуя себя скомпрометированным, писатель на следующий день заявил в американской печати и по радио, что впервые узнал о назначении из газет и «отклонил бы его, если бы моего согласия спросили». Этот случай дал, однако, недругам Сент-Экзюпери повод обвинять его в сотрудничестве с вишійским правительством (см. с. 152—153 наст. изд.).
- Галантьер Льюис (1893 или 1895—1977)*—американский литератор, переводчик на английский язык книг Сент-Экзюпери.
- ...с температурой 104—105!*—Имеется в виду принятая в США шкала Фаренгейта (по шкале Цельсия—около 40°).
- 99 *...на 21 этаже...*—В Нью-Йорке Сент-Экзюпери жил на 21-м этаже дома в районе Централ-парк.
- Буду думать о книге.*—Речь идет, судя по всему, о «Военном летчике».

## Послание молодым американцам

С этой речью писатель выступил 7 декабря 1941 г. (в день нападения японской авиации на Пёрл-Харбор и вступления США в войну) перед членами одной из студенческих организаций Нью-Йорка. Речь была напечатана в мае 1942 г. в одном из американских журналов.

- 99 *Томпсон Дороти (1893—1961)*—американская журналистка, в годы второй мировой войны вела активную антифашистскую пропаганду.

## Письма разным лицам

- 103 *Трапписты*—католический монашеский орден.

*...в том обществе последователей Корана, которое вы пытаетесь нам навязать...*—«Коран» для Сент-Экзюпери в годы войны—постоянная метафора тоталитаризма, подавляющего свободу личности ради мертвого, антигуманного государства. Отвергая тоталитарную идеологию фашизма, писатель в то же время усматривал сходную тенденцию и у сторонников Ш. де Голля, неприязненные

отношения с которыми у него сложились уже в Америке; одно из свидетельств этой взаимной неприязни — данное письмо.

- 104 *Что это там за история с датой?*— Имеется в виду срок представления в издательство новой книги Сент-Экзюпери «Военный летчик». Л. Галантьер от имени издателей торопил писателя с окончанием книги.

- 105 *«Рассуждение о методе»* (1637)— трактат Р. Декарта, в популярной форме излагающий основы его философии.

*«Wind, Sand and Stars»*.— См. примечание к тексту «Пилот и стихии» (с. 244).

- 106 *Бронетранспортеры на странице 166...*— Речь идет о книге «Военный летчик». Л. Галантьер, работая над ее английским переводом, очевидно, предлагал писателю некоторые поправки.

- 108 *Рейхич*— то есть Рейналь и Хичкок, владельцы издательства, выпускавшего книги Сент-Экзюпери в США.

*Ламонт Бернар*— американский художник, иллюстрировавший издания «Планеты людей» и «Военного летчика» на английском языке.

*Книжка моя вот-вот выйдет.*— «Военный летчик» вышел впервые в английском переводе 20 февраля 1942 г. под названием «Flight to Arras» («Полет к Аррасу»).

*...ню-йоркские поддельные французы.*— Имеются в виду французские эмигранты-голлисты, которые действительно резко отрицательно встретили книгу, увидев в ней «пораженчество» и утверждение «общей вины» французов в военной катастрофе 1940 г.

### Франция прежде всего

Статья впервые опубликована (на английском языке и с некоторыми изменениями по сравнению с оригинальным текстом) 29 ноября 1942 г. в журнале «Нью-Йорк таймс мэгэзин» под названием «Французам, где бы они ни находились»; на следующий день она была напечатана на французском языке в газете «Канада» (Монреаль).

- 109 *Немецкая ночь заволокла всю нашу землю.*— 8 ноября 1942 г. англо-американские войска высадились в Марокко и Алжире. 200-тысячная французская армия, размещенная там и имевшая приказ правительства Виши не допускать высадки союзников, после непродолжительного сопротивления прекратила огонь, а затем перешла на их сторону. В ответ на это, чтобы предупредить подобный поворот дел в случае высадки в южной зоне Франции, немецкая армия вступила в эту зону, оккупировав тем самым всю территорию страны. Существовавшая до тех пор французская «армия перемирия» была распущена, французские моряки в Тулоне затопили свои корабли, чтобы они не достались немцам. В

результате изменилась не только военно-стратегическая, но и политическая обстановка: с одной стороны, коллаборационистское правительство Виши, лишившись вооруженных сил и оказавшись в зоне немецкой оккупации, окончательно утратило всякую видимость самостоятельности, с другой стороны, в Северной Африке, на территории французской колониальной империи, возникли условия для восстановления независимой французской государственности. Обе эти проблемы: политический крах вишизма и вопрос о новой власти, создаваемой в Северной Африке,—и рассматриваются в статье Сент-Экзюпери.

*Мы не представители Франции. Мы можем только служить ей.*—Писатель полемизирует с голлистами, отвергая их намерение создать временное правительство Франции за ее пределами. По его мнению, право на это имеет только французский народ, в данный момент живущий «заложником» у немецких оккупантов (ср. «Письмо заложнику»).

- 110 *Комиссия по перемирию*—немецко-французский орган, созданный в конце июня 1940 г. в городе Висбадене (Германия) для выполнения условий перемирия между двумя странами.

*...когда дорвавшийся до власти Лаваль выдал нацистам еврейских беженцев.*—Пьер Лаваль (1883—1945), в апреле 1942 г. назначенный (после более чем годичной опалы) премьер-министром в правительстве Виши, в июле осуществил ряд расистских мер, в частности было принято решение об аресте и выдаче немецким властям находившихся во Франции евреев иностранного происхождения. Большинство этих людей было затем уничтожено в гитлеровских лагерях смерти.

- 111 *Многие из нас беспокоятся о том, чтобы нас возглавил именно тот вождь, а не иной.*—В момент написания статьи Сент-Экзюпери имел в виду двух конкретных «вождей», боровшихся за власть: во-первых, генерала Шарля де Голля (1890—1970), который с 1940 г. возглавлял базировавшееся в Англии движение «Сражающаяся Франция», и, во-вторых, генерала Анри Жиро (1879—1949), который весной 1942 г. совершил нашумевший побег из немецкого плена и которого англо-американские союзники прочили на пост главы новой французской администрации в Северной Африке. Оба генерала стояли за продолжение Францией войны в составе антифашистской коалиции, но если де Голль решительно отвергал какие-либо контакты с вишистами, то Жиро, хотя сам и не был запятнан коллаборационизмом, относился к вишистским властям примирительно—сохранял в силе введенные ими законы, привлекал к сотрудничеству их чиновников. Сент-Экзюпери первоначально полагал, что именно Жиро, как деятель более «умеренный» и далекий от партийной борьбы, способен обеспечить национальное единство французов, необходимое для освобождения родины; позднее, встретившись с генералом лично, он быстро разочаровался в нем как в государственном деятеле. Что касается выдвигаемого писателем лозунга бороться за спасение Франции, «отказавшись от партийных пристрастий», то еще до публикации статьи стала очевидна его утопичность: 22 ноября американские представители,

продолжавшие политическую игру с Виши, заключили соглашение с адмиралом Франсуа Дарланом (1881—1942), признав его французским верховным комиссаром Северной Африки. Появление этой одиозной фигуры (Дарлан был одним из крупных представителей коллаборационистской администрации, более года возглавлял правительство Виши) в роли «вождя» французских патриотических сил показало иллюзорность упований Сент-Экзюпери на внеполитическое, «чисто военное» руководство этими силами.

- 112 *Хэлл Корделл* (1871—1955)—государственный секретарь США в 1933—1944 гг.

*Израэль Жан*—боевой товарищ Сент-Экзюпери по кампании 1940 г., командир эскадрильи; о его героизме говорится в «Военном летчике».

### Письмо неизвестному корреспонденту

- 113 *...когда я фотографировал с воздуха Майнц или Эссен...*—Имеются в виду разведывательные полеты Сент-Экзюпери над Германией весной 1940 г.

*...два года оскорблений и клеветы...*—Имеются в виду 1941—1942 гг., прожитые писателем в США, где он подвергался нападкам со стороны французских эмигрантов-голлистов.

### Письмо заложнику

Обращенное к Л. Верту, письмо первоначально было задумано как предисловие к одной из его книг. Впервые опубликовано частично в канадском франкоязычном журнале «Америк франсез» в марте 1943 г., полностью—отдельным изданием в июне того же года.

- 115 *Эшторил*—см. коммент. к с. 92.

- 117 *...словно некое чистилище, нес на себе груз еще не родившихся душ.*—Речь идет не о чистилище как таковом, а о лимбе—по католической теологии, области, где пребывают в ожидании Страшного суда души младенцев, умерших до крещения, и праведников, живших до пришествия Христа; не приобщившиеся при жизни к христианству, эти души считаются еще не родившимися.

- 122 *Это случилось в Испании, я там был корреспондентом в дни гражданской войны.*—Сент-Экзюпери вспоминает здесь свою первую поездку в охваченную войной Испанию летом 1936 г.

### Письма разным лицам

- 128 *И все-таки я еду...*—20 апреля 1943 г. Сент-Экзюпери с одним из американских военно-транспортных конвоев отплыл в Северную Африку, чтобы присоединиться к французской армии, возобновившей операции против немецких и итальянских войск.

*Пелисье Жорж*—врач, старый друг Сент-Экзюпери; на квартире у Ж. Пелисье он жил во время своего пребывания в Алжире.



*Уджда*—авиабаза в западном Алжире. В июне 1943 г. Сент-Экзюпери, вновь зачисленный в разведывательную авиагруппу 2/33 (она размещалась в Алжире), проходил там летную подготовку на новом американском самолете «Лайтнинг».

- 129 ...о коллизии Жиро—де Голль...—Соперничество между генералами де Голлем и Жиро (после убийства в декабре 1942 г. адмирала Дарлана) в борьбе за руководство заграничными патриотическими силами Франции привело к компромиссу: 3 июня 1943 г. в Алжире был создан Французский комитет национального освобождения (ФКНО), во главе которого стояли оба генерала. В дальнейшем де Голль постепенно оттеснил Жиро от власти.

*Северина*—экономка доктора Пелисье.

*Летний дворец*—резиденция генерала Жиро в Алжире.

### Неотправленное письмо генералу Х. (генералу Шамбу?)

Письмо это публиковалось после смерти писателя под разными названиями: «Письмо генералу Х.», «Что нужно говорить людям?». Предполагаемый его адресат—Рене Шамб (1889—?), французский летчик и писатель, автор ряда книг об авиации. В 1943 г., имея чин бригадного генерала, он был в Алжире одним из ближайших сотрудников генерала Жиро и оказывал всевозможную поддержку своему другу Сент-Экзюпери.

- 129 «П-38»—американский самолет «Лайтнинг», поступавший в те месяцы на вооружение французской армии в Алжире.

- 130 ...вроде тех вылетов в июне 1939 года, когда мы и пользы не видели, и вернуться не наделись...—Неясно, о чем здесь идет речь; скорее всего, в тексте описка и должно быть «1940 года».

*«Бугатти»*—марка спортивных автомобилей.

*Аустерлиц*—селение в Моравии, место крупной победы Наполеона (2 декабря 1805 г.) над войсками австро-русской коалиции.

*Вернейль Луи* (1893—1952)—французский драматург, автор множества развлекательных комедий.

*Система Бедо*—система учета рабочего времени, разработанная французским инженером Шарлем Бедо (1888—1944).

*Григорианский псалом*—песнопения католической церкви, отбор и канонизация которых начались в VI в., при папе Григории I.

- 131 *Солем*—старинный бенедиктинский монастырь во французском департаменте Сарта.

*Что, как не жажда, увлекло Мермоза вслед за тем его дураком полковником?*—Жан Мермоз в последние годы жизни примыкал к крайне правой националистической организации «Огненные кре-

сты», возглавлявшейся полковником Франсуа де Лароком (1885—1946).

*Картезианские ценности*—имеются в виду принципы рационалистической философии Р. Декарта (латинизированное имя Cartesius—Картезий).

...в разговоре с генералом Жиро.—Во время этой беседы, как вспоминал Р. Шамб, Сент-Экзюпери рассказывал генералу о своих столкновениях с нью-йоркскими голлистами и предостерегал его от сотрудничества с де Голлем. Жиро с недоверием отнесся к этим советам.

- 132 ...я повредил кисть правой руки...—Имеется в виду один из старых переломов, полученных в авиационных авариях.

*Иностранный легион*—наемные колониальные войска Франции.

- 133 «Принцесса Клевская» (1678)—психологический роман г-жи де Лафайет.

...целые поколения французских детей будут брошены в чрево немецкого Молоха.—Молох—в библейской мифологии божество, для умиловления которого сжигали маленьких детей.

#### Письма разным лицам

- 134 Я получил «Военного летчика»; благодарю вас, что выслали мне мой единственный экземпляр.—Характерный факт, свидетельствующий о степени взаимного непонимания и враждебности между Сент-Экзюпери и голлистами: книга «Военный летчик», изданная в США и в оккупированной Франции (запрещенная немецкими властями, она переиздавалась там нелегально), была запрещена также и администрацией де Голля и не распространялась в свободной от фашистов Северной Африке. В распоряжении писателя имелся только один экземпляр, вывезенный им из Америки.

- 135 Гарбо Грета (р. 1905)—американская киноактриса.

«Паккард»—американская марка автомобилей.

- 136 «Обогащайтесь!» Гизо...—Франсуа Гизо (1787—1874)—один из политических лидеров Июльской монархии во Франции—обратился с таким призывом к французской буржуазии. Изначальный смысл слов Гизо, относившихся к вопросу об имущественном цензе для избирателей («Обогащайтесь, и вы докажете свою способность управлять государством»), в дальнейшем забылся, и в расхожем употреблении они стали означать призыв к циничной и безудержной погоне за прибылью.

*Бернштейн Анри* (1876—1953)—французский драматург, апологет буржуазного благополучия.

...ваша книжка...—Какая из книг Р. Шамба имеется в виду, определить трудно.

Луи Филипп (1773—1850)—французский король в 1830—1848 гг. Его правление—время утверждения во Франции политического и идеологического господства буржуазии.

Гувер Герберт Кларк (1874—1964)—президент США в 1929—1933 гг., пришедший к власти на исходе периода экономического «процветания» Соединенных Штатов (20-е гг.).

*Если женщины, сдающие напрокат стулья в соборе, подверглись нападению варваров...*—Ср. в «Письме заложнику», V: «Прислужница в храме, чересчур озабоченная сбором платы за стулья, рискует позабыть, что она служит богу». «Собор» для Сент-Экзюпери служил символом Коллектива, человеческой общности, скрепленной узами нравственных отношений и устремленной к высшей цели; наиболее же губительный вариант пренебрежения этими узами писатель видел в фашизме (см. «Военный летчик»). Смысл приведенных слов, таким образом, следующий: французы, предавшись мелким, сиюминутным интересам, забыли о глубинных духовных основах своей цивилизации («собор») и оказались морально безоружными перед лицом фашистских «варваров».

- 137 Августин Аврелий (354—430)—церковный деятель, один из основателей христианской теологии.

Монтобан—городок в Бретани (департамент Иль и Вилен).

*...к идиотским церемиям против политики Леона Блюма?*—Леон Блюм (1872—1950)—лидер Французской социалистической партии, в 1936—1938 гг. дважды возглавлял правительство Народного фронта. Непоследовательная политика, проводившаяся им перед лицом нараставшей агрессивности со стороны фашистской Германии, навлекла на него острую критику со стороны разных—как левых, так и правых—политических сил; правительство Виши в 1942 г. отдало его под суд, объявив одним из ответственных за поражение Франции в 1940 г. Отмежевываясь от этой пропагандистской акции вишистских властей, Сент-Экзюпери одновременно косвенно спорит со своими противниками-голлистами, отождествлявшими его книгу «Военный летчик» с вишистской пропагандой.

*...неделю назад, когда я возвращался, на хвосте у меня повисли вражеские истребители, а четыре дня назад над Анси у меня отказал один из двигателей!*—Как видно из перечня боевых вылетов Сент-Экзюпери (см. с. 180—181 наст. изд.), речь здесь идет о заданиях, выполненных им 23 и 29 июня 1944 г., то есть данное письмо написано 3 июля 1944 г. и во французском издании «Военных записок» датировано с ошибкой на год.

- 138 Серр—в 30-е гг. технический директор в авиакомпании «Эр-Франс», в которую влилась в 1933 г. компания «Аэропосталь».

*...и совсем еще недавно—на борту «Лайтнинг» II-38.*—Летом 1943 г. Сент-Экзюпери совершил всего два разведывательных вылета. 1 августа, возвращаясь с задания, он допустил незначитель-

ную аварию при посадке (самолет врезался в насаждения, ограждавшие летное поле), и 12 августа американское командование, ссылаясь на возраст писателя, отстранило его от полетов на «Лайтнинге».

...мне нечего возразить... Мермозу...—О политических настроениях Ж. Мермоза см. коммент. к с. 131.

- 139 *Лично я был против перемирия.*—Имеется в виду капитуляция Франции 22 июня 1940 г.

*Я угнал из Бордо самолет.*—Об этом эпизоде см. коммент. к с. 91.

*А я еще не беру в расчет арабскую проблему.*—Подразумевается враждебность арабского населения Северной Африки к французским колониальным властям.

*Наших офицеров в Висбадене постоянно шантажировали.*—Имеется в виду «комиссия по перемирию», работавшая в немецком городе Висбадене (см. коммент. к с. 110).

...в одной Варшаве три миллиона поляков были отправлены в газовые камеры.—Сент-Экзюпери, вероятно, имеет в виду расправу оккупантов над жителями варшавского гетто после подавления вспыхнувшего там восстания (апрель—июль 1943 г.). Приведенная им цифра сама по себе ошибочна, но в целом писатель имел все основания ужасаться геноциду (в то время его размеры были известны еще не полностью), осуществлявшемуся гитлеровцами.

- 140 *Ты можешь ненавидеть Пейрутона за все, в чем он уступил.*—Марсель Пейрутон (1887—?) в 1940—1941 гг. занимал пост министра внутренних дел в правительстве Виши; при его участии в октябре 1940 г. были приняты первые расистские законы, ограничивавшие права евреев во Франции. В дальнейшем Пейрутон примкнул к генералу Жиро, который назначил его генерал-губернатором Алжира; его отставка в июне 1943 г. явилась успехом Ш. де Голля, добивавшегося чистки французской администрации в Северной Африке от вишистских элементов.

...я бы, возможно, поставил перед собой задачу убить Пюше.—Пьер Пюше (1899—1944) также был одно время (в 1941—1942 гг.) министром внутренних дел в правительстве Виши и нес ответственность за многие репрессии. Так же как и М. Пейрутон, он стал одним из сотрудников генерала Жиро в Северной Африке, но затем, с приходом к власти де Голля, был арестован как активный коллаборационист и весной 1944 г. по приговору суда расстрелян.

- 141 *Мандель Жорж* (1885—1944)—французский политический деятель. В июне 1940 г., будучи министром почт и телеграфа, занял патриотическую позицию и пытался препятствовать заключению капитулянтского перемирия с немцами. В дальнейшем он боролся против правительства Виши и был убит его агентами.

...в конечном счете перемирие было заключено не правительством, а Францией.— Сент-Экзюпери явно преувеличивает «единодушие» французского народа в момент капитуляции. Он игнорирует, в частности, инициативу Французской коммунистической партии, которая 6 июня 1940 г., находясь в подполье, выступила с призывом к правительству немедленно вооружить народ и организовать оборону Парижа.

Пруво Жан (1885—1979)—французский газетный магнат, в июне 1940 г., занимая в правительстве пост министра информации, был одним из инициаторов перемирия с Германией.

- 142 ...под властью штреземановских недефастов...—Густав Штресеман (1878—1929) был одним из лидеров Веймарской республики в Германии, созданной после поражения в первой мировой войне и Ноябрьской революции 1918 г.

Дерулед Поль (1846—1914)—французский писатель и политический деятель крайне националистического толка; здесь его имя упомянуто как нарицательное обозначение шовиниста.

Бийанкур—см. коммент. к с. 74.

...нью-йоркским спорщикам...—Подразумеваются французские эмигранты-голлисты, с которыми Сент-Экзюпери полемизировал, находясь в США.

- 143 Фогель (Вожедь) Люсьен (1886—?)—французский журналист, в 1940 г. эмигрировал в США, где участвовал в деятельности голлистской эмигрантской организации «France for ever» («Франция—навек»).

В настоящее время твой голлизм готовит войну против американцев или, при случае, против англичан.—Отношения «Сражающейся Франции» с западными союзниками (особенно с США) действительно складывались достаточно напряженно, хотя до «подготовки войны» дело, конечно, не доходило. Так, в 1942 г. англо-американцы не предупредили де Голля о готовившейся ими высадке на территории североафриканских колоний Франции, а в дальнейшем пытались отстранить его от власти на этих территориях, делая ставку то на адмирала Дарлана, то на генерала Жиро. Западных союзников не устраивала слишком самостоятельная политика генерала де Голля, препятствовавшая их планам ослабления Франции как своего экономического и политического конкурента.

Трефуэль Жак (1897—1977)—французский химик и бактериолог, директор Пастеровского института.

Давид Вейль—по-видимому, Жан Давид-Вейль (1898—1972), французский востоковед, хранитель музея Лувра.

Я в постели, в неподвижности...—Описанный ниже несчастный случай произошел с писателем 5 ноября 1943 г. Полученная

травма мучила Сент-Экзюпери несколько месяцев и еще более усиливала его подавленное состояние, вызванное отстранением от боевых полетов (см. коммент. к с. 138).

144 *Шнейдер*—лицо неустановленное.

145 *На другой день Советы давали большой прием.*—Имеется в виду прием в советском представительстве при Французском комитете национального освобождения по случаю 26-й годовщины Октябрьской революции.

*Обуано Филипп* (1899—1961)—вице-адмирал, соратник Ш. де Голля, в 1943 г. командовал военно-морскими силами «Сражающейся Франции».

146 *...пришлось подключить военных врачей.*—Находясь на военной службе (в резерве командования), Сент-Экзюпери должен был освидетельствоваться у военных врачей, чтобы получить разрешение оставаться дома из-за травмы.

148 *Фурвьер*—см. коммент. к с. 95.

149 *Эти болваны американцы решили, что я слишком стар, и поставили передо мной заслон.*—Предельный возраст, установленный в американских ВВС для полетов на скоростных самолетах «Лайтнинг», составлял 35 лет, тогда как писателю было уже 43.

*...перечитывая своего «Каида».*—См. коммент. к с. 74.

150 *...выходки А. Б. ...*—Имеется в виду французский поэт-сюрреалист Андре Бретон (1896—1966), в 1941 г. эмигрировавший в США. Бретон отрицательно отзывался о «Военном летчике».

*...защищать покой в Аге.*—В этом городе жили мать и сестра Сент-Экзюпери.

*Лазарев Пьер* (1907—1972)—французский журналист, газетный издатель; сын эмигранта из России. В конце 30-х гг. он был редактором газеты «Пари-суар», где печатались корреспонденции Сент-Экзюпери, в годы оккупации жил в эмиграции, сотрудничал в американских органах пропаганды.

*Ружмон Дени де* (р. 1906)—швейцарский франкоязычный писатель. В 1940—1947 гг. жил в США и часто встречался там с Сент-Экзюпери.

151 *У меня к этим людям один существенный упрек.*—Имеются в виду сторонники генерала де Голля, который к концу 1943 г. удалил генерала Жиро из ФКНО и окончательно утвердил свою власть в этом комитете.

*Видели бы вы их «ассамблею»...*—Речь идет о Временной консультативной ассамблее—представительном органе, созданном при ФКНО в ноябре 1943 г.

- 52 *Ложье Анри* (1888—1973)—французский ученый-физиолог. После оккупации Франции жил в эмиграции, был в США одним из активистов голлистской организации «France for ever», в 1943—1944 гг. работал в Алжире, возглавлял местную академию.

«Здравствуйте, уважаемый член Национального совета Петена!»—Об истории с назначением Сент-Экзюпери в «национальный совет» см. коммент. к с. 97.

- 153 *...этого неопишемого бездействия.*—Имеется в виду вынужденное бездействие Сент-Экзюпери после отстранения от полетов в августе 1943 г. и травмы в ноябре.

*...мою книгу?*—Имеется в виду «Цитадель».

*...в последнюю ночь в Ливии.*—См. коммент. к с. 55.

*Когда я показываю карточные фокусы...*—Все люди, знавшие Сент-Экзюпери, восхищались его мастерством в карточных фокусах.

- 154 *...новый журнал «Ари», который намерен перепечатать «Письмо заложнику».*—«Письмо заложнику» было помещено в первом номере этого журнала, вышедшем в Алжире в феврале 1944 г. Это была первая публикация Сент-Экзюпери на территории, контролируемой деголевской администрацией, которая препятствовала распространению книг писателя.

- 157 *Генерал такого иностранного легиона...*—Здесь Сент-Экзюпери вкладывает в слова «иностранный легион» особый смысл: французские войска, ведущие борьбу против фашизма за пределами метрополии.

*Пьер Кот, вернувшись из Соединенных Штатов, урезонивает Великого Могола.*—Пьер Кот (1895—1977)—французский политический деятель, был министром авиации в правительстве Народного фронта; в 1940—1943 гг. жил в эмиграции в США, затем представлял партию радикальных социалистов во Временной консультативной ассамблее в Алжире. «Великим Моголом» (название династии феодальных правителей Индии в XVI—XIX вв.) Сент-Экзюпери иронически именует де Голля.

«После того как они так со мной обошлись?»—О напряженных отношениях между организацией де Голля и правительством США см. коммент. к с. 143.

- 158 *Анри Э*—Гастон Анри-Э (1890—?), в 1940—1942 гг. посол правительства Виши в Вашингтоне.

*...мой «министр» Летроке...*—Андре Летроке (1884—1963) с декабря 1943 г. занимал во Французском комитете национального освобождения пост комиссара по армии. Сторонник де Голля, он воспротивился предполагавшейся командировке Сент-Экзюпери в США для получения новой авиационной техники. Иронические кавычки при слове «министр» объясняются здесь тем, что Сент-

Экзюпери не признавал ФКНО полномочным правительством Франции (см. коммент. к с. 109).

*Музей Гревен*—парижский музей восковых фигур.

- 159 *Тунисская армия*—армия генерала Жиро, политического соперника де Голля, участвовавшая с декабря 1942 по май 1943 г. совместно с англо-американцами в ликвидации итало-немецкой группировки в Тунисе.

*Когда... парашюты оказались сухими...*—См. рассказ об этом в «Планете людей». Сент-Экзюпери и его товарищ в пустыне расстилали на песке парашюты, чтобы собрать росу.

- 160 *...у дяди Эмманюэля...*—Имеется в виду Эмманюэль де Фонколомб, брат матери писателя.

*Корнильон-Молинье предлагает мне в январе-феврале поехать с ним в Россию. Я согласился.*—Генерал Эдвард Корнильон-Молинье (р. 1899) в годы войны занимал высокие командные посты в ВВС «Сражающейся Франции». В начале 1944 г. готовилась отправка в СССР группы французских военных пилотов для пополнения истребительного полка «Нормандия», сражавшегося на советско-германском фронте; очевидно, именно об этом и идет здесь речь.

*Потом Гватемала.*—См. коммент. к с. 94.

- 163 *Дафлан*—см. коммент. к с. 111.

### Письмо матери

Это письмо было доставлено в оккупированную Францию одним из руководителей движения Сопротивления, который в январе 1944 г. был заброшен туда на американском самолете.

### Письма разным лицам

- 166 *Астье де ла Вижери Эмманюэль д'* (1900—1969)—один из руководителей французского движения Сопротивления, комиссар по внутренним делам в ФКНО. В начале 1944 г. он предлагал назначить Сент-Экзюпери военным атташе в Англии.

*Буска Пьер* (1891—?)—генерал, в 1943 г. был назначен командующим французской авиацией в Северной Африке; один раз, в декабре 1943 г., он уже пытался добиться командирования Сент-Экзюпери с военной миссией в США (см. коммент. к с. 158).

- 168 *Ивонна де Летранж*—двоюродная сестра писателя.

### Послание американцу

Написано в мае 1944 г. по просьбе американского журналиста Джона Филипса—одного из тех, кто содействовал возвращению Сент-



Экзюпери в строй. В середине мая, зачисленный сначала в бомбардировочную авиацию, писатель наконец вновь присоединился к разведывательной авиагруппе 2/33 и получил разрешение на боевые полеты. Его статья при жизни опубликована не была, и лишь в апреле 1945 г. она прозвучала в одной из передач американского радио.

168 *«Flight to Arras»*—см. коммент. к с. 108.

171 *Эйкер Айра Кларенс* (1896—?)—американский генерал, в 1944 г. главнокомандующий союзными ВВС на Средиземном море.

*Гавуаль Рене*—в 1944 г. командир эскадрильи в составе группы 2/33, непосредственный начальник Сент-Экзюпери.

*Ошедэ*—летчик, друг Сент-Экзюпери по кампании 1940 г.; упоминается в «Военном летчике». В 1943 г. погиб, разбившись во время тренировочного полета на «Лайтнинг»

### Письмо г-же Франсуа де Роз

Об адресате письма сведений нет.

173 *Мне бы надо быть меровингским королем.*—Династия Меровингов правила во Франции в V—VIII вв. Сент-Экзюпери шутивно намекает на пассивность и безынициативность в государственной политике ее представителей, за которыми закрепилось прозвище «королей-ленивцев».

*Дерен Андре* (1880—1954)—французский художник, принадлежал к направлениям фовизма и кубизма.

*Лаваль Жозе*—лицо неустановленное.

174 *...до этих богом забытых мест...*—Эскадрилья, в которой служил Сент-Экзюпери, базировалась в это время на о. Сардиния.

### Телеграмма Кертису Хичкоку

*Хичкок*—см. коммент. к с. 108.

### Письмо Ж. Пелясье

*Тунис, 9—10 июля 1944 г.*—Сент-Экзюпери летал в Тунис на церемонию крещения сына Р. Гавуала.

### Пари между Сент-Эксом и его другом полковником Максом Желе

175 *Желе Макс*—товарищ Сент-Экзюпери по авиагруппе 2/33 со времен кампании 1940 г.

### Письмо матери

Это последнее письмо Сент-Экзюпери матери дошло до нее лишь год спустя после его гибели, в июле 1945 г.

- 175 *Борго*, июль 1944 г.—Эскадрилья, где служил Сент-Экзюпери, 17 июля была перебазирована на о. Корсика.

### Письма разным лицам

- 176 *Даллоз Пьер*—журналист и известный спортсмен-альпинист, участник французского Сопротивления. В январе 1944 г. он был переправлен в Англию и работал в заграничных органах Сопротивления в Лондоне и Алжире. Это и следующие письма Сент-Экзюпери—последние, написанные им; они были найдены в его комнате после того, как писатель не вернулся из разведывательного полета 31 июля 1944 г.

*Полагаю... что я был прав со всех точек и под любым углом зрения.*—Писатель, судя по всему, намекает на трагические события в Веркоре—горном массиве на юге Франции, где в июле 1944 г. немецким войскам удалось разгромить крупное соединение французских партизан. Пьер Даллоз, адресат письма, был одним из инициаторов создания партизанской базы в Веркоре; вину за ее гибель отчасти несло командование «Сражающейся Франции», не оказавшее партизанам своевременной помощи. Сент-Экзюпери, скептически относившийся к де Голлю и его окружению, очевидно, усматривал в этих событиях лишнее подтверждение своим выводам.

*Фабрика ненависти, неуважения, которая у них зовется возрождением...*—Писатель вновь критикует голлизм, в политике которого он видел искусственное разжигание вражды между французами.

- 177 *Карпантра*—старинный город в департаменте Воклюз, на юге Франции.

### Цитадель. Главы из книги (1948)

Первый замысел книги относится к 1936 г., наиболее интенсивная работа над нею развернулась в 1941—1942 гг., во время пребывания Сент-Экзюпери в США, а также в Северной Африке, куда он прибыл весной 1943 г. Книга осталась незавершенной; внушительная по объему масса черновиков, не скомпонованных автором воедино и во многом повторяющих друг друга, была разобрана и опубликована в 1948 г.

Интересен порядок работы писателя над «Цитаделью». Ее текст он не записывал непосредственно на бумагу, а наговаривал на диктофон, после чего правил расшифрованную машинисткой запись. С этим, несомненно, связана специфическая устно-проповедническая интонация книги; впрочем, у ее стилистики есть и книжные источники. Сент-Экзюпери вновь обращается к постоянно волновавшим его морально-философским идеям—идеям суровой, требовательной любви к людям, их солидарности ради высшей цели. Утверждая, как и в своих публицистических статьях, необходимость «придать смысл человеческой жизни», писатель вновь сталкивается с трудноразрешимой для него проблемой абстрактности и релятивности этого смысла (здесь причина

религиозной фразеологии книги: «бог» как раз и выступает символом возвышенного, но и отвлеченного идеала, к которому должна стремиться цивилизация). Вместе с тем конкретные принципы гуманистической философии Сент-Экзюпери выражены в «Цитадели» с исключительной художественной силой благодаря оригинальному замыслу и построению книги. Писатель широко использует притчу (рассказы о берберских беженцах, о садовнике и его друге и т. д.) и излагает свои мысли не от имени автобиографического персонажа, как в ряде своих предшествующих книг, а от лица правителя североафриканских кочевников, воспринявшего мудрость от отца и передающего ее своему сыну или преемнику. Эти мысли представлены, таким образом, не как соображения частного лица (писателя), а как вековое наследственное достояние гуманистической культуры, как необходимое основание, на котором зиждется «цитадель» человеческого духа.

Сергей Зенкин

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- |   |  |
|---|--|
| Августин Аврелий 137                          | Гарбо Грета 135  |
| Аге Пьер д' 58                                | Гендель Георг Фридрих 133  |
| Анри-Э Гастон 158                             | Гёте Иоганн Вольфганг 52, 75   |
| Астье де ла Вижери Эмманюэль д' 166           | Гизо Франсуа 136   |
| Аттила 78                                     | Гийом 84   |
| Бальзак Оноре де 93, 94                       | Гийоме Анри 92, 95, 97, 115  |
| Бах Иоганн Себастьян 40, 52, 75, 77, 162, 173 | Гитлер Адольф ( <i>наст. фам. Шикль-грубер</i> ) 11, 16, 34, 64, 70—72, 80, 88, 91 |
| Бедо Шарль 130, 133                           | Голь Шарль де 13, 14, 112, 129, 158, 159, 183                                      |
| Белле Жоашен дю 14                            | Гувер Герберт Кларк 136  |
| Бернштейн Анри 136                            | Давид-Вейль Жан 143  |
| Бертло Пьер Эжен Марселен 75                  | Дак Пьер 64  |
| Бетховен Людвиг ван 48, 49, 75                | Даладьё Эдуард 65, 135   |
| Блюм Леон 137                                 | Даллоз Пьер 176  |
| Бодлер Шарль 28, 94                           | Дарлан Жан Луи 163   |
| Бразийак Робер 77, 78                         | Декарт Рене 40, 47, 73, 94   |
| Бретон Андре 11                               | Деланж Рене 84   |
| Буска Пьер 166                                | Дерен Андре 173  |
| Ван Гог Винсент 133                           | Дерулед Поль 142   |
| Верн Жюль 93                                  | Детруайя 33  |
| Вернейль Луи 130, 136                         | Дора Дидье 53, 54, 62  |
| Верг Леон 55—57, 81, 83—85, 140               | Достоевский Федор Михайлович 93  |
| Верцингеториг 87                              | Желе Макс 175  |
| Витроль 82                                    | Жиро Анри 112, 129, 131, 132, 158  |
| Вотель ( <i>наст. имя Клеман Воле</i> ) 75    | Жироду Жан 59, 60, 65, 72, 94  |
| Гавуаль Рене 171, 181                         | Израэль Жан 112  |
| Галантьер Льюис 97, 99, 103, 106, 171         | Кессель Жозеф 55   |
| Гамелен Морис Гюстав 71                       |  |

- Конрад Джозеф** (*наст. имя Юзеф Теодор Конрад Коженёвский*) 20  
**Конти Жан Мари** 32, 33  
**Корнильон-Молинье Эдвард** 160  
**Корню Андре** 81  
**Кот Пьер** 157  
**Купе** 33  
**Куртелин Жорж** 47, 74—76
- Лаваль Жозе** 173  
**Лаваль Пьер** 110  
**Лазарев Пьер** 150  
**Ламотт Бернар** 109  
**Лан** 33  
**Лафонтен Жан де** 72  
**Летранж Ивонна де** 168  
**Леконт де Лиль Шарль** 94  
**Летроке Андре** 158, 167  
**Линдберг Чарлз** 31  
**Ложье Анри** 152, 154—156, 161, 163  
**Луи Филипп** 136  
**Люка** 92
- Малларме Стефан** 94  
**Мандель Жорж** 141  
**Маритен Жак** 15  
**Мермоз Жан** 45, 46, 48, 92, 131, 138  
**Мильтон Жорж** (*наст. имя Жорж Дезире Мишо*) 59, 60  
**Миши** 61  
**Монтень Мишель де** 5, 135  
**Монтескьё Шарль Луи де** 8  
**Морроу-Линдберг Энн** 28—32
- Ньютон Исаак** 36, 47
- Обуано Филипп** 145  
**Ольвек Фернан** 82  
**Ошеде** 171
- Паскаль Блез** 5, 9, 17, 40, 47, 59, 73, 75, 78, 94, 104, 143  
**Пастер Луи** 141  
**Пейрутон Марсель** 140, 154, 163  
**Пелисье Жорж** 128, 144—147, 150, 155, 167, 174
- Петен Анри Филипп** 141, 152, 153  
**Поллес Анри** 81  
**Понтий Пилат** 89  
**Пруво Жан** 141
- Раушнинг Герман** 71  
**Рильке Райнер Мария** 94  
**Роз Ивонна де** 172—174  
**Ружмон Дени де** 150  
**Рузвельт Франклин Делано** 157
- Сезанн Поль** 133  
**Сент-Экзюпери Консуэло де** 57, 85, 86, 127, 150  
**Сент-Экзюпери Габриель де** 58, 157, 165, 175  
**Сент-Экзюпери Мари де** 58, 86, 87, 91, 165, 175, 183  
**Серр** 138  
**Страдивари Антонио** 6
- Тибоде** 87  
**Тозелли Энрико** 77  
**Томпсон Дороти** 99, 101  
**Трефуэль Жак** 143, 157
- Фернандес Рамон** 64  
**Филиппс Джон** 172, 180  
**Флобер Гюстав** 30  
**Фогель (Вожель) Люсьен** 143  
**Фонколомб Эмманюэль де** 160  
**Франко Баамонде Франсиско** 37
- Хичкок Кертис** 174  
**Хэлл Корделл** 112
- Цезарь Гай Юлий** 80
- Шамб Рене** 129, 134  
**Шансор Норбер** 53  
**Шнейдер** 144  
**Штреземан Густав** 142
- Эйкер Айра Кларенс** 171  
**Эйнштейн Альберт** 52, 75, 90  
**Эредиа Жозе Мария де** 94  
**Эскарра** 166

## СОДЕРЖАНИЕ

Уважение к человеку!.. Вот пробный камень. <i>Л. Г. Андреев</i> .....	5
<b>Из книги «Смысл жизни»</b>	
Пилот и стихи *. <i>Перевод Р. Грачева</i> .....	20
Предисловие к книге Энн Морроу-Линдберг «Поднимается ветер». <i>Перевод Ю. А. Гинзбург</i> .....	28
Предисловие к номеру журнала «Документ», посвященному летчикам-испытателям. <i>Перевод Ю. А. Гинзбург</i> .....	32
Кто ты, солдат? <i>Перевод Ю. А. Гинзбург</i> .....	33
Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов. <i>Перевод Ю. А. Гинзбург</i> .....	38
Надо придать смысл человеческой жизни. <i>Перевод Ю. А. Гинзбург</i> .....	44
<b>Из книги «Военные записки. 1939—1944»</b>	
<b>1939. Перевод Л. М. Цывьяна</b>	
Пангерманизм и его пропаганда .....	51
Письмо Х. ....	53
Письмо Х. ....	54
Письмо Х. ....	54
Письмо Х. ....	55
Письма Леону Верту .....	55
Письмо матери .....	58
Письмо Х. ....	58
Письмо Х. ....	59
Мораль необходимости .....	65
<b>1940. Перевод Л. М. Цывьяна</b>	
Письмо Леону Верту .....	81
Письмо Х. ....	82
Письмо Леону Верту .....	83
Запись в Книге почета эскадрильи .....	85
Письмо Леону Верту .....	85
Письма матери .....	86
Запись в Книге почета авиагруппы 1/3 .....	87
Обращение к американцам .....	87
Письмо матери .....	91
Письмо Х. ....	92
Письмо Х. ....	92
<b>1941. Перевод Е. В. Баевской</b>	
Воспоминания о некоторых книгах .....	93
Темы «Цитадели» .....	95
Письмо Х. ....	96
Письмо Льюису Галантьеру .....	97
Послание молодым американцам .....	99

## **1942. Перевод Е. В. Баевской**

Письмо одному из противников .....	103
Письмо Льюису Галантьеру .....	103
Письмо Льюису Галантьеру .....	106
Письмо Х. ....	108
Франция прежде всего .....	109
Письмо неизвестному корреспонденту .....	113

## **1943**

Письмо заложнику *. Перевод Н. Галь .....	114
Письмо жене, Консуэло. Перевод Е. В. Баевской .....	127
Письмо Ж. Пелисье. Перевод Е. В. Баевской .....	128
Неотправленное письмо генералу Х. (генералу Шамбу?) Перевод Е. В. Баевской .....	129
Письмо генералу Шамбу. Перевод Е. В. Баевской .....	134
Письмо Х. (неотправленное) Перевод Е. В. Баевской .....	137
Письмо Х. Перевод Е. В. Баевской .....	143
Письмо жене, Консуэло. Перевод Е. В. Баевской .....	150
Письмо Х. Перевод Е. В. Баевской .....	150

## **1944. Перевод Л. М. Цывьяна**

Письмо матери .....	165
Письмо Х. ....	165
Письмо Ж. Пелисье .....	167
Письмо Ивонне де Летранж .....	168
Послание американцу .....	168
Письмо Льюису Галантьеру .....	171
Письмо г-же Франсуа де Роз .....	172
Телеграмма Кертису Хичкоку .....	174
Письмо Ж. Пелисье .....	174
Пари между Сент-Эксом и его другом полковником Максом Желе .....	175
Письмо матери .....	175
Письмо Пьеру Даллозу .....	176
Письмо Х. ....	176

## **Приложение. Перевод Л. М. Цывьяна**

Боевые вылеты, сделанные капитаном Антуаном де Сент- Экзюпери в 1940 году .....	178
Боевые вылеты Сент-Экзюпери на «Лайтнингах П-38» в 1943—1944 годах .....	180
Письмо генерала де Голля Мари де Сент-Экзюпери, матери Антуана .....	183
Цитадель. Главы из книги. Перевод М. Н. Ваксмахера .....	184
Комментарии. С. Н. Зенкин .....	244
Указатель имен .....	270





Антуан де Сент-Экзюпери  
в детстве.

Сент-Экзюпери в форме  
военного летчика.



Сент-Экзюпери, Дюмениль, Гийоме, Антуан, Рене на мысе Юби в  
1928 г.





Сент-Экзюпери и Анри Гийоме.

Сент-Экзюпери вручен галстук Почетного легиона. Слева направо:  
Гийоме, Сент-Экзюпери, Нери, Люка; май 1939 г.



Легендарные летчики почтовой авиалинии. Слева направо: Дабри, Мермоз, Жими (друзья Сент-Экзюпери).



В Тулуз-Монтодрене, осень 1939 г.



Сент-Экзюпери в Орконтe, 1939—1940 гг.



США, 1942 г.



В радиостудии. США, 1942 г.



За шахматами. Снимок сделан предположительно в 1942 г. в Алжире.  
Чтобы воевать, пришлось сесть за учебники.

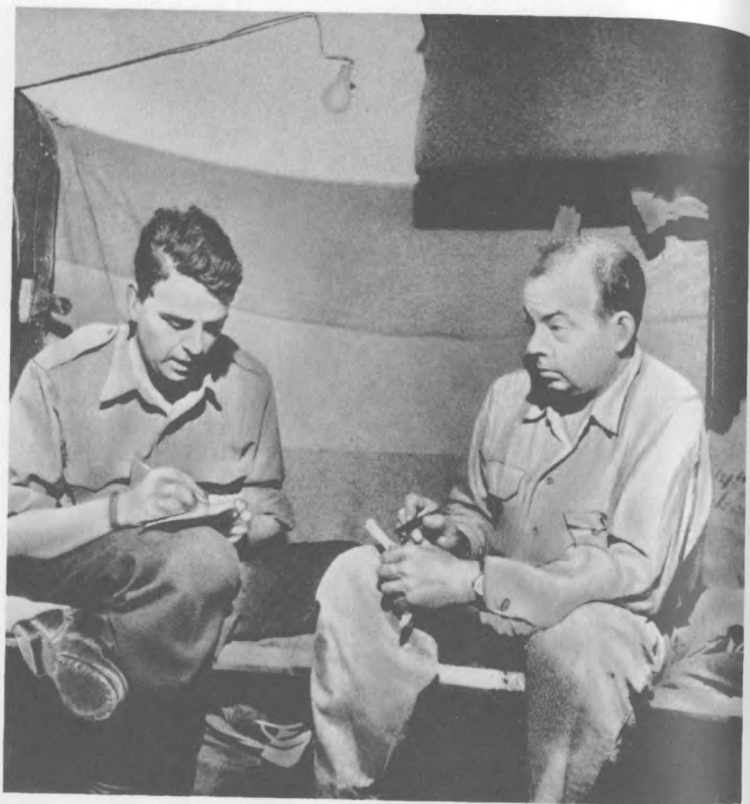


Возвращение в строй, 1944 г.





В авиагруппе 2/33. Сент-Экзюпери крайний справа, слева капитан Гавуаль, 1944 г.



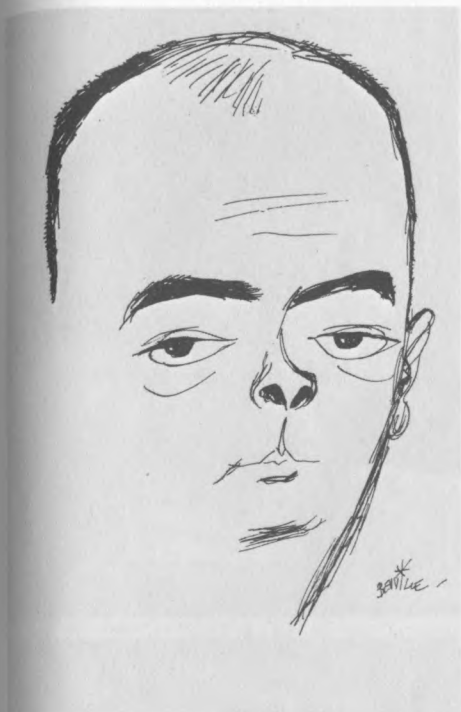
Сент-Экзюпери дает интервью Джону Филипсу, репортеру американского журнала «Лайф».



В Борго (Корсика), июль 1944 г.

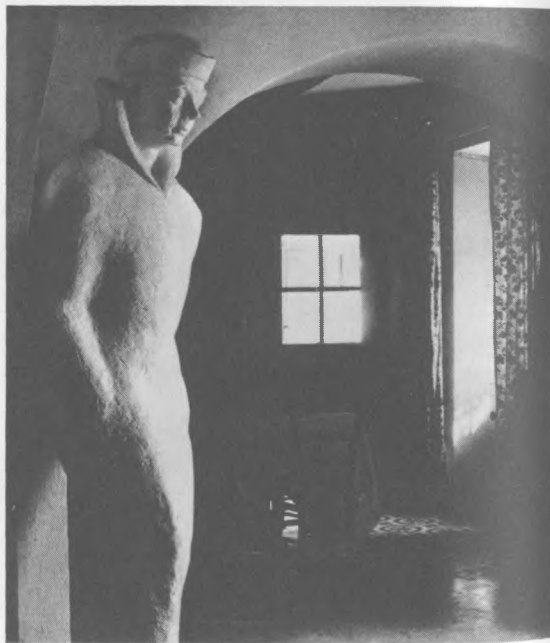


Сент-Экзюпери —  
журналист.



Дружеский шарж.

Автопортрет.



Жена Сент-  
Экзюпери  
Консуэло, автор  
бюста и статуи  
писателя.

## де СЕН

И вновь мне ясна одна вещь... Тяжесть к тем, кого я люблю, и еще большая — ко всем людям. И так бывает всегда. Когда оказываешься под угрозой, чувствуешь ответственность за всех. И хочется сказать: «Да низойдет мир в ваши сердца».

...Сделай так, чтобы меня направили в эскадрилью истребителей. Я не люблю войну, но не могу оставаться в тылу и не взять на себя свою долю риска. Надо драться. Но я не имею права говорить об этом, пока в полной безопасности прогуливаюсь в небе над Тулузой. Это было бы непристойно. Верни мне мое право подвергаться испытаниям. Великая духовная гнусность утверждать, что тех, «кто представляет собой какую-то ценность», надо держать в безопасности!

...Для меня нестерпима социальная неприкаянность. Я весь наполнен гулом, как раковина. Не умею быть счастливым в одиночку.

*Из писем Сент-Экзюпери*

И для того, кто с людьми солидарен, человек не просто еще одно слово из его словаря, человек — это те, за кого он несет ответственность. Было бы слишком легко — отгородиться от жизни и предпочесть имя бога зажиганию свечей. Но я знаю не человека вообще, но конкретных людей. Не свободу вообще, но свободных людей. Не счастье вообще, но счастливых людей.

*«Цитадель»*

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"